

ЕЛИЗАВЕТА
ДРАБКИНА

ЗИМНИЙ ПЕРЕВАЛ

Сентябрь — октябрь
Зимний перевал
На кронштадтском льду
В марте двадцать первого
Путешествие в нэп
Черная година
Всерьез и надолго
Раздумья в Горках
«Weiter... Weiter...»









90-3
5013_а

**ЕЛИЗАВЕТА
ДРАБКИНА**

ЗИМНИЙ ПЕРЕВАЛ

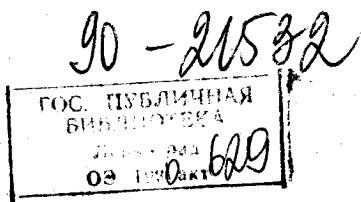


Издание второе,
дополненное

Москва
Издательство
политической
литературы
1990

ББК 13.51
Д72

На первой стороне обложки:
репродукция с картины А. П. Левитина
«В. И. Ленин (Рассвет)».



Д $\frac{0103020000-020}{079(02)-90}$ 26-90

ISBN 5-250-00715-5

© ПОЛИТИЗДАТ, 1988

Если от главного дома в Горках свернуть налево, широкая прямая аллея приведет к беседке у края обрыва. Отсюда открывается просторный вид на холмистые поля, на леса, перелески, деревья, склонившиеся над прудом.

Эту беседку любил Владимир Ильич в те годы, когда он подолгу жил в Горках. В последние годы своей жизни.

Не знаю, почему, — быть может, потому, что все кругом тут так до боли прекрасно, — но мне кажется, что именно здесь, в этой беседке, он понял то, о чем сказал Григорию Ивановичу Петровскому:

— Болезнь у меня такая, что я или стану инвалидом, или меня не станет...

И добавил:

— ...Но только смотрите, чтобы вождями в ЦК были выбраны такие, которые не допустят раскола в партии, обеспечат ее единство. Наше дело верное. К социализму пойдут и другие страны, но если будет раскол в нашей партии, то может быть беда.

И когда я бываю в Горках, весной ли, летом или ранней осенью, здесь, в беседке, больше даже, чем в доме, где столь многое напоминает о его последних днях, меня охватывает бесконечная шемящая тоска...

В первый раз он тяжело заболел в мае двадцать второго года, но болезнь подкрадывалась к нему уже давно, исподволь, шаг за шагом и впервые громко возвестила о себе на переломе небывало тяжелой зимы двадцатого — двадцать первого года, который Глеб Максимилианович Кржижановский недаром называл «зловещим», «злосчастным».

Владимир Ильич много работал, много выступал, но всю зиму у него были головные боли и бессонница, он быстро уставал и мучился тем, что не может работать

Примерно с конца июля началось очень медленное, но непрерывное улучшение. Владимир Ильич катался в кресле по дому и по парку, постепенно начал с посторонней помощью ходить, в начале августа приступил к упражнениям для восстановления утерянной способности речи, которые Надежда Константиновна проводила с ним до декабря. В сентябре он мог уже, держась за перила, спускаться и подыматься по лестнице, в октябре ходил по комнате, опираясь на палку. Товарищи, встречавшие его в то время, когда он гулял в парке, рассказывали: «Та же улыбка, та же приветливость, только в глазах что-то печальное».

Благодаря неустанным упражнениям он начал внятно произносить некоторые односложные слова. Порой казалось, что он вот-вот заговорит. Часто брал он газеты, просматривал их, показывал статьи, которые просил прочитать ему вслух. Хотя медленно, с трудом начал писать левой рукой. А когда наступили солнечные зимние дни, стал ездить на санях в лес в сопровождении охотников и был во время этих поездок неизменно ровен, весел, оживлен.

Но близкие Владимира Ильича вспоминают, что он, когда оставался один, пытался напевать романс Балакирева на слова Лермонтова:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.

Хотя врачи и близкие знали о глубоких поражениях, нанесенных болезнью, но ничто, казалось, не предвещало очень близкого конца.

Катастрофа наступила в понедельник двадцать первого января.

«Еще в субботу ездил он в лес, но, видимо, устал,— рассказывала потом об этих трагических днях Н. К. Крупская,— и, когда мы сидели с ним на балконе, он утомленно закрыл глаза, был очень бледен и все засыпал, сидя в кресле. Последние месяцы он не спал совершенно днем и даже старался сидеть не на кресле, а на стуле. Вообще, начиная с четверга, стало чувствоваться, что что-то надвигается: вид стал у Вл. Ильича ужасным, усталым, измученным. Он часто закрывал глаза, как-то побледнел, и, главное, у него как-то изменилось выражение лица, стал какой-то другой взгляд,

точно слепой. Но на вопрос, не болит ли что, отвечал отрицательно. В субботу, 19-го, вечером он стал объяснять Николаю Семеновичу¹, что видит плохо... В воскресенье пригласили профессора Авербаха. Владимир Ильич встретил его очень ласково, охотно отвечал на все вопросы, немного успокоился.

В понедельник пришел конец. Владимир Ильич утром еще вставал два раза, но тотчас ложился спать. Часов в одиннадцать попил черного кофе и опять заснул. Время у меня путалось как-то. Когда он проснулся вновь, он уже не мог говорить, дали ему бульон и опять кофе. Он пил с жадностью, потом успокоился немного, но вскоре заклокотало у него в груди. Все больше и больше kloкотало у него в груди. Бессознательнее становился взгляд. Владимир Александрович и Петр Петрович² держали его почти на весу на руках; временами он глухо стонал, судорога пробегала по телу. Я держала его сначала горячую, мокрую руку, потом только смотрела, как кровью окрасился платок, как печать смерти ложилась на мертвенно побледневшее лицо. Профессор Ферстер и доктор Елистратов впрыскивали камфару, старались поддержать искусственное дыхание, — ничего не вышло, спасти было нельзя».

В шесть часов пятьдесят минут вечера Владимир Ильич скончался. Последний вздох был таким тихим, что его никто не услышал.

Товарищи, жившие в то время в расположенном на территории Горок санатории, до последней минуты не знали о случившемся. Вечером, около шести, отдохавший в этом санатории московский партийный работник Владимир Гордеевич Сорин зашел в домик, в котором жил управляющий совхозом «Горки» А. А. Преображенский, друг Владимира Ильича еще по Самаре. Несколько минут спустя прибежал кто-то от Марии Ильиничны с просьбой прислать камфару. Сорин не знал, для чего вообще бывает нужна камфара, и спросил об этом. Ему шепотом ответили, что камфара бывает нужна для усиления деятельности сердца.

На душе у Сорина стало тревожно и беспокойно.

¹ Н. С. Попов — врач, ухаживавший за Владимиром Ильичем.— *Ред.*

² В. А. Рукавишников — санитар, П. П. Пакалн — начальник охраны в Горках.— *Ред.*

Он вышел из дому. Кругом стояла тишина и все казалось таким же, как всегда. Но нет! Было что-то необычное, тревожное. Что? Сорин понял не сразу. Это были освещенные окна наверху. В это время суток окна наверху никогда не бывали освещены и свет в них означал, что там, наверху, что-то происходит.

Сорин вошел в Большой дом (так прозвали дом, в котором жил Владимир Ильич), посмотрел на часы. Было семь часов вечера. Прошло уже десять минут, как Владимир Ильич умер, но в доме было до того тихо, так ничто не говорило о смерти, что у Сорина даже не возникло о ней мысли. Самое большее, что он мог предположить, — это что у Владимира Ильича произошел новый приступ болезни.

Он вернулся в домик А. А. Преображенского. Из Большого дома никто не приходил.

Вдруг резко, с размаху хлопнула дверь вниз. Все, кто был в домике, бросились к выходу. И через секунду — Сорин не успел еще выбежать на площадку — раздался чей-то ужасный крик, который без слов говорил, что в Большом доме произошло непоправимое...

Едва стало известно, что Владимир Ильич умер, вся трудовая Москва в слезах и горе собралась на фабриках и заводах. В Горки потянулись делегации с венками в траурных лентах.

Среди них была делегация Трехгорной мануфактуры, которую тогда по привычке звали старым именем — Прохоровка. Рабочие Прохоровки неизменно выбирали Владимира Ильича своим депутатом в Московский Совет.

Сохранился рассказ о поездке этой делегации одного из ее участников — Григория Тимофеевича Семенова, написанный в 1924 году. Не могу не привести его полностью:

«Годов мне шестьдесят четыре, — рассказывал Григорий Тимофеевич. — На Прохоровке работаю пятьдесят годов. В первое время, как поступил, получал осьмнадцать копеек в день.

В революцию первое время фабрики наши стали. Работать начали в девятьсот двадцатом не то в девятьсот двадцать первом. Вот тогда к нам на завод и стал т. Ленин ездить. Говорил он у нас на собраниях. Мне все как-то не приходилось его послушать. Не то что охоты не было, а всегда так выходило, что я в отделении дежурным, а как дежурство-то оставишь?

А только понятие о т. Ленине у меня было правильное.

И знал я, что он есть рабочего класса защитник, какого никогда не бывало.

Когда на заводе объявили, что он скончался, так мне страшно обидно стало. А тут как раз общее собрание, и решили на нем делегацию послать с венком в Горки. Я и вышел и говорю: «Мне товарища Ленина живым не пришлось видеть, дайте хоть на мертвого посмотреть». Что же, выбрали меня и еще двоих и поехали в Горки. Мороз был очень лютый, да о морозе не думалось. Приехали мы, пошли. Вошли мы тихо. Лежит т. Ленин жалостливо так. Лицо желтое... У стола женщина стоит, глаза опухшие. Я товарища спросил, жена, говорит, товарища Ленина. А я про нее знал, что она всю жизнь с ним провела и всю тягость с ним делила. Поклонился я ей низко, погладил т. Ленину плечико и пошел.

У дома крестьян много понаехало, с розвальнями так и стоят. Утешение у меня было, что они товарища Ленина поминать прехали, как и мы — рабочие.

Вот и все».

Владимир Ильич умер от склероза сосудов головного мозга. Самый характер склероза определен в протоколе вскрытия, как «Abnützung sclerose» — склероз изнашивания.

Врачи были поражены тем, как далеко зашел процесс: артерии, питающие мозг, были настолько обызвествлены, что превратились в твердые шнурки, не имеющие просветов. Профессор Ферстер говорил: нужно удивляться, что при таком ужасном разрушении мозга Владимир Ильич мог до последней минуты сохранить так много интеллекта. Как огромна должна была быть сила этого интеллекта, когда мозг был здоров!

На моей книжной полке стоят пятьдесят пять томов в синих переплетах, на корешках которых написано: «Ленин». Если присоединить к ним и то, что не обнаружено и что не напечатано, таких томов, может, было бы больше шестидесяти.

Первая статья, включенная в эти тома, написана весной 1893 года, последняя — в марте 1923 года. Ров-

но тридцать лет. Шестьдесят томов за тридцать лет — это два тома в год.

Надо только подумать: два тома в год в тех условиях, в которых он жил, при той работе, которую он вел!

В дни, когда Россия прощалась с Лениным, я дважды стояла у его гроба. Сорок лет прошло с тех пор — и каких лет! — но будто не было этих лет: я вижу январскую Москву, морозный туман, покрытые инеем, словно поседевшие в эту ночь, стены Кремля, костры, разведенные на улицах, бесконечную человеческую ленту у Дома союзов, скорбные фигуры Надежды Константиновны и Марии Ильиничны. Я чувствую горький запах хвои, мороза и дыма, слышу шаги людей, медленно проходящих мимо гроба, и ту особенную тишину, которая остается тишиной даже тогда, когда ее прерывает женский плач или голос ребенка, который просит вложить в руку Ленина нарисованную им грустную звезду.

Но мертвого Ленина я не помню. Помню его только живого. И это не только я, но и многие другие.

«Был я тогда очень болен, лежал, но не утерпел и пошел прощаться,— рассказывает другой рабочий с Трехгорной мануфактуры, Федор Григорьевич Румянцев.— Только мертвого я его не запомнил. Запомнил его таким, каким он приходил к нам на Прохоровку, как усмеялся и, прикрыв глаза рукой, смотрел, много ли рабочих собралось его послушать».

Снова и снова гляжу я на длинный ряд томов в синих переплетах, выстроившийся на моей книжной полке, читаю и перечитываю страницу за страницей. Снова и снова напрягаю память, чтоб вспомнить все, связанное с Лениным, все, что я видела, слышала, о чем мне рассказывали, вчитываюсь в воспоминания его родных, друзей, соратников. И сколько бы я ни читала, сколько бы ни думала и вспоминала, всегда я узнаю что-то новое, неожиданное, что берет за сердце, заставляет по-новому увидеть окружающий мир.

Сейчас, как никогда раньше, мы можем приобщиться к сокровищнице ленинской мысли: благодаря огромной работе, проделанной для издания Полного собрания сочинений Ленина, мы стали обладателями бесценного ленинского наследия.

Том за томом, год за годом...

«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем», — говорил Белинский.

Так вопрошаем мы Ленина.

Передо мной труднейшая задача — я хочу попытаться рассказать, как сумею, о тех годах, которые обычно называют годами перехода к новой экономической политике и которые были последними годами жизни Владимира Ильича Ленина.

Для одного человека эта задача непосильна по своей огромности и сложности. Чтобы выполнить ее по-настоящему, надо одолеть горы самых разнообразных материалов и долгие годы работать «во глубине архивных руд».

Пусть читатель не ждет от меня многого: я предложу ему не законченную картину, а лишь первоначальнейшую загрузку холста. Если же судьба подарит мне время и силы, я буду искать и искать новые факты, документы, линии, краски, которые сделают намеченные мною образы более живыми, глубокими, полновесными.

Но имею ли я право выносить на суд читателя произведение, которое — пользуясь терминологией проектировщиков — представляет собою лишь первую стадию проектирования, а не доведенный до рабочей стадии проект с полной разработкой узлов и деталей, как то положено в искусстве?

Поступаю я так потому, что меня торопит время — и то, что отпущено мне на земле, и то, в которое мы живем.

Да послужат мне оправданием замечательные слова одного из старейших членов большевистской партии, Пантелеймона Николаевича Лепешинского, сказанные им вскоре после смерти Владимира Ильича:

«Мы, современники Ильича, более или менее близко подходившие к нему и имевшие счастливые случаи видеть его, слышать его речь, наблюдать кусочки его работы или жизни, обязаны, хотя бы и неумелыми, детскими руками паки и паки пытаться воспроизвести этот образ, сделать сотни и тысячи хотя бы и очень несовершенных, эскизных зарисовок его, уловить как можно больше отдельных черточек, присущих ему, словом, сделать все возможное, чтобы подлинный, живой облик Ильича для будущих поколений не был бы окон-

чительно утерян и чтобы его интереснейшая индивидуальность не стерлась от времени, не растворилась бы в море легенд, которые, несомненно, будут в огромной мере накапливаться около его имени».

Рассказывая о Владимире Ильиче, я буду рассказывать и о многом другом, связанном с тем временем, и о других людях, в том числе и о себе. Пусть читатель поверит мне: когда я говорю о себе или от своего имени, я делаю это лишь из желания воссоздать неретушированные черты эпохи, о которой веду я свое повествование, ее краски, шум и голоса во всей их неповторимой подлинности:



**СЕНТЯБРЬ—
ОКТЯБРЬ**

1

С какого же времени начать речь?

Начну ее с осени двадцатого года. И даже точнее: с первого сентября.

Первого сентября двадцатого года Владимир Ильич Ленин написал в библиотеку Румянцевского музея записку, в которой просил выдать ему на ночь, когда библиотека закрыта, два лучших словаря греческого языка, с греческого на немецкий, французский, русский или английский; лучшие философские словари; словари философских терминов на немецком, французском, английском и русском языках и книги Целлера и Гомперца по истории греческой философии, обещая вернуть все эти книги к утру.

В этот день «Правда» вышла на двух страницах. В передовой статье «Очередная гибель Советской власти» говорилось о кампании лжи и клеветы, поднятой в заграничной печати против Советской России, а также о том, что панская Польша затягивает переговоры о мире. «В таких условиях наша задача ясна,— писала «Правда».— Все вопросы решаются реальным соотношением сил».

Под шапкой «НА ПАНА И БАРОНА» был помещен ряд заметок о партийных мобилизациях на Врангелевский фронт, проведенных в Петрограде, Ярославле, Казани, Тамбове, Екатеринбурге, Туле. Советы, профсоюзы, комсомольские организации также принимали постановления о мобилизации одной трети, а то и половины своего состава.

Оперативная сводка сообщала, что на Западном фронте в Белостокском районе противник потеснил наши части, в Беловежской пуще наступательные попытки противника отбиты, в Хелмском районе противник, пытавшийся в нескольких местах наступать через реку Буг, отброшен, бой продолжается.

На первой же странице «Правды» была напечатана подборка под заголовком «Мировой пролетарский

фронт». Портовые рабочие Данцига отказались разгружать военные материалы, предназначенные для Польши. Железнодорожники Карлсруэ задержали следовавшие в Польшу транспорты с военным снаряжением. Съезд «Республиканской федерации бывших воинов», собравшийся в Париже, решил в случае объявления новой войны сделать все, чтобы ее сорвать. Итальянская всеобщая конфедерация труда заявила о своей солидарности с российским пролетариатом.

Вторая страница «Правды» была посвящена событиям внутренней жизни: сведениям не особо радостным — о поступлении хлеба; сообщению о нормах отпуска продуктов населению Москвы: по карточкам для взрослых только хлеб на два дня; по детским карточкам — фунт сахару, полфунта сливочного и растительного масла, полфунта кондитерских изделий, а для грудных детей — сверх того три фунта керосина и фунт простого мыла. Все это, разумеется, на весь месяц.

Нижнюю часть этой страницы занимал раздел «Рабочая жизнь». В нем было напечатано несколько заметок, самая большая из них — «Надо учиться». Рабочий корреспондент из мызы Раево писал, что у них перерегистрация членов партии закончена. Вопросы, задававшиеся комиссией во время перерегистрации, теперь у всех на устах, каждый ищет на них ответа: почему наша партия называется партией большевиков? Кто был Карл Маркс? Что такое прибавочная стоимость? Партийная масса зашевелилась, задумалась, стала понимать, что коммунизм — это знание.

Свою заметку автор заканчивал словами:

«Товарищи, на коня! На Врангеля! Тыл, за книгу! За учебу! В пролетарское искусство! В партийную школу!»

В этот день, первого сентября, Ленин выступал с докладом о текущем моменте на Втором Всероссийском съезде работников просвещения и социалистической культуры и участвовал в заседании Политбюро Центрального Комитета партии.

На заседании Политбюро обсуждалось много вопросов: меры к более строгой охране шифрованных сообщений, идущих с военно-оперативной и дипломатической почтой; поездка Михаила Ивановича Калинина с агитационным поездом на Кубань; ходатай-

ство Наркомпрода о партийной мобилизации на продовольственный фронт и об освобождении продовольственных работников от военных мобилизаций; состав новой советской делегации для мирных переговоров с Польшей; создание Комиссии по изучению истории Октябрьской революции; военное положение; закупка предметов военного снабжения; просьба Сталина об освобождении его от военной работы; создание боевых резервов и еще много других вопросов, в равной степени далеких и от истории греческой философии, и от словарей философских терминов.

Почему же Ленин в такой день просил прислать ему философские словари и книги по греческой философии?

В какой-то мере это было, вероятно, связано с тем, что он собирался написать предисловие к новому изданию своей книги «Материализм и эмпириокритицизм».

Мысль о переиздании «Материализма...» зародилась у него еще летом в связи с тем, что А. Богданов, живший тогда в Москве, усиленно развил пропаганду своих взглядов под видом учения о «пролетарской культуре» и выпустил в 1918—1920 годах целый ряд книг: второй том «Тектологии», «Вопросы социализма», «Социализм науки», «Очерки организационной науки».

Сначала Ленин предполагал, что он займется разбором взглядов Богданова сам и сделает это в предисловии к новому изданию «Материализм...», но из-за отсутствия времени поручил этот разбор Владимиру Ивановичу Невскому.

К первому сентября статья Невского «Диалектический материализм и философия мертвой реакции» была уже готова, и Ленин должен был написать только предисловие к новому изданию своей книги. Он написал его то ли в ночь с первого на второе сентября, то ли утром второго сентября.

Предисловие это небольшое, всего полстранички. Ленин выражает в нем надежду, что переиздаваемая книга будет «небесполезна» как пособие для ознакомления с философией марксизма и с философскими выводами из новейших открытий естествознания, и говорит, что последние произведения Богданова рассматриваются в печатаемой в качестве приложения статье Невского, который «имел полную возможность убедиться в том, что под видом «пролетарской культуры» про-

водятся А. А. Богдановым буржуазные и реакционные воззрения».

Чтобы написать такое предисловие, греческие и философские словари, равно как и книги по истории греческой философии, Ленину не были нужны.

Значит, была у него какая-то другая мысль, которая, быть может, родилась, когда он решил переиздать «Материализм...». О чем-то он думал или что-то задумал. Что? Этого мы не знаем и не узнаем никогда.

Как властно его потянуло к философии, если он решил отдать ей такую ночь, как ночь с первого на второе сентября двадцатого года!

Для присланных из библиотеки книг у него могло найтись время только после заседания Политбюро. Александр Константинович Воронский наблюдал однажды за Лениным, когда он в перерыве между двумя заседаниями, налив себе на ходу стакан чая, принялся рассматривать привезенные ему новые книги. Воронский отметил характерную, прочно установившуюся манеру, с которой Ленин обращался с книгой, быстро и бегло перелистывая и словно охватывая и прикидывая ее в уме. Такая манера вырабатывается только в результате долголетней дружбы с книгой.

А потом — сколько прошло времени? Час? Два? Вся ночь? — Ленин со вздохом попрощался с книгами: ничего не поделаешь, времени нет.

Было у него такое выражение лица, переданное одной из фотографий двадцатого года: он слегка наклонил голову, смотрит долгим, задумчивым, ушедшим в себя взглядом.

2

То ли в тот день, то ли накануне его мы, группа работников комсомола, случайно встретили Ленина. Было это в Кремле, неподалеку от Царь-колокола.

Только что закончился Второй конгресс Коминтерна, во время которого происходило несколько международных конференций, в том числе молодежная. На ней решено было каждый год в первое воскресенье сентября проводить Международный юношеский день.

В двадцатом году первое воскресенье пришлось на пятое сентября. В субботу четвертого был назначен Всероссийский молодежный субботник, весь заработок от которого поступал в фонд помощи молодежи капитали-

стических стран, а на воскресенье были намечены манифестация и праздника.

Мы шли от Большого Кремлевского дворца по направлению к Троицким воротам, когда увидели Владимира Ильича. Поравнявшись с нами, он остановился, спросил о наших делах.

Содержание этого разговора я не помню. Помню лишь, что Владимир Ильич по своему обыкновению выпытывал у нас все, в том числе то, что нам казалось мелочами. Помню также слова Гёте, которые он нам напомнил:

«Достигни сам того, что ты унаследовал от твоих отцов. Только тогда оно будет твоим».

Пока мы стояли и разговаривали, откуда-то из-за Царь-колокола вылез мальчуган лет шести в ситцевой застиранной рубашонке и длинных холщовых штанах, заплатах на коленках. Он пролез у нас между ногами и подобрался к Владимиру Ильичу. Тот, продолжая разговаривать, положил руку на голову мальчугана и привлек его к себе.

— Ну что ж, Васютка, пойдем? — сказал Владимир Ильич, заканчивая разговор.

— А чай пить будем? — спросил Васютка.

— Будем, — сказал Владимир Ильич.

— С сахаром?

— С сахаром.

— А про комарище споем?

— Споем, — согласился Владимир Ильич, засмеявшись.

Эту песню я помню еще по далеким временам моего детства. Кто-то из товарищей привез ее из Обдорской ссылки, и Владимир Ильич любил распевать ее с ребятами. Первые слова ее были такие:

Как сел комар на дуб, на дубок, на дубище,
Как топнул комар своей ножкой, ногою, ножищей,
Как поднял комар свой голос, свой глас, голосище —
Хочу пищи!

Весело с нами попрощавшись, Владимир Ильич пошел, ведя мальчугана за довольно-таки грязную шершавую ручонку.

Владимиру Ильичу недавно исполнилось пятьдесят лет. Был он тогда на удивление молодой и живой — и в движениях, и в работе. Отчасти потому, наверно, что находился тогда в полном расцвете духовных и физических сил, но много значило и то, что положение в стране и в международном рабочем движении, оставаясь очень трудным, внушало надежды, что скоро станет легче.

Работал он столько, что, как тогда говаривали, в полночь мог сказать о себе: «Начинаю шестнадцатый час моего восьмичасового рабочего дня». Даже простой перечень дел и вопросов, которые он успевал решить за какую-нибудь неделю¹, потребовал бы нескольких страниц.

Престарелая актриса Малого театра Н. А. Никулина просила о помощи: ей угрожало выселение из собственного домика. «...Оставить ее в покое», — написал на письме Никулиной Ленин.

Крестьяне деревни Богданово Подольского уезда Московской губернии писали Ленину о тяжелом положении их деревни. Ленин в телеграмме Подольскому упродкому подтверждал, что крестьяне пишут правду, и просил по возможности уменьшить разверстку, наложенную на деревню Богданово, в просторечии Богдануху.

Врангель перешел в наступление и занял Мариуполь.

Ленин предложил назначить командующим Южным фронтом Михаила Васильевича Фрунзе, членом Реввоенсовета фронта — Сергея Ивановича Гусева.

Горький просил о дровах для петроградских ученых. Ленин поддержал просьбу Горького.

Выступил на партийном собрании 6-й роты Первых московских пулеметных курсов.

Долго беседовал с Адольфом Абрамовичем Иоффе, назначенным председателем советской делегации для ведения переговоров и подписания договора о перемирии и мире с Польшей.

Совет Труда и Оборона. Совнарком. Политбюро ЦК. Пленум ЦК.

¹ Ниже говорится о событиях 1—26 сентября 1920 года. — *Ред.*

Выработка линии в переговорах с Польшей. Сбор сосновых и еловых шишек для топлива. Перепись на Кубани. Закупка у населения повозок с комплектами упряжи для Юго-Западного фронта. Усиление заготовок экспортного леса. Радиосвязь в Красной Армии. Хлеб для Донбасса. Восстановление железнодорожного транспорта. Мобилизация лошадей, необходимых для работ по разведке Курской магнитной аномалии. Проект постановления о Туркестанской Автономной Социалистической Республике. Письмо Центрального Комитета «Ко всем членам партии».

Разговор с Фрунзе, уезжающим на Южный фронт.

Комната для писателя Александра Серафимовича.

Беседа с делегатом из Сибири и написанное после этой беседы письмо в Сибревком, начинающееся словами: «Обратить внимание на сельскую бедноту Сибири, снабдить их продовольствием из местной разверстки» — и кончающееся вопросом: «Правда ли, что бывали случаи в Сибири употребления коровьего масла на смазывание телег (вместо дегтя)?»

Записка в Наркоминдел:

«#т. Чичерин! Вот граница — тахитит. Принято в Цека. Надо точно ее повторить.

Ленин».

Это — для переговоров с Польшей.

И так изо дня в день. Изо дня в день...

Работы было столько, что в сентябре он написал, пожалуй, меньше, чем в любой другой месяц своей жизни: лишь коротенькое предисловие к «Материализму...», письмо к немецким и французским рабочим по поводу прений о Втором конгрессе Коминтерна; ответ корреспонденту газеты «Дейли-Ньюс» господину Сегрю.

Этот господин Сегрю прислал Ленину радиотелеграмму, в которой иронизировал по поводу того, что отчеты иностранных рабочих делегаций, побывавших в Советской России, якобы принесли большевизму больше вреда, чем вся антибольшевистская пропаганда.

Ленин решил отплатить Сегрю веселой насмешкой.

«Давайте заключим договор,— предложил он,— вы — от имени антибольшевистской буржуазии всех стран, я — от имени Советской республики России. Пусть по этому договору к нам в Россию посылаются

из всех стран делегации из рабочих и мелких крестьян (т. е. из трудящихся, из тех, кто своим трудом создает прибыль на капитал) с тем, чтобы каждая делегация прожила в России месяца по два. Если отчеты таких делегаций полезны для дела антибольшевистской пропаганды, то все расходы по их посылке должна бы взять на себя международная буржуазия».

«Однако,— добавил Ленин,— принимая во внимание, что эта буржуазия во всех странах мира крайне слаба и бедна, мы же в России богаты и сильны, я соглашаюсь исхлопотать от Советского правительства такую льготу, чтобы $\frac{3}{4}$ расходов оно взяло на себя и только $\frac{1}{4}$ легла на миллионеров всех стран».

В Москве смеялись, вспоминали чье-то двустишие:

А в Кремле лукавый кто-то
шурит умный острый глаз...

То же веселье, энергичное настроение чувствуется в ответах, которые дал Ленин в анкете проводившейся тогда перерегистрации членов Московской организации РКП(б) — той самой перерегистрации, о которой писал в «Правду» рабочий корреспондент из мызы Раево.

На вопросы анкеты Ленин ответил: пятьдесят лет, русский. На каких языках, кроме русского, говорите, читаете, пишете?

Французский, немецкий, английский; плохо все три. (Это он, свободно делавший доклады на всех этих языках! — Е. Д.) Кончил гимназию; сдал экстерном в 1891 году университетский экзамен по юридическому факультету. За границей был в 1895, 1900—1905, 1907—1917 годах в эмиграции (Швейцария, Франция, Англия, Германия, Галиция). В России жил только на Волге и в столицах.

Какая основная профессия?

Литератор. Работает в Совнаркоме. Получает 13 500 рублей в месяц (в переводе на золотое исчисление это составляло около трех рублей с полтиной.— Е. Д.).

С какого времени состоите в РКП?

С основания и раньше (1893).

Подвергались ли партийному суду, когда и за что?
Меньшевиками в РСДРП при расколах.

Какие документы или удостоверения имеются у Вас,

указывающие на Ваше пребывание в нашей нелегальной партийной организации?

История партии — документ.

Что прочитано Вами из сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Каутского и Плеханова?

Почти все (подчеркнутых авторов).

Пишите ли Вы статьи в газеты, где и на какие темы?

Редко, на политические темы.

Можете ли писать листовки, воззвания и что Вами написано в этой области?

Да. Перечислить нельзя, было многовато.

В какой области знания чувствуете себя особенно сильным и по каким вопросам можете читать лекции и вести занятия?

Больше по политическим вопросам.

4

Вышло так, что тогда, осенью двадцатого года, Ленина видели три человека, прибывшие в нашу страну из-за рубежа, и все три оставили о своих встречах с Лениным подробные записи. Первый человек — женщина, революционерка. Второй — мужчина, писатель, считавший себя социалистом. Третий... Впрочем, о третьем мы скажем в свое время.

В один из этих осенних дней в Кремле, в круглом зале Здания судебных установлений, который носит теперь имя Якова Михайловича Свердлова, шло заседание IX Всероссийской партийной конференции. Секретарь ЦК Николай Николаевич Крестинский делал отчет об организационной работе Центрального Комитета партии. Но вот растворилась боковая дверь, и в зал вошла белоснежно-седая женщина с горящими темными глазами — «юная старуха», как прозвали ее товарищи.

Крестинский умолк. Все поднялись. Раздался гром аплодисментов. Ленин, который вел заседание, выбежал из президиума и бросился ей навстречу, радостно ее обнял.

Эта женщина — Клара Цеткин.

Два дня назад она приехала из Германии в Советскую Россию. Из-за войны с Польшей ехала через Латвию и Эстонию. В Гатчине ее окружили красноармейцы, рабочие, работницы, старики, юноши, дети. Все они бурно ее приветствовали.

Такая же встреча ждала ее в Петрограде, где она провела день. Посетила текстильную фабрику. Присутствовала на собрании в Смольном. Побывала на Островах, в первых в Советской России домах отдыха для рабочих.

Поздно вечером Клара выехала в Москву. Там снова многотысячная толпа, запрудившая площадь, алые знамена, приветствия. Москва уже не раз переживала торжественные встречи, но так, как Клару, не встречала никого.

И вот Клара в Кремле. И видит Ленина.

Вспоминая об этих минутах, Клара потом рассказывала, что Ленин показался ей совсем таким, каким видела она его в последний раз за несколько лет до этого, не изменившимся, почти не постаревшим. И она могла бы поклясться, что одет он был в тот же скромный, тщательно вычищенный пиджак, что был на нем при первой их встрече в 1907 году на Штутгартском конгрессе Второго Интернационала. Тогда Роза Люксембург, обладавшая метким, наблюдательным глазом, обратила внимание Клары на Ленина, сказав при этом: «Взгляни хорошенько на этого человека. Это — Ленин. Обрати внимание на его упрямую, своевольную голову».

Сейчас, сидя в президиуме Всероссийской партийной конференции, которая продолжала свою работу, Клара Цеткин снова видела эту могучую, прекрасно вылепленную голову, вмещающую столько мыслей и знаний.

Клара наблюдала за каждым движением Ленина. Отметила, что он, как и раньше во время конгрессов Второго Интернационала, проявляет чрезвычайное внимание к ходу прений, порой становившихся очень оживленными. Полон самообладания и спокойствия, в которых чувствуется внутренняя сосредоточенность. Ничто не ускользает от его острого взгляда и ясного ума. Самая характерная его черта — простота и сердечность в отношениях с товарищами.

На следующий день Клара выступила перед конференцией с большой речью, посвященной положению в Германии и революционной борьбе германского рабочего класса, героически отразившего Капповский путч.

Автор газетного отчета пишет, что это была «речь, полная огня», — и слова эти не метафора, которая может показаться банальной. Клара, активно участвовавшая на протяжении четырех десятилетий в международ-

ном рабочем движении, лично знавшая Фридриха Энгельса, Вильгельма Либкнехта, Августа Бебеля, дочь Маркса Лауру и ее мужа Поля Лафарга, соратница Карла Либкнехта и Розы Люксембург, увидела в Советской России воплощение тех идеалов, которым посвятили всю свою жизнь и она и ее великие друзья. И все ее речи, обращенные к русским рабочим и крестьянам, к руководителям нашей страны и ее рядовым труженикам, действительно были полны огня.

— Я боролась всю жизнь и делала это потому, что иначе не могла,— говорила она в одной из речей.— Так боролась я, ибо это отвечало моей природе... И я хочу умереть не иначе как на посту в революционной борьбе!

Во время конференции Клара обменялась с Лениным лишь несколькими словами. Чтоб поговорить с ней по-настоящему, Ленин пригласил ее к себе домой.

Первым, что отметила про себя Клара, придя в кремлевскую квартиру Ленина, была крайняя простота и неприязнательность ее убранства.

Ленина в это время дома не было, были Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Они пригласили Клару поужинать. Теперь она отметила про себя, что весь их ужин состоит из чая, черного хлеба, масла и сыра.

Хотя она была мало знакома с Надеждой Константиновной, а Марию Ильиничну видела впервые, но сразу же почувствовала себя в этой семье как дома. Потом пришел Владимир Ильич. Следом появился рыжий кот, весело приветствуемый всей семьей.

Этот кот был любимцем Владимира Ильича, и на нескольких фотографиях того времени мы видим, как Ленин, разговаривая, сидит в кресле, а руки его ласково придерживают свернувшегося у него на коленях пушистого кота. Когда Ленин шел в Совнарком, кот важно следовал за ним и усаживался под его креслом, зная, что оттуда его никто не выгонит.

Надежда Константиновна налила Ленину чая. Завязался общий разговор.

В тот же вечер Клара набросала на бумаге подробную запись этого разговора.

Когда же он происходил, этот разговор? Когда Клара была у Ленина?

Не раньше двадцать третьего сентября, ибо двадцать третьего сентября Клара приехала в Москву.

Но и не позже двадцать шестого, ибо по всему рассказу Клары видно, что в тот вечер в семье Владимира Ильича было спокойное, ровное, счастливое настроение.

Между тем в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое сентября на эту семью обрушилось тяжелое горе, надолго омрачившее ее жизнь. Горе, о котором Клара не могла бы не знать и которое не могла не почувствовать.

Но сперва о разговоре, который происходил в тот вечер.

Ленин вошел в комнату в минуту, когда Клара говорила о восторге и изумлении, испытываемых ею перед единственной в истории, поистине титанической, культурной работой большевиков и перед расцветом в стране творческих сил, стремящихся проложить новые пути в искусстве и в воспитании народа.

Со свойственной ей прямоотой Клара говорила и об иных своих впечатлениях — о том, что в первых пробных шагах молодого Советского государства в области искусства, по ее мнению, много неуверенности и неясных нащупываний. Что наряду со страстными поисками нового содержания, новых форм, новых путей имеет место нарочитое «модничанье».

Клара провела в Советской России лишь два или три дня, так что ее впечатления об искусстве нашей страны могли сложиться только из увиденных ею ярких, пестрых пятен, ломаных линий, кубов и квадратов, которыми кубисты и футуристы расписали деревянные лавчонки Охотного ряда и стены Страстного монастыря.

Вот с этих-то замечаний Клары и начался тот широкоизвестный, большой, глубокий разговор ее с Лениным об искусстве — разговор, в котором Ленин говорил, что искусство принадлежит народу и его глубочайшие корни должны проникнуть в самую толщу трудящихся масс. Что оно должно объединять чувства, мысли и волю масс, пробуждать в них эстетические начала, развивать и поднимать массы.

Именно поднимать! Непременно поднимать! Популярность состоит не в популярничанье, а в доступности миллионам, подчеркивал Ленин вскоре после разговора с Кларой Цеткин. Не опускаться до неразвитого читателя, а неуклонно — с очень осторожной постепенностью — поднимать его развитие.

Чтобы искусство пришло к народу и народ пришел к искусству (в широко распространенном русском переводе тут употреблен глагол «приблизиться», тогда как в немецком оригинале сказано «kommen», что должно быть переведено в данном контексте именно глаголом «приходить»), для этого,— говорил Ленин Кларе,— надо повысить общий образовательный и культурный уровень народа, а это будет достигнуто только тогда, когда художники постоянно будут видеть перед собою рабочих и крестьян и творить ради них.

Разговор Ленина и Клары не ограничился одними лишь проблемами культуры и искусства. В Кларе Ленин видел самого близкого своего друга в международном рабочем движении, и он поделился с нею своими заботами и тревогами.

Такой тревогой, которая всегда была для него словно занозой в сердце и не покидала его до самой смерти, был бюрократизм.

— Я его от души ненавижу,— воскликнул Ленин и пояснил, что он имеет в виду не того или иного чиновника, который может быть дельным работником, а бюрократическую государственную систему.

(Заметим в скобках, что распространенный русский перевод в данном случае неправильно передает *Bürokrat* немецкого оригинала, как «бюрократ». Слово «*Bürokrat*» в немецком языке имеет два значения — чиновник и бюрократ, в то время как русское слово «бюрократ» приобрело специфический смысл: бездушный чиновник, чиновник-формалист. Если б Ленин говорил с Кларой по-русски, он никогда не сказал бы — как то приписывает ему русский перевод,— что бюрократ может быть дельным работником.)

— Я ненавижу систему,— говорил Ленин Кларе.— Она парализует и вносит разврат как вниз, так и наверх.

В чем же видел он решающий фактор для преодоления и искоренения бюрократизма? В самом широком образовании народа и поднятии его культуры.

Снова и снова говорил он о том, насколько жизненно важно для построения коммунизма просвещение народных масс и создание действительно нового, великого коммунистического искусства, форма которого будет соответствовать его содержанию. Поняв и решив эту задачу, интеллигенция выполнит свой долг по отно-

шению к пролетарской революции, раскрывшей перед нею вольные творческие просторы.

Поздней холодной ночью, когда Клара возвращалась в гостиницу, она думала обо всем, что было сказано в этот незабываемый вечер, о Ленине, о том, как непохож он на вождей, которые рассматривают людей лишь в качестве «исторических категорий» и бесстрастно играют ими будто бездумными и бессловесными «шариками».

Клара говорила о «шариках». Слова «винтики» по отношению к труженикам из народа тогда еще не существовало в употреблении.

5

Быть может, в эту ночь, быть может, в следующую в Москву пришла телеграмма с Северного Кавказа. В ней было всего полторы строки:

«Товарищ Инесса умерла спасти не удалось».

И чья-то незнакомая подпись, видимо перевернутая.

До чего жестока бывает судьба! После многих лет такой работы, о которой она говорила дочерям: «Мостовую мостить и то, наверное, легче...», Инесса Федоровна Арманд поехала на Кавказ отдохнуть и подлечить больного сына. Жили они в Кисловодске. Но в окрестностях Кисловодска появились контрреволюционные банды. Тогда они переехали в Нальчик. Там Инесса заболела холерой и умерла.

Словно она сама отыскала свою смерть.

Ее любили вся партия и рабочий класс нашей страны. Уже одно то, что и при жизни и после смерти все звали ее просто по имени, просто «Инесса», уже одно это говорит о том, как родна была она людям.

И не только любили ее, но были в нее влюблены. Все — молодые и старые, мужчины и женщины. Ибо нельзя было не влюбиться в эту обворожительно-прекрасную женщину, покорявшую окружающих и своим темпераментом революционерки, и блестящим умом, и прелестью необыкновенных глаз, то серых, то зеленоватых. Недаром тогда бытовала шутка, что товарищ Инесса являет собой редкостный случай полного единства формы и содержания и в качестве такого при-

мера должна быть включена в программы по диалектике.

С Надеждой Константиновной и Владимиром Ильичем Инессу связывала долгая дружба, пронесенная через годы, в которые всем им выпало немало невзгод и испытаний.

Они познакомились в 1909 году в Брюсселе. Сблизились в Париже. Инесса была одним из ведущих лекторов в созданной Лениным партийной школе в Лонжюмо. Особенно тесной стала их близость во время первой мировой войны, когда Инесса, ведя огромную работу по объединению истинных интернационалистов, «ткала, по выражению Н. К. Крупской, первую ткань международной связи». А когда произошла Февральская революция и правительства Антанты отказались пропустить большевиков в Россию, Инесса храбро поехала вместе с Лениным и Крупской через Германию в знаменитом «пломбированном вагоне».

Их сроднила совместная политическая борьба и глубокое духовное единство. «Уютнее, веселее становилось, когда приходила Инесса», — писала Надежда Константиновна Крупская.

И вот страшная телеграмма: «Товарищ Инесса умерла спасти не удалось».

Невозможно было примириться с мыслью, что местом последнего ее успокоения будет могила на далеком безвестном кладбище.

— Мы похороним ее под Красной стеной, — писала Надежда Константиновна.

Но похороны состоялись не скоро: чтобы доставить гроб с телом Инессы из Нальчика в Москву, потребовалось без малого две недели.

Как раз в эти дни, числа восьмого октября, я приехала в Москву. Когда я пришла в районный комитет партии, чтобы встать на учет, меня тут же мобилизовали в Отряд особого назначения. Всех мобилизованных собрали в районном партийном клубе, где Ф. Э. Дзержинский выступил с сообщением, что, по полученным ВЧК сведениям, в Советскую Россию недавно прибыл представитель Савинкова, который устроил совещание со своей агентурой. На этом совещании решено воспользоваться усталостью масс и продовольственными затруднениями, чтобы подготовить ряд террористиче-

ских актов против вождей революции и свергнуть Советскую власть. Выступление савинковцев назначено в ночь с девятнадцатого на двадцатое октября.

Мобилизованные коммунисты были переведены на казарменное положение. Снова, как это бывало не раз, мы патрулировали по ночным улицам Москвы.

Вечером десятого октября патрульная группа, в которую входила я, вышла на дежурство.

Ночь была по-осеннему сырой и темной. Мы сильно продрогли и с нетерпением ждали утра.

Уже почти рассвело, когда, дойдя до Почтамта, мы увидели двигавшуюся нам навстречу похоронную процессию. Черные худые лошади, запряженные цугом, с трудом тащили черный катафалк, на котором стоял очень большой и поэтому особенно страшный длинный свинцовый ящик, отсвечивающий тусклым блеском.

Стоя у обочины, мы пропустили мимо себя этих еле переставлявших ноги костлявых лошадей, этот катафалк, покрытый облезшей черной краской, и увидели шедшего за ним Владимира Ильича, а рядом с ним Надежду Константиновну, которая поддерживала его под руку. Было что-то невыразимо скорбное в его опущенных плечах и низко склоненной голове. Мы поняли, что в этом страшном свинцовом ящике находится гроб с телом Инессы.

Ее хоронили на следующий день на Красной площади. Среди венков, возложенных на ее могилу, был венок из живых белых гиацинтов с надписью на траурной ленте: «Тов. Инессе Арманд от В. И. Ленина».

6

В эти тяжелые для Ленина недели события шли своей непрерывной чередой. Изю дня в день надо было решать вопросы самого широкого диапазона — от производства конской сбруи до переговоров с Англией.

Второго октября Ленин выступил на Третьем Всероссийском съезде комсомола с речью «Задачи союзов молодежи».

В этот же день он делал доклад на съезде рабочих и служащих кожевенного производства.

Третьего октября занимался ходом хлебных заготовок и положением на Северном Кавказе.

Четвертое октября посвятил в основном военным делам и дал телеграмму Реввоенсовету Первой конной

армии о необходимости ускорения передвижения армии на Южный фронт.

Пятого октября председательствовал на заседании Совета Народных Комиссаров.

Вопросом всех вопросов в то время были пан и барон.

В первую голову пан.

Весной двадцатого года Польша, подстрекаемая империалистами Антанты, напала на Советскую Россию. Польские войска вторглись в пределы Украины и захватили Киев. В ответ на это наши армии перешли в контрнаступление.

Советская Россия не ставила перед собой завоевательных целей. Как в периоды военных побед, так и во время поражений она стремилась как можно скорее закончить войну и заключить мир. Пусть более выгодный для Польши и только приемлемый для нас. Обращаясь к красноармейцам, отправлявшимся на польский фронт, Ленин призывал их помнить, что с польскими крестьянами и рабочими у нас нет ссор. Солдаты Красной Армии идут в Польшу не как угнетатели, а как освободители.

Пилсудский и те, что действовали за его спиной, когда им изменяло военное счастье, искали мира. Но стоило этому счастью повернуться в их сторону, они срывали мирные переговоры.

В итоге долгой и упорной борьбы, в боях среди болот Полесья и тихих кабинетов на Даунинг-стрит, в поединках между британским премьером Ллойд Джорджем и дипломатом-большевиком Леонидом Красиным Советское правительство добилось того, что двадцать третьего сентября в Риге открылась конференция для переговоров о перемирии и предварительных условиях мира между Советской Россией и Украиной, с одной стороны, и Польской Республикой — с другой.

Решение Советского правительства вступить в мирные переговоры с Польшей было принято без борьбы в руководящих партийных кругах.

— Известно ли вам, — рассказывал Ленин Кларе Цеткин, — что заключение мира с Польшей сначала встретило большое сопротивление, точно так же, как это было при заключении Брест-Литовского мира? Мне пришлось выдержать жесточайший бой, так как я стоял за принятие мирных условий, которые безусловно были благоприятны для Польши и очень тяжелы для нас.

Доводы противников мира с Польшей были простым перепевом идей «левых коммунистов»; никаких уступок белопольскому правительству, никаких договоров с классовым врагом.

Однако, в отличие от времен Бреста, в партии не возникло дискуссии. За эти годы партия выросла и поняла правоту ленинской точки зрения.

Объясняя Кларе свою позицию, Ленин говорил: — ...Наше положение вовсе не обязывало нас заключать мир какой угодно ценой. Мы могли зиму продержаться. Но я считал, что с политической точки зрения разумнее пойти навстречу врагу, временные жертвы тяжелого мира казались мне дешевле продолжения войны... Могли ли мы без самой крайней нужды обречь русский народ на ужасы и страдания еще одной зимней кампании? Могли ли мы послать наших героев красноармейцев, наших рабочих и крестьян, которые вынесли столько лишений и столько терпели, опять на фронт? После ряда лет империалистической и гражданской войны — новая зимняя кампания, во время которой миллионы людей будут голодать, замерзать, погибать в немом отчаянии... Нет, мысль об ужасах зимней кампании была для меня невыносима. Мы должны были заключить мир.

Польская сторона, начав переговоры, все время их затягивала, вновь и вновь пересчитывая свои козыри против Советской России — Врангеля, засуху, тиф, голод и холод.

В ближайшие дни должно было стать ясно, быть или не быть зимней кампании.

Именно в это время Ленину сообщили, что в Советскую Россию приехал английский писатель Герберт Уэллс и желает его видеть.

7

Свою книгу о поездке в Советскую Россию Герберт Уэллс назвал «Россия во мгле».

Некоторые наши кинематографисты поняли слова о «мгле» буквально и, воссоздавая обстановку дней, в которые происходила встреча Ленина с Уэллсом, напустили на экраны мрак, зимнюю ночь, мороз, снег, сугробы.

Не было тогда мрака. Не было зимы. Не было снега

и сугробов. Не было и быть не могло уже по одному тому, что Уэллс приехал в Советскую Россию двадцать шестого сентября и, по его собственному свидетельству, во время его двухнедельного пребывания в России стояли необычно ясные и теплые погоды золотой осени.

Мгла, образ которой возник в душе Уэллса, была в ином.

Он приехал тем единственным путем, которым можно было тогда приехать с Запада в нашу страну, тем, которым за пять дней до него приехала Клара,— через Эстонию и Петроград. Он ходил по тем же улицам, по которым ходила Клара, видел те же дома, те же мостовые, тех же прохожих, которых видела она, разговаривал с теми же людьми. Быть может, один и тот же корреспондент РОСТА задавал им один и тот же вопрос: «Каковы ваши впечатления от Советской России?»

— Я приехала в вашу великую страну, чтобы учиться у русского пролетариата, как нужно строить новую жизнь. Для этого я решила лично все осматривать, во все вникать, все изучать, чтобы извлечь наивозможно большую пользу для германского рабочего класса.

Так отвечала на этот вопрос Клара.

— Я приехал сюда для того, чтобы увидеть, что такое Советская Россия. Слишком много пропаганды, как белой, так и красной, ведется за и против России, чтобы можно было составить себе о ней настоящее представление. В Англии о России почти ничего не знают. И вот я приехал...

Это сказал Герберт Уэллс.

Прошло меньше года с тех пор, как Петрограду угрожал Юденич. Хотя теперь непосредственной угрозы городу не было, но до сих пор сохранялись оборонительные сооружения, созданные руками питерских пролетариев.

— Неподалеку от Путиловского завода я видела развороченную мостовую и баррикаду, сложенную из камней в дни наступления Юденича. Перед моим внутренним взором возникли баррикады Парижской коммуны. О, святые камни революции!

Так говорила Клара.

— Улицы находятся в ужасном состоянии... Они изрыты ямами... Кое-где мостовая провалилась... Авто-

мобильная езда состоит из чудовищных толчков и резких поворотов...

Это писал Уэллс.

Видела ли это Клара? Да, видела. «Я не хочу скрывать, что я наблюдала и изможденные лица, и неисправленную мостовую, неотремонтрованные дома»,— сказала она корреспонденту РОСТА. Она видела это, но...

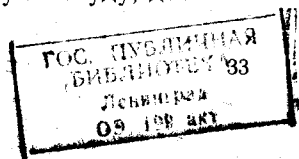
Вот побывали они оба в первых в Советской России домах отдыха для рабочих.

— Русская революция,— говорила Клара,— сделала то, что не сделала ни одна революция в истории: дворцы богачей она превратила в дома отдыха для рабочих.

— Я хочу сказать лишь несколько слов о доме отдыха для рабочих на Каменном острове,— говорил Уэллс.— Это начинание показалось мне одновременно и превосходным и курьезным. Рабочих посылают сюда на две-три недели отдохнуть в культурных условиях. Дом отдыха — прекрасная дача с большим парком, оранжереей и подсобными помещениями. В столовой — белые скатерти, цветы и т. д. И рабочий должен вести себя в соответствии с этой изящной обстановкой; это один из методов его перевоспитания. Мне рассказывали, что, если отдыхающий забудется и, откашлявшись, по доброй старой простонародной привычке сплюнет на пол, служитель обводит это место мелом и предлагает ему вытереть оскверненный паркет...

Говоря это, Уэллс отнюдь не хотел оскорбить нашу страну. Нет, он искренне чувствовал себя другом нашего народа, с глубоким сочувствием относился к его страданиям, возмущался вооруженным вмешательством в русские дела, проводившимся правительствами Антанты, в том числе правительством его собственной страны; признавал, что «большевистское правительство — единственное правительство, возможное в России в настоящее время».

Но признавая это, он тут же подчеркивал, что все это имеет лишь «второстепенное значение». А что же главное? «Крах — вот самое главное в сегодняшней России»,— отвечал он. И чтобы английский читатель понял, насколько сокрушающе огромен этот крах, пояснял: «...такие вещи, как воротнички, галстуки, шнурки для ботинок, простыни и одеяла, ложки и вилки, всяческую галантерею и обыкновенную посуду, достать невозможно...»



И ведь не был же он обывателем или вульгарным филистером, ведь способен был он и на смелую мысль, и на экстравагантнейшие высказывания. Как раз перед приездом в Советскую Россию он выпустил объемистую книгу «Контурь всемирной истории», опрокидывающую все существовавшие до того концепции исторического процесса.

— Я хотел бы, — сказал он, будучи в Москве, советскому журналисту А. Меньшому, — чтобы были написаны новые книги по истории по моей схеме и чтоб новое поколение училось по моей схеме, а все старые книги и учебники были бы уничтожены и сожжены.

Далеко хватил, ничего не скажешь! Но вот оказался он в стране пролетарской революции на исходе третьего года ее существования, что же он увидел?

— Советская страна обнимает по своему сознательному самоподчинению, по беспримерной преданности и энергии, по смелой инициативе и настойчивости, по безупречной работе, по силе убеждения, которая, подобно Фениксу, вновь и вновь возрождается из пламени, а также по положительной деятельности по поднятию культуры, — работу целых столетий. Она — титанический триумф духа и воли над «косностью материи», над неблагоприятными обстоятельствами. Она — утро для творения новых общественных отношений.

Нет, это сказал не Уэллс. Это сказала великая революционерка Клара Цеткин.

Уэллс сказал другое. Он сказал, что три года русской революции — это долгие, мрачные годы, в которые Россия неуклонно спускалась с одной ступени бедствий на другую, все ниже и ниже в непроглядную тьму.

Дальнейший путь России был ему неясен. Ее будущее затянуто мраком.

Вот откуда родился созданный Уэллсом образ мглы, окутавшей Россию.

8

Из Петрограда Уэллс поехал в Москву. Не скрывая своего раздражения, он брюзжал по поводу того, что ему пришлось потратить около восьмидесяти часов на разъезды, телефонные переговоры и ожидания для того, чтобы побеседовать в течение полутора часов с Лениным и Чичериным — и относил задержку за счет «рус-

ской неорганизованности». Но мы помним, как тогда жил, как работал тогда Ленин, и едва ли можем разделить чувства, владевшие Уэллсом.

Ленин принял его утром шестого октября.

— Наконец мы попали в кабинет Ленина, светлую комнату с окнами на кремлевскую площадь,— рассказывает Уэллс.— Ленин сидел за огромным письменным столом, заваленным книгами и бумагами... У Ленина приятное смугловатое лицо с быстро меняющимся выражением, живая улыбка; слушая собеседника, он щурил один глаз... Он не очень похож на свои фотографии, потому что он один из тех людей, у которых смена выражения гораздо существеннее, чем самые черты лица; во время разговора он слегка жестикулировал, протягивая руки над лежавшими на его столе бумагами; говорил быстро, с увлечением, совершенно откровенно и прямо, без всякой позы...

Идя к Ленину, Уэллс ждал, что увидит марксистского начетчика, и собирался вступить с этим воображаемым начетчиком в схватку. Вышло иное. «...Должен признаться,— писал в своей книге Уэллс,— что в споре мне пришлось очень трудно».

Разговор шел в стремительном темпе. Собеседники задавали друг другу вопросы, иногда отвечали, иногда парировали контрвопросами.

О содержании этого разговора мы знаем только по записи Уэллса. Ленин, читая книгу Уэллса о поездке в Россию, сделал на полях ее лишь несколько беглых пометок, причем ни одной из них в той главе, в которой Уэллс рассказывает о нем самом и о разговоре с ним, а потом ни в одной из своих речей и статей не вспоминал ни о встрече с Уэллсом, ни о его книге.

Как и всякая такая запись, она весьма субъективна. Наиболее интересно в ней широко известное место, в котором Уэллс излагает свои впечатления о ленинском плане электрификации.

«Дело в том,— пишет Уэллс,— что Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации... Он делает все, что от него зависит, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности... Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной, равнинной, покрытой лесами стране, населенной

неграмотными крестьянами... не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасли торговля и промышленность?»

Такие проекты, по убеждению Уэллса, реальны лишь для густонаселенных стран с высокоразвитой промышленностью. Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии, они обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще плодотворной. Но осуществление их в России «можно представить себе только с помощью сверхфантазии».

«В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не мог увидеть эту Россию будущего,— писал он,— но невысокий человек в Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированные, он видит, как новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как подымается обновленная и счастливая, индустриализированная коммунистическая держава. И во время разговора со мной ему почти удалось убедить меня в реальности своего провидения».

Муза истории — божественная Клио — позволяет себе иногда такие выходки, которые в руках любого художника выглядели бы грубым «нажимом» и даже примитивной подтасовкой. Так и здесь: она взяла писателя, прославившегося своей безграничной и неисчерпаемой фантазией, послала его в тогдашнюю Россию, свела его с Лениным, дала ему услышать из уст Ленина план электрификации и коммунистического возрождения нашей разоренной страны, а потом сунула ему в руки перо, чтоб он, именно он, этот непревзойденный фантаст, объявил ленинский план электрификации «сверхфантазией», осуществление которой нельзя увидеть ни в каком волшебном зеркале. Сколько бы ни читала об этом, каждый раз удивляешься anew!

9

Вечером того же дня, когда он был у Ленина, Герберт Уэллс уехал в Петроград. Он торопился, чтоб не опоздать на пароход, уходивший из Ревеля (Таллинна)

в Стокгольм, но до отъезда из Советской России успел побывать на заседании Петроградского Совета.

Заседание это проходило в Таврическом дворце. Зал был полон; две или три тысячи человек занимали не только кресла, но все проходы, лестницы и хоры. Все это, как свидетельствует Уэллс, создавало обстановку «многолюдного, шумного, по-особому волнующего массового митинга».

После обсуждения вопроса о мире с Польшей председатель объявил, что слово предоставляется присутствующему в зале знаменитому английскому писателю товарищу Уэллсу. Именно так: товарищу Уэллсу.

В своей книге Уэллс рассказывает об этом своем выступлении предельно сдержанно и иронично.

«Прежде всего,— пишет он,— я совершенно недвусмысленно заявил, что я не марксист и не коммунист, а коллективист и что русским следует ждать мира и помощи в своих бедствиях не от социальной революции в Европе, а от либерально настроенных умеренных кругов Запада. Я сказал, что народы западных стран решительно стоят за мир с Россией, чтоб она могла идти своим собственным путем, но что их развитие может пойти иным, совершенно отличным от России путем».

И все! Больше об этой своей речи Уэллс в книге не говорит.

На деле «товарищ Уэллс» сказал не только это. До нас дошел текст его речи, в которой звучат по-настоящему глубокие и прекрасные слова.

«Вы стоите перед созидательной работой, изумительной своим бесстрашием и силой,— сказал он.— Эта работа не имеет себе равной в истории человечества. В ней — выражение той гениальной способности России, которая давно проявлена русской литературой,— я говорю о бесстрашии мысли и безграничном напряжении сил».

Обращаясь к мужчинам и женщинам, которые слушали его с глубоким вниманием, Уэллс не читал им мелких нотаций, как то можно подумать по его книге. Нет, он говорил им о преступных действиях интервентов, вторгших Россию в ее бедствия, он обещал приложить все свои усилия, чтобы покончить с войной против Советской России.

«Способность прощать характерна для великого народа,— говорил он.— И все, что я видел и слышал в России, убеждает меня в том, что Россия и Англия,

несмотря на все взаимные прегрешения, могут любить и понимать друг друга и вместе работать для человечества и для того нового мира, который рождается среди мрака и бедствий. Дайте мне еще раз сказать вам, что английский народ хочет мира, добывается мира и не успокоится до тех пор, пока не добьется мира».

Так говорил Герберт Уэллс на следующий день после своей встречи с Владимиром Ильичем Лениным.

10

Теперь о третьем иностранном госте, побывавшем в эти дни у Ленина.

В русском издании книги Уэллса «Россия во мгле» мы читаем, что, будучи в Москве, он жил в одном доме с «предприимчивым английским скульптором, каким-то образом попавшим в Москву», и что, придя от Ленина, он завтракал «с господином Вандерлипом и молодым скульптором из Лондона».

Как известно, английский парламент может сделать все на свете, кроме одного: превратить мужчину в женщину и женщину в мужчину. Переводчики книги Уэллса оказались-таки сильнее английского парламента: они превратили женщину в мужчину. Ибо этим скульптором была женщина — притом прелестная женщина! — Клэр Шеридан.

Прелестная и отважная. Надо было обладать незаурядной смелостью и бесстрашием, чтобы тогда, осенью двадцатого года, поехать в Советскую Россию, о которой приехавшие оттуда англичане рассказывали, что они собственными глазами видели в общественных столовых суп с плававшими в нем отрубленными человеческими пальцами.

Что же заставило ее совершить этот смелый поступок? Когда сейчас, почти полвека спустя, я читаю дневники, которые вела Клэр Шеридан во время своего путешествия в Советскую Россию, я нахожу ответ на этот вопрос не в тех словесных объяснениях, которые дает себе и людям сама Клэр, а в скульптуре, которую она тогда только что закончила и которую назвала «Победа».

Горькая, страшная эта победа! Обнаженная женщина полузакрывает глаза, лицо ее полно трагической скорби. В правой, безвольно опущенной руке она держит меч. Спина ее сгорблена, голова слегка откинута

назад, каждая линия худого, истощенного тела выражает предел человеческой муки.

«Я мало знала и еще меньше понимала как в коммунизме, так и в условиях, вызвавших его к жизни...» — пишет о себе Клэр. И откуда могла что-либо знать о коммунизме эта английская аристократка, близкая родственница Уинстона Черчилля? Но муж Клэр — Уилфрид — погиб на войне. Но у нее рос сын Дик, и она с тревогой думала о его будущем. И Советская Россия отвечала тому главному чувству, которым она тогда жила: жажде мира.

«Я была убеждена,— писала о себе Клэр,— как убеждена и до сих пор... что новая Россия никогда не пойдет ни на какие военные агрессии. Красная Армия существует для обороны. В необходимости иметь армию для обороны страны новая Россия убедилась на опыте, но каждый красный русский солдат знает, и все родные этого солдата знают и знают, что их никогда не пошлют поддерживать агрессивные действия за пределами родины.

Мое сердце постоянно, с тех пор как родился Дик, полно ужаса и страха перед войной. Что, если в один прекрасный день его заберут, чтобы сделать из него пушечное мясо, или заклеят, как труса? Что, если на его долю выпадет худшее, чем смерть? Слепота, отравление газом, уродство?.. Когда я слышу, как маршируют солдаты, я всегда думаю о Дике и об Уилфриде, который был так ужасно обманут и отдал свою жизнь в тщетной надежде, что это была последняя война, «война за то, чтобы положить конец войнам»...»

Клэр была в Москве, когда туда приехал Герберт Уэллс, и жила в том доме на Софийской набережной, где он остановился. Они вместе позавтракали и долго разговаривали. Уэллс жаловался на бесконечные лишения, которые он переносил в Петрограде: по утрам он не мог принимать горячую ванну, почтальон не приносил газет, за завтраком он не наедался досыта. «Нет! — восклицал он. — Без этого я не могу жить и работать!» С юмором и даже сарказмом высмеивал он многое из того, что видел в России.

Легко смеяться над трагедией, когда она касается не тебя, а других. «Ах, дорогой мистер Уэллс! — записывала в своем дневнике Клэр. — Я очень вас люблю... Но если вы не можете жить без утренней ванны, сытного завтрака и газет, вам нечего делать в сегодняшней России!»

И она, страдавшая от отсутствия житейских удобств не меньше, чем Уэллс, желала остаться в России, чтоб принять участие в ее реконструкции, она хотела, чтобы именно в России получили образование ее дети.

Главной целью, которую ставила перед собой Клэр, когда ехала в Москву, было создать скульптурный портрет Ленина.

Через несколько дней после ее приезда комендант Кремля передал ей, что завтра с одиннадцати утра до четырех дня она сможет работать в кабинете Ленина.

Всю ночь она не могла сомкнуть глаз. Утром пошла в Кремль. Шла в страхе и глубоком волнении, чувствуя, что ей предстоит сейчас самая ответственная работа в ее жизни.

Ленин сидел за письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Когда вошла Клэр, он взглянул на нее, улыбнулся, встал, пошел ей навстречу. Она принесла извинения, что беспокоит его. Он рассмеялся и сказал по-английски, что она может работать, сколько ей понадобится, но при одном условии: что и сам он будет сидеть за своим письменным столом и читать.

Клэр провела в кабинете Ленина два полных рабочих дня: седьмое и восьмое октября. Работа потребовала от нее напряжения всех сил. «Никогда не видела я столько перемен выражения на одном лице,— записывала она потом.— Ленин то смеялся, то хмурился, казался задумчивым и печальным, грустным и насмешливым, все подряд. Я наблюдала за этой сменой выражений его лица, выжидала, колебалась — и вдруг стремительно, в каком-то неистовом воодушевлении сделала выбор. Да, я должна показать его внимательно-прищуренный, как бы ввинчивающийся в собеседника (screwed up) взгляд... Это будет замечательно! Ни у кого нет такого взгляда! Это его взгляд. Его и только его!»

В комнате все дышало покоем. Ленин полностью ушел в свою работу. Когда входили секретари с пакетами, Ленин не глядя расписывался на конверте. Время от времени раздавалось тихое жужжание телефона и одновременно над столом загоралась маленькая электрическая лампочка. Когда Ленин говорил по телефону, лицо его становилось особенно оживленным. Кончив разговор, он снова погружался в работу. Эта его способность сосредоточиваться и его огромный лоб больше всего поразили Клэр.

Часы проходили в молчании. Лишь изредка Ленин и Клэр обменивались немногословными фразами. Ленин спросил, верно ли, что Клэр близкая родственница Черчилля? Она ответила, что да, но зато другой ее дядя — ирландский революционер-синфейнер.

— Напишите письмо Черчиллю, я его передам, — предложила Клэр.

(В своей политической наивности она даже не подозревала, что, узнав об ее отъезде в Россию к этим «кровавым большевикам», ее семья пришла в бешенство, а Уинстон Черчилль заявил, что никогда не будет с ней разговаривать.)

— К чему? — спросил Ленин. — Я уже послал ему письмо с нашей делегацией, и он мне ответил, правда, не прямо, а через газеты, статьей, в которой заявил, что я чудовище, а наша армия...

Тут Ленин забыл нужное ему английское слово и, вопросительно глядя на Клэр, сказал по-французски:

— ...L'armée de puces.

— Of fleas, — подсказала ему Клэр.

— Совершенно верно, an army of fleas, блошинная армия. Но я остался доволен этим ответом. Черчилль показал, что мое письмо задело.

В другой раз разговор начала Клэр. Она спросила Ленина, почему все его секретари женщины? Он сказал: потому, что мужчины на войне. Они заговорили о войне с Польшей. Клэр предполагала, что мир уже подписан. «Нет, — сказал Ленин. — Существуют силы, которые стремятся сорвать мирные переговоры. Положение продолжает оставаться крайне трудным. Кроме того, после того, как мы уладим дела с Польшей, нам предстоит еще разделиться с Врангелем».

Клэр показала Ленину фотографии нескольких своих работ. Это послужило поводом для разговора об искусстве. Если верить Клэр, все сказанное по этому поводу Лениным сводилось к нападкам на буржуазное искусство. Но, видимо, она не поняла или не сумела передать мысли своего собеседника, ибо как раз в те дни, когда Клэр работала в его кабинете, Ленин писал в проекте резолюции о пролетарской культуре:

«Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухты-

сячелетнем развитии человеческой мысли и культуры».

Эти слова для Ленина не случайны. Вспомним хотя бы то, что говорил он за несколько дней до того Кларе Цеткин, вспомним его речь на Третьем съезде комсомола.

Когда бюст был готов настолько, насколько он мог считаться готовым в тех сложных условиях, Ленин тепло пожал руку Клэр и сказал, что она хорошо выполнила свою работу.

По возвращении в Англию Клэр по собственному желанию высекла бюст Ленина из мрамора.

Когда смотришь на фотографические снимки этого бюста, чувствуешь, что художник показал Ленина в минуту, когда тот был один, наедине с собой. Ленин приподнял голову, чуть прищурился, вот-вот протянет руку, чтоб взять перо и записать возникшую у него мысль.

«Лицо его выражало скорее глубокую думу, чем властность,— писала потом Клэр.— Мне он представлялся живым воплощением мыслителя...»

Таким запечатлелся Ленин в памяти трех свидетелей, видевших его ранней осенью двадцатого года.

Эти трое были очень разными, даже контрастными людьми. Тем примечательнее, что и страстная Клара с ее пылкой душой революционерки, и воспринимающая мир глазами художника, вдовы, матери, задумчивая, впечатлительная Клэр, и полный скепсиса и иронии Герберт Уэллс увидели в Ленине одного и того же человека, поразившего их духовной глубиной и силой интеллекта. Уж на что предубежден был Уэллс, но и тот признал: «...встреча с этим изумительным человеком, который откровенно признает колоссальные трудности и сложность построения коммунизма и безраздельно посвящает все свои силы его осуществлению, подействовала на меня живительным образом. Он, во всяком случае, видит мир будущего, преображенный и построенный заново».

Им бросились в глаза его энергия и работоспособность. Одна лишь Клэр своим пронизательным взором художника подметила, что Ленин выглядит очень больным, лицо его бледно и даже желтовато, как слоновая кость.

Она решила, что эта бледность — следствие ранения 1918 года. Возможно, что это было так. Но возможно, что причиной было иное.



**ЗИМНИЙ
ПЕРЕВАЛ**

1

Уж близок был тот долгожданный час, о котором в течение трех лет с таким нетерпением мечтал наш народ, час, когда где-то в Крыму последняя пушка выпустила последний снаряд гражданской войны и оставшийся неизвестным красноармеец воткнул штык в землю, сказав: «Все! Наша взяла!» Правда, впереди еще оставались бои в Приморье и ликвидация зеленых и белых банд в Белоруссии, на Украине, на Тамбовщине, в Туркестане. Однако основная борьба против российской белогвардейщины и иностранной интервенции была победоносно завершена. Страна могла приступить к мирному строительству.

Но что представляла собой страна? Мы привыкли, как к прописи, к словам, порой скользящим мимо сознания: «разоренная войной», «страдающая от разрухи» и прочее в этом же роде.

Там, где стерлись слова, иногда обретают силу цифры. По подсчетам крупнейшего советского ученого С. Г. Струмилина, за годы империалистической и гражданской войны Россия потеряла более четырехсот миллионов человеко-лет. И это только прямые потери!

По всему Уралу в декабре двадцатого года работало девять домен, десять мартеновских печей, два рельсопрокатных стана, один трубопрокатный, три листовых, один проволочный, десять кровельных. Общий же объем валовой продукции крупной промышленности по стране составлял к этому времени — восемнадцать процентов довоенного, а сбор хлебов — шестьдесят два процента.

Не нужно напрягать воображение, достаточно небольшого усилия, чтобы увидеть за этими цифрами незасеянные поля, омертвелые, веющие холодом заводские корпуса, окоченевшие станки, вереницы ржавеющих на кладбищах паровозов и вагонов.

Кто-то из товарищей, приехавших из Иваново-Вознесенска, рассказал то ли было, то ли притчу, как трое тамошних жителей собрались на юг за продуктами

и стали спорить, как им туда добираться: по чугунке (так называли тогда поезда), на лошади или пешком.

— Вы, братцы, катите по чугунке,— сказал один из них,— а я пеший пойду.

— Пеший? Так ты полгода проходишь.

— Не беспокойтесь. Раньше вашего вернусь.

— Ну, ладно, ступай. А мы поедем.

Пустились все трое в дорогу.

Тот, который пошел пешком, через два месяца возвратился домой и привез с собою три пуда пшена. А те двое, которые поехали поездом, и по сей час ездят. Словно в воду канули.

Редко-редко над заводскими трубами затерянных в лесу застывших заводов курился легкий, слабенький дымок. Но зато в жилых домах чуть ли не из каждой форточки торчали жерла самодельных жестяных труб, извергавших густые струи вонючего дыма, который черными подтеками оседал на замерзших стенах.

В ту зиму я как-то зашла в единственное в Москве кафе, принадлежащее поэтам. Называлось оно то ли «Стойло Пегаса», то ли «Домино». На эстраде выламывались молодые люди из поэтической секты «ничевоков». Тогдашняя мода почему-то требовала, чтоб стихи выли. И вдруг какой-то человек обычным человеческим голосом, очень печально и очень просто прочел стихотворение о том, что скоро, совсем скоро

Сам Ильич пройдет с Калиткою
По заросшей мохом Москве.

В конце октября в Москве выпал снег. Сначала он лег ровной пеленой. Но шло время, снегу становилось больше, и хотя его никто не убирал и не сметал, он сам собирался в сугробы. Постепенно улицы превратились в длинные снежные траншеи, посредине которых друг за другом тонкой ниточкой плелись люди. Фонари не горели, окна блестели черным блеском зашторенных изнутри стекол. Под угрюмым зимним небом лежала израненная, голодная, холодная, босая, прикрытая рваным рубищем Россия, дошедшая до последнего предела нужды и лишений.

В эту Россию пролетарская революция должна была вдохнуть силы и жизнь. Но как?

Только гений Ленина мог найти ответ на этот вопрос.

Какое сравнение тут наиболее подходит? Пожалуй, такое: бесконечно длинная, запутанная и перепутанная цепь, каждое звено которой — заколдованный круг.

Чтобы восстановить железные дороги, нужно было топливо. А подвезти топливо было невозможно, пока не будет восстановлен транспорт.

Города голодали, деревня изнемогала под бременем разверстки. Уменьшить разверстку — деревне станет легче, но города будут обречены на еще более тяжкие муки голода. Увеличить разверстку — в городах станет сытнее, но деревня будет полностью опустошена.

Можно бы получить из деревни какое-то количество хлеба с помощью товарообмена. Но для товарообмена нужны ситец, спички, деготь, сапоги. Куда же отдать с трудом добытые вагоны угля и дров — на восстановление ситценабивных фабрик или на ремонт паровозов? Будут паровозы, не будет ситца. Будет ситец, не будет паровозов. Как же наладить товарообмен?

Страна должна стать грамотной. На какие же средства учить людей? Отнять средства у промышленников? Оторвать от сельского хозяйства? Или, что предлагают некоторые товарищи, закрыть Большой театр и продать за границу, как предметы ненужной роскоши, сокровища Эрмитажа и драгоценные скрипки Страдивари?

Каждый день возникали вопросы, которые требовали немедленного, безотлагательнейшего решения. И каждый из этих вопросов вырастал в неразрешимую дилемму, возникавшую когда-то перед героем народной сказки: пойдешь направо — коня потеряешь; пойдешь налево — себя потеряешь; пойдешь прямо...

Разорвать цепь заколдованных кругов могло только одно: тот крутой поворот в экономической политике, который был найден гением Ленина и был потом прозван «новой экономической политикой».

Но прежде чем продолжать повествование, задумаемся на минуту над тем, какую роль играет и может играть в истории отдельная человеческая личность.

Опыт последних десятилетий далеко увел нас от вульгарно-социологических схем, по которым личность представлялась лишь пассивным «продуктом» своего класса и даже отдельной его прослойки, — чем-то вроде

микрофона, через который вещают безликие законы исторического процесса. Но нам чужды и народнически-идеалистические воззрения о героях — творцах истории, вершащих ход и направление исторического процесса.

Посоветуемся об этом с Лениным.

Мы знаем, как оценивает он значение исторической деятельности народных масс. Политика для него начинается «не там, где тысячи, а там, где миллионы».

Но вместе с этим он подчеркивает: «История вся и состоит из действий личностей...» И видит задачу общественной науки в том, чтобы «объяснить эти действия».

Вот Ленин перечитывает письмо Маркса к Кугельману, в котором Маркс пишет, что история имела бы мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли. В числе этих «случайностей» Маркс называет характер людей, стоящих вначале во главе движения,— и Ленин отчеркивает эти слова.

Вот Ленин анализирует сложнейший момент в истории России девятнадцатого века, так называемую «крестьянскую реформу». Показав путаницу, которая царит по этому поводу в головах «друзей народа», Ленин пишет:

«Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно освещена она даже на Западе), понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер».

Вот Ленин размышляет о Толстом:

«Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».

Вот он провозглашает в последний путь Якова Михайловича Свердлова и говорит, стоя у его открытой могилы:

«История давно уже показывала, что великие революции в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и разворачивают такие таланты, которые раньше казались невозможными».

Запомним эти ленинские слова и не станем докучать читателю разжевывающей скукой комментариев.

Крым был еще в руках Врангеля, линия Южного фронта проходила в Северной Таврии, до штурма Перекопа предстоял почти месяц упорных кровавых боев, когда Ленин набросал краткие заметки об очередных задачах партии:

«19 октября 1920

Главные вопросы по окончании войны с Врангелем (и для партсъезда 1921):

1) борьба с бюрократизмом и волокитой советских учреждений; проверка реальных успехов борьбы;

2) укрепление социалистического фундамента: 7 миллионов членов профсоюзов. Равенство на место ударности.

Развитие самодеятельности 7 миллионов членов профсоюзов;

3) связь профсоюзов (ВЦСПС) с трудовым, не эксплуататорским, не спекулирующим крестьянством. Форма и способы.

Укрепление связи Советской власти с крестьянством. Тракторы и колхозы».

Это — первые наброски, поразительные силой ленинского провидения. В немногих строках сформулированы основные задачи Советской власти на долгие десятилетия.

Пока Ленин их только перечисляет, но не указывает решений. Это — впереди. Ленин найдет эти решения в напряженном творческом поиске, который займет весь остаток его дней.

А сейчас мы в Москве двадцатого года. Зима, мороз, снег. Из-за отсутствия топлива замерла работа электростанций. Большинство домов погружено в темноту. В том числе и дом на Мясницкой, в котором одетые в шубы, шапки, перчатки люди при свете коптилок, именуемых то «моргаликами», то «мышиним глазком», склоняются над чертежами с надписями: «План электрификации Р.С.Ф.С.Р.».

В одной из служебных комнат Совета Народных Комиссаров заседает комиссия. Она носит название «Комиссия об отмене денежных налогов», но замыслы ее членов идут дальше: видя в деньгах последний пережиток частнособственнических отношений, они считают делом ближайшего же будущего полное исчезновение денег. Михаил Юрьевич Ларин на страницах газет

призывает полностью уничтожить «денежный туман». «Успехи наши в строительстве социализма,— пишет он,— можно измерять, между прочим, степенью отрицания значения денег в нашей жизни».

Ленин знает о существовании этой комиссии и умонастроениях ее участников, но пока не требует прекращения ее деятельности. Он сделает это три месяца спустя, когда будет решено отменить разверстку, заменив ее натуральным налогом. Но уже сейчас он призывает членов комиссии к сугубой осторожности: «Надо побольше вдуматься (и детальнее изучить соответствующие факты) в условиях переходной эпохи...— пишет он председателю комиссии С. Е. Чуцкаеву.— Отменить суррогат (деньги), пока крестьянству не дали еще того, что устраняет надобность в суррогате, экономически неправильно».

Надо это обдумать *очень* серьезно».

Ленин вслушивается в то, о чем говорит деревня, он прислушивается к ее шепоту и к ее молчанию. Неурожай, бескормица, падеж скота. Засуха и пожары. И разверстка, разверстка, разверстка, прямо невмочь. «Не двадцать у нас шкур, а одна, да и та дырявая».

Площадь посева повсюду падает, урожай сам-три, а то и сам-два. Деревня почти не сеет ни льна, ни конопли, ни подсолнуха, а хлеба старается сеять ровно столько, сколько нужно для собственного прокорма. Крестьянское хозяйство, по выражению того времени, сделалось «самоедским». «И чего нам спину гнуть, все равно выметут все под метелку. Отсеемся по ленивке, наволоком, прямо по жнивью, пусть и на том спасибо скажут».

И тут же: «Имеем по декрету, живем по секрету». Внешне покоряясь требованиям города, порожденным суровой обстановкой гражданской войны, деревня создала свою особую, подпольную экономику, символом которой является неистребимое никакими силами и никакими средствами мешочничество.

Где же выход? Как возродить у мелкого производителя поблекшие, а то и вовсе увядшие стимулы к посеву сверх его личной потребительской нормы и нужд его хозяйства? Чем предупредить утечку продуктов по каналам мешочничества и спекуляции?

Выражая настроения продовольственных и земельных «аппаратных» работников, да и не их одних, Н. Осинский выступает на страницах «Правды» с рядом

статей, в которых предлагает ту же и ту же закручивать пресс. Государственное регулирование, доведенное до каждого крестьянского двора,— вот спасение от всех бед.

Но раздаются и иные голоса: партийные работники Сибири и ряда других мест предлагают заменить разверстку продовольственным налогом, при котором государство будет брать у крестьянина не все излишки его хозяйства, а лишь определенную часть урожая.

Эта же мысль все чаще встречается в письмах крестьян, которые почта каждый день приносит Ленину. Описав все бедствия, которые они испытывают от «разверсточной паутины», крестьяне Панфиловской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии в длиннейшем послании, в котором нет ни единой точки и запятой, пишут Ленину, что вся посевная кампания будет «ни к чему», если вместо разверстки крестьян не обложить «податью, только не денежной, а хлебной». «Когда крестьянин будет знать свою норму налога и время его,— говорится в этом письме,— тогда нам не нужно будет держать в волости десятки продагентов».

«Мы, трудовое крестьянство, середняки и бедняки Никольской волости Тотемского уезда, считаем себя друзьями Советской власти и товарища Ленина,— говорится в другом письме.— Разверстка, как она указана в центре, дело революционное, но применение ее на местах — дело контрреволюционное и ведет скорыми шагами к гибели Советской власти».

С особой силой тревога и боль звучат в письмах деревенских коммунистов. «Я — коммунист с 1918 года,— пишет один из них.— Мои убеждения ничто не изменит. Коммунистический дух во мне крепок, но сердце разрывается на части, когда я гляжу на то, что творится у нас в деревне...»

Ленин упорно раздумывает над политикой Советской власти по отношению к крестьянству. Копии с полученных им крестьянских писем он рассылает товарищам, направляет для обсуждения и напечатания в газету «Беднота». Больше всего остерегается он поспешности, поверхностных, скоропалительных выводов. Он ищет, пробует, советуется, взвешивает, прикидывает.

Весь в поисках приходит он на Восьмой съезд Советов, надеясь во встречах и общении с делегатами съезда, и в первую очередь с беспартийными крестьянами, найти искомое решение.

В бурном потоке ленинской жизни есть периоды, когда напряжение ее достигает особенной силы,— эпоха «Искры», Второй съезд партии, девятьсот пятый год, июльские дни, Октябрь семнадцатого.

К таким «пиковым» периодам относится и последняя декада декабря двадцатого года, во время которой происходил Восьмой съезд Советов.

Этот съезд вошел в историю в образе парящей над сценой Большого театра и словно летящей в будущее карты России, усыпанной огнями электрических станций, сооружаемых по плану электрификации нашей страны.

И сам план электрификации, и обстановка, в которой он был принят, так необыкновенны, что не только потомки, но и современники и даже непосредственные участники событий как-то забыли о сложнейшем сгустке исполненных драматизма событий, с которыми был связан этот съезд.

На нем были приняты предложения Ленина о премиривании крестьянских хозяйств, являвшиеся первым шагом на пути перехода к новой экономической политике.

На нем Троцкий выступил со своей платформой по вопросу о задачах профессиональных союзов, после чего партия была ввергнута в острейшую внутривнутрипартийную дискуссию.

На нем Ленин в речи «О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках тов. Троцкого»¹ дал глубочайший анализ сущности Советского государства, его взаимных отношений с рабочим классом в переходный период и в «переходный период в переходном периоде».

И все это, от доклада о международном и внутреннем положении и плане электрификации и до заключительных слов в речи об ошибках Троцкого,— на предельно коротком отрезке времени, всего в девять дней.

Дорого дались Ленину эти «девять дней одного года»: выступая на соединенном заседании делегатов Восьмого съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС — членов РКП(б), Ленин впервые сказал, что он болен.

¹ У автора допущена неточность. Эту речь В. И. Ленин произнес на соединенном заседании делегатов Восьмого съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС — членов РКП(б) 30 декабря 1920 года.— *Ред.*

Из далеких глубин моей памяти возникает переполненный зал Большого театра. Полутемно: горят не все лампы, да и те, что горят, — вполнакала. Я слышу сосредоточенную тишину, возникающую тогда, когда затаено дыхание нескольких тысяч человек. Я вижу лица людей, которые в глубоком внимании слушают доклады Ленина и Кржижановского. Чтоб определить социальную принадлежность этих людей, не надо заглядывать в анкеты: о ней говорят их рабочие куртки, крестьянские зипуны, красноармейские шинели, матросские бушлаты.

Эти люди — кровь от крови, плоть от плоти народа. Каждая рана, нанесенная России, оставила рубцы на их собственном теле. Лучше, чем кто бы то ни было, знают они всю меру нужды, голода и разорения, к которым привели страну война и интервенция. Но по движению, пробегающему в зале в ответ на слова ораторов, по живой реакции аудитории, по вспыхивающим время от времени аплодисментам чувствуется, что своим духовным взором они видят преображенную страну, покрытую густой сетью проводов, по которым пробегает животворный и созидательный электрический ток; он освещает города и деревни, приводит в движение поезда, станки, машины, ставит на службу человеку неисчерпаемые силы природы.

Но полно. Не обманывает ли меня память? Не приписываю ли я этим усталым, голодным, измученным людям те чувства, которые испытывали не они, а я и мои друзья, переживающие тогда пору молодости, которая счастлива уже одним тем, что шагает из неизвестного в неведомое?

Чтоб проверить себя, я беру наугад полтора десятка газетных подшивков того времени и читаю отчеты делегатов Восьмого съезда Советов перед их избирателями. Тут Новгород и Васильсурск, Орел и Кинешма, Липецк, Прилуки, Кемерово.

«...Первым докладывает т. Гольдин. Прежде всего он отметил то особенно бодрое, волнуемое, радостное настроение, которое царствовало среди делегатов этого, собравшегося впервые в условиях мирной обстановки съезда...»

«...На конференции представителей всех волостей от сохи выступил товарищ Куликов, который присутст-

вовал на Восьмом съезде Советов и видел воочию товарища Ленина. «Не пересказ будет,— сказал товарищ Куликов,— не вранье, а чистая правда».

«...Пришло много женщин в полушубках и валенках. «Правда ли, что в деревню дадут электричество?» — «Да, правда. Сам Ленин об этом толковал, только не сразу это делается».

«А... А насчет лампочек? Неужто сам Ленин сказал, чтобы у нас в деревне были лампочки? Или все это для бумажки, чтоб пришпилить?» — «Нет, не для бумажки. Ленин так сказал, так оно и будет...»

Во время Восьмого съезда Советов произошел примечательный эпизод. Я знаю о нем со слов моего отца С. И. Гусева, который был членом президиума съезда.

После того заседания, на котором Глеб Максимилианович Кржижановский делал доклад о плане электрификации, Ленин задержал отца, чтоб поговорить с ним и с Анатолием Васильевичем Луначарским о каком-то деле. Когда они стояли и разговаривали, к ним подошел известный меньшевик Николай Николаевич Суханов.

Как всегда налитый до краев иронией, желчью, сарказмом, Суханов, щеголяя своим «знанием подлинной жизни», стал высмеивать план электрификации, аттестуя его блефом, миражем, утопией. Ленин слушал его молча, насупившись. Потом ему надоело, и он коротко обронил:

— Вы рассуждаете как труп. Как живой труп...

Неожиданно для Ленина эти слова подействовали на Суханова, словно удар хлыстом. Он вздрогнул, задергался, вскричал: «Это нечестно» (а может быть: «Это бесчестно») — и бросился прочь.

Ленин, пораженный случившимся, с недоумением посмотрел на Луначарского. Тот нахмурился и что-то негромко ему сказал. Отец не расслышал его слов, только увидел, как краска сбежала с лица Ленина.

— Но я же этого не знал,— сказал Ленин.— Я б никогда не сказал... Мне нужно ему объяснить... Просить прощения...

И кинулся вслед за Сухановым. Луначарский с ним вместе.

Отец мой запомнил этот эпизод, но так и не узнал, что же тогда произошло.

Разгадка этого такая: настоящая фамилия Суханова была не Суханов, а Гиммер. Он был сыном тех мужа и жены Гиммеров, чья трагическая история послужила Льву Толстому материалом для его драмы «Живой труп».

5

Снова Большой театр. Заседает совещание беспартийных крестьян — делегатов Восьмого съезда Советов, созванное Михаилом Ивановичем Калининым по просьбе Ленина. Передние ряды занимает бородатая хозяйствующая деревня.

Все одеты в обычную крестьянскую одежду того времени — армяки, зипуны, полушубки, в темные, как мокрая глина, дерюжные куртки. Лишь немногие обуты в сапоги, на большинстве лапти и онучи, ловко подвязанные оборами впереплет накрест до колена.

Сбоку, совсем неприметно, сидит Ленин. Слушая ораторов, он делает в своем блокноте быстрые, беглые записи. После совещания он прикажет секретарям размножить эти записи и разослать их членам ЦК и наркомам с пометкой: «К осведомлению цекистов и наркомов. Следующие заметки о прениях и заявлениях на беспартийном совещании крестьян составлены Лениным, который просит ознакомиться с ними».

Делая запись, Ленин указывает не фамилию оратора, а губернию, из которой тот приехал. Записи его предельно лаконичны, но в то же время передают своеобразие крестьянских речей; тщательно записывает Ленин крестьянские жалобы и замечания крестьян о советских работниках:

«Более к жизни близко и к сердцу бедных крестьян... Хлеб, железо, уголь — вот что нам нужно. Инвентарь нужен».

«Бывает, что называют лодырем. А нет на деле и сохи и бороны. На бедняка нельзя валить и много взыскивать».

Отметить в законе, что надо поддержать бедняка».

«Заинтересовать надо крестьянина. Иначе не выйдет. Я дрова пилю из-под палки. Но сельское хозяйство из-под палки вести нельзя».

«Мы три года равнялись».

Как заинтересовать? Просто: процентную разверстку хлеба, как на скот...

Лодыря подстегнуть... 10 пудов на семена — посеи и дай, что следует».

«Пусть будет палка, но для нашего содействия. Чтобы старательный жал на нестарательного».

«Перехозяйствовали банды весь транспорт. Разруха. Надо строить государственную жизнь».

«Хлеб собирали под метлу. Ничего не осталось. Скотоводам надо помочь. Хозяйство разрушено войной. Пропаганда нужна».

«Была производящей губернией. Теперь потребляющая. Лишь бы обсемениться. Пострадали от контрреволюции».

«Разверстка: у нас такой *нажим* был, что револьверы к вискам приставляли. Народ возмущен...»

«Скот берут чрезмерно. Берут помольные сборы. Берут за дезертира. Непосильные сборы уменьшить».

Точной, краткой пометкой Ленин передает настроение аудитории.

Крестьянин говорит, повторяя слова самого Ленина, сказанные Лениным на съезде: «Принуждение необходимо обязательно».

Приведя эти слова крестьянина, Ленин делает пометку:

«Крики: довольно. (NB)».

Крестьянин говорит: «Кулачество (как и дезертирство) *есть*».

Ленин подчеркивает слово «есть» и отмечает: «Гром аплодисментов».

А на следующий день после крестьянского совещания, выступая на съезде Советов с заключительным словом по докладу ВЦИК и СНК, Ленин говорит:

— Я вчера имел удовольствие присутствовать... на небольшом частном совещании беспартийных делегатов нашего съезда — крестьян и вынес чрезвычайно много из их дебатов по самым больным вопросам деревенской жизни, по вопросам продовольствия, разорения, нужды, которые вы все знаете.

Беспартийные же делегаты съезда, как, например, новгородский крестьянин Поспелов, вернувшись домой, рассказывали землякам, как Ленин присутствовал на заседании их беспартийной фракции и внимательно прислушивался к словам ораторов.

— А мы тоже отнесли к товарищу Ленину с открытым разговором,— сказал Пospelов.

Десять лет спустя, в сентябре 1930 года, Надежда Константиновна Крупская в письме к Михаилу Степановичу Ольминскому вспоминала, как много дала Владимиру Ильичу встреча с беспартийными крестьянами — делегатами Восьмого съезда Советов.

«Сила Ильича,— писала Надежда Константиновна,— была именно в том, что он умел слышать голос жизни в ничего не значащих словах людей с мест, умел, как бы это выразиться, прикладывать ухо к земле... Перед нэпом Ильич попросил Калинина собрать беспартийных крестьян... просил их ответить на ряд вопросов и внимательно прослушал их выступления. После этого собрания он много решительнее стал высказываться за нэп. Что же, какой отсюда вывод?.. Что Ильич умел слушать и беспартийных, мелкособственнически настроенных и слышать то, чего не слышали другие, умел из их разговоров делать свои выводы».

6

На своем заключительном заседании Восьмой съезд Советов принял обращение ко всем трудящимся России.

Поздравив трудящихся Республики с великой победой, одержанной над врагами, съезд счел своим долгом воздать благодарность всем, кто своим потом и кровью, тяжелым трудом и терпением, мужеством и самопожертвованием способствовал победе общего дела.

Было что-то напоминавшее Смольный в великие дни Октября в том большом и чистом чувстве, которое охватило всех, слушавших это обращение. Повинуясь глубокому внутреннему порыву, делегаты встали и слушали его стоя.

«Трудящиеся России! Этими тремя годами величайших лишений, кровавых жертв вы завоевали себе право приступить к мирному труду. Отдадим же этому труду все силы... Еще год, и, если мы напряжем наши силы, мы не будем мерзнуть в неосвещенных домах. Еще два-три года, и мы восстановим железные дороги и пустим в ход все заводы страны. Еще три-четыре года, и в Республике не будет раздетых и разутых. Еще

пять лет, и мы окончательно залечим раны, нанесенные войной нашему хозяйству.

К труду же, рабоче-крестьянская Россия!»

Я стояла в эти минуты неподалеку от Ленина. Я видела его лицо.

Кто это придумал, что Ленин будто бы был спокойным, всегда спокойным, каким бы трагизмом, торжеством, величием ни был исполнен момент, о котором идет речь?

Да ничего подобного! Не был он спокойным, не мог быть спокойным, никогда не бывал спокойным.

Недаром же Надежда Константиновна, которая знала его лучше всех на свете, говорила, что он очень остро на все реагировал, был очень впечатлителен, очень эмоционален, а когда волновался — сильно бледнел.

Сейчас он стоял бледный, весь в напряжении, стиснув кулаки, закусив нижнюю губу. Взволнованный, наверное, больше, чем кто бы то ни было в этом зале...

7

Только вчера в зале Большого театра звучали слова торжественного обращения Восьмого съезда Советов: «К труду же, рабоче-крестьянская Россия!»

Сегодня, тридцатого декабря двадцатого года, здесь звучали иные речи — речи дискуссии о роли и задачах профессиональных союзов в социалистическом строительстве, главным застрельщиком которой был Троцкий.

На протяжении почти трех лет, прошедших со времени споров о Брестском мире, Троцкий в основных вопросах внутренней и внешней политики поддерживал линию Ленина. Бывали, конечно, между ними споры и расхождения, но они находились в тех естественных пределах, которые существуют в совместной работе.

Но поздней осенью двадцатого года между Троцким и Лениным пролегла трещина, которая по вине и по воле Троцкого стала становиться все глубже и глубже.

Началось это в первые дни ноября. Троцкий был тогда народным комиссаром путей сообщения.

Придя на железнодорожный транспорт, он застал там существовавший еще с девятнадцатого года Главный политический отдел — Главполитпуть, преобразо-

ванный затем в так называемый Цектран. Созданный как временный политический орган для проведения чрезвычайных мер, которые спасли бы транспорт от разрухи и полного развала, Главполитпуть ввел на железных дорогах военную дисциплину и всецело подчинил их задачам военного времени.

В тех исключительных обстоятельствах такие чрезвычайные меры были необходимы. Но, как и сами исключительные обстоятельства, они были бедой. Троцкий возвел эту беду в достоинство и даже в общий закон. В его глазах и в глазах его сторонников обычные демократические формы работы профсоюзов выглядели как кустарничество, комитетчина, бессистемность и безвластие, с которыми необходимо покончить, и чем скорее, тем лучше, и поставить во главе всей работы политических комиссаров с соответствующими полномочиями.

А профсоюзы?

«Власть комитетов, профсоюзов, выборных делегатов по отношению к вмешательству в технические и административные вопросы аннулируется».

Такова была практика, запечатленная в одном из приказов, изданных по Главполитводу — сектору Главполитпути. Обобщением же этой практики было выступление Троцкого на V Всероссийской конференции профсоюзов, в котором он бросил «крылатое», по выражению Ленина, словечко о «перетряхивании» профсоюзов и призвал «завинтить гайки» военного коммунизма.

Выступление Троцкого вызвало резкий отпор со стороны значительной части профсоюзников. Вопрос перешел в Центральный Комитет партии. Там он породил острейшие прения. В итоге тезисы Троцкого были отклонены. Десятью голосами против четырех была принята резолюция Ленина. В ней подчеркивалось, что время специфических методов управления начинает проходить и что необходима самая энергичная и планомерная борьба с вырождением централизма и милитаризованных форм работы в бюрократизм, в самодурство, казенщину. В ответ на это Троцкий отказался работать в созданной ЦК комиссии по профсоюзам, членом которой он был избран.

Именно этот поступок, ведущий к фракционности, Ленин прежде всего ставил в вину Троцкому.

«Без этого шага,— писал он,— ошибка т. Троцкого (предложение неправильных тезисов) — самая неболь-

шая, такая, которую случалось делать всем цекистам без всякого изъятия». «Если Цектран сделал ошибку, — каждому случается увлечься, — надо было ее исправлять. Но когда эту ошибку начинают защищать, то это делается источником политической опасности».

Уже невхождение в комиссию, созданную ЦК, было со стороны Троцкого срывом партийной дисциплины. Но на этом он не остановился. Все более и более оформляясь в особую фракцию, он и его сторонники перешли от теоретических рассуждений к прямым фракционным действиям.

Положение усугубилось тем, что многие члены ЦК партии заняли в дискуссии неустойчивую, колеблющуюся позицию. Ленин не раз оставался в меньшинстве. На пленумах ЦК (Ленин назвал их потом «печальными пленумами») голоса делились на «семерки» и «восьмерки». Бухарин создал «буферную группу» якобы для примирения Ленина и Троцкого, на деле же целиком поддерживающую Троцкого, что дало Ленину повод высмеять этот буфер, который, по его словам, следовало бы изобразить так: перед пылающим огнем стоит человек с ведром керосина, на котором написано: «Буферный керосин», и подливает этот керосин в огонь.

В итоге, как говорил Ленин, «получилась в Центральном Комитете каша и кутерьма; это в первый раз в истории нашей партии во время революции, и это опасно».

Самое опасное в фракционной борьбе то, что фракционные интересы становятся для ее участников выше всего. Так было и на этот раз.

Двадцать пятого декабря сторонники Троцкого распространили среди делегатов Восьмого съезда Советов написанную Троцким «брошюру-платформу» о задачах профсоюзов, а тридцатого декабря по их требованию было созвано соединенное заседание коммунистов — делегатов съезда и членов Всероссийского и Московского советов профессиональных союзов.

Дискуссия вышла за рамки Центрального Комитета.

8

И вот на широкое обсуждение вынесены вопросы, от правильного или неправильного решения которых зависит, будут или же не будут найдены правильные

методы подхода к массе, овладения массой, связи с массой. А следовательно, будут ли претворены в жизнь те великие идеи, которые были провозглашены накануне в обращении Восьмого съезда Советов ко всем трудящимся России.

Электричество горело вполнакала. Только помост, на котором стоял стол президиума, был ярко освещен лампочками, горевшими снизу. У самого края помоста — кафедра. Рядом с кафедрой стоит Троцкий.

Он стоит очень прямо и в то же время очень свободно. На нем френч защитного цвета, сапоги. Густые, начинающие седесть волосы откинута назад, левая рука опущена, правую он положил на край кафедры.

Заседают коммунисты — делегаты Восьмого съезда Советов и члены Всероссийского и Московского советов профессиональных союзов.

— Мы собрались, чтобы обсудить вопрос о роли и задачах профессиональных союзов,— негромко говорит Троцкий. Так негромко, что многие прикладывают ладонь к уху, чтоб лучше слышать.

Троцкий резко меняется, протягивает к залу обе руки, сильным голосом рассекает тишину:

— Товарищи делегаты съезда! Товарищи рабочие! Товарищи работники партии, советов, профессиональных организаций!

Этот голос, этот жест великолепны. Троцкий вообще великолепный оратор, непохожий ни на одного другого. Оно и понятно: ораторский талант, присущий ему от рождения, он отшлифовал, обучаясь в Париже в школе ораторского искусства.

— Профсоюзы,— говорит он,— переживают кризис... И чтоб преодолеть этот кризис, надо покончить с тем, что профессиональные союзы в нашем рабочем государстве, как и в капиталистическом государстве, видят свою задачу в защите интересов рабочих. Пора покончить с тем, что профессиональные союзы существуют отдельно от государственных органов. Их нужно слить воедино, произведя сращивание профсоюзов и государственного аппарата, огосударствить профсоюзы, превратить их в аппарат рабочего государства, управляющий производством...

Сейчас от размеренного спокойствия, которым Троцкий начал свою речь, не осталось и следа. Голос его то понижается до шепота, то бьет, как тяжелый молот. И каждый такой переход сопровождается точ-

ным, выверенным жестом. Только одно не дается ему: шипящие звуки. Они у него слишком резки, слишком шипят. Парижский профессор дикции бился два года, но так и не смог устранить этот недостаток.

Зал слушает Троцкого не шелохнувшись. Когда он кончает, одна часть его провожает Троцкого аплодисментами и восторженными возгласами, другая застывает в невеселом молчании.

Которая из них больше? Сейчас это еще неясно.

Внешне в концепции Троцкого все словно бы подчинено той цели, во имя которой готов отдать жизнь каждый присутствующий: построению социализма. Но как холоден, чужд, не мил сердцу этот военно-административный социализм, в котором действуют не люди, а покорные множества: «Die erste Kolonne marschiert... Die zweite Kolonne marschiert...» — «Первая колонна выступает... Вторая колонна выступает...» Социализм, лишенный того, что Н. К. Крупская так прекрасно назвала тайной одухотворения, очеловечения жизни масс, при котором жизнь очищается, осмысливается, преобразуется благодаря таланту, энергии, высоким идеалам тех, кто ее творит...

Троцкий покидает трибуну и пересекает сцену, чтобы пройти за стол президиума. В это время — уже около полуночи — появляется сильно опоздавший к началу собрания Ленин.

Наклонившись к кому-то, сидящему с краю, Ленин, видимо, расспрашивает о том, что было на собрании до его прихода. Потом поднимает голову. Пристально смотрит на приближающегося к нему Троцкого.

Ленин попросил слова.

— Товарищи,— сказал он,— я должен прежде всего извиниться, что я нарушаю порядок, ибо для участия в прениях, конечно, следовало слушать доклад, содоклад и прения. К сожалению, я чувствую себя настолько нездоровым, что не в состоянии выполнить этого...

И сразу приступил к существу дела.

— Основным моим материалом является брошюра т. Троцкого «О роли и задачах профсоюзов»... Я удив-

ляюсь, какое количество теоретических ошибок и вопиющих неправомерностей сконцентрировано в ней.

Незадолго перед тем, как Ленин начал говорить, на мгновение погас свет, потом он загорелся, но не везде — сцена утонула в полумраке, и фигура Ленина была теперь освещена светом одних лишь нижних ламп слева.

Сначала Ленин говорил с трудом, голос его звучал глуховато, руки неподвижно покоились на кафедре. Чувствовалось, что он устал, нездоров. Но по мере того, как он говорил, усталость, видимо, отступала — и, все более увлеченный, он становился таким, каким всегда был на кафедре: весь в своей речи, в ее содержании, в ее мыслях.

Сохранился набросанный Лениным конспект этой речи. Видимо, те самые листки, которые он держал, когда подходил к кафедре. Он положил их на пюпитр и ни разу в них не заглянул, а уходя, небрежно сунул в карман.

Если сопоставить этот конспект с той речью, которая была произнесена Лениным, нельзя не поразиться тому, как он сумел, ни разу не посмотрев в конспект, столь точно следовать намеченному в нем плану и в то же время в процессе самой речи найти столь много новых образов, сравнений, характеристик.

И в конспекте, и в речи говорится, что профсоюзы — это почти поголовная организация индустриального пролетариата, притом организация своеобразная. С одной стороны, это организация правящего, господствующего, правительствующего класса, но не организация принуждения, не государственная организация, с другой стороны, это организация воспитания, вовлечения, обучения, школа управления, школа хозяйничанья, *школа коммунизма*.

Но образ «ряда зубчатых колес», «сложной системы нескольких зубчатых колес», «приводов» от авангарда к массе передового класса, от него к массе трудящихся, без которых нельзя осуществлять диктатуру пролетариата в крестьянской стране, — этот образ родился уже во время речи.

И точно так же в процессе речи, быть может, под влиянием ответного движения, которое возникло в это время в зале, имеющаяся в конспекте краткая запись:

«Союзы в «рабочем государстве»? А в рабочем государстве с бюрократическими извращениями?

Есть от кого защищаться!

а в рабоче-крестьянском государстве?»

Эта краткая запись вырастает в речи в следующую развернутую характеристику:

«У него (Троцкого.— Е. Д.) выходит, что защита материальных и духовных интересов рабочего класса не есть роль профсоюзов в рабочем государстве. Это ошибка. Тов. Троцкий говорит о «рабочем государстве». Позвольте, это абстракция. Когда мы в 1917 году писали о рабочем государстве, то это было понятно; но теперь, когда нам говорят: «Зачем защищать, от кого защищать рабочий класс, так как буржуазии нет, так как государство рабочее», то тут делают явную ошибку. Не совсем рабочее, в том-то и штука... У нас государство на деле не рабочее, а рабоче-крестьянское — это во-первых. А из этого очень многое вытекает (Бухарин: Какое? Рабоче-крестьянское?). И хотя т. Бухарин сзади кричит: «Какое? Рабоче-крестьянское?», но на это я отвечать ему не стану. А кто желает, пусть припомнит только что закончившийся съезд Советов, и в этом уже будет ответ.

Но мало этого. Из нашей партийной программы видно... что государство у нас рабочее с бюрократическим извращением. И мы этот печальный,— как бы это сказать? — ярлык, что ли, должны были на него навесить. Вот вам реальность перехода».

А отсюда вывод: при такого рода практически сложившемся государстве рассуждения, что профсоюзам нечего защищать, что в заботе о материальных и духовных интересах пролетариата без них можно обойтись,— эти рассуждения теоретически неверны и переносят нас в область абстракции или идеала, которого мы достигнем через пятнадцать — двадцать лет.

Ленин делает короткую паузу и добавляет:

— Но я и в этом не уверен, что достигнем в такой именно срок.

Примечательно непрерывно повторяющееся в речи Ленина столкновение и соединение понятий «практически» и «теоретически».

Десятки раз, то так, то этак, он повторяет: «перед нами же действительность», «вот вам реальность», «таковы практические выводы», «изучи *практический опыт*», «переходный период в переходном периоде». И так же десятки раз, то обрушиваясь на идейную путаницу, словесные выкрутасы, теоретическую фальшь, то подчеркивая важность правильной теоретически постановки вопроса,— Ленин показывает неразрывное единство теории и практики. А также практики и теории.

И совсем как тот стакан, обыкновенный стеклянный стакан, который, когда Ленин взял его в руки, чтобы показать сущность диалектики, волшебным образом заиграл сверкающими гранями связей и опосредствований, так частный вопрос о роли, месте, задачах профсоюзов, благодаря свету мысли, которым озарил его Ленин, вырастает в общий вопрос о методах и формах осуществления пролетарской диктатуры в крестьянской стране.

Такова была девятая речь Ленина, произнесенная им за последние девять дней двадцатого года.

9

Так, вопреки предостережениям Ленина, спор о роли профсоюзов вышел все же за рамки Центрального Комитета партии.

Такого не было никогда — ни до, ни после. Волна, шквал, цунами, дискуссии. Рождающиеся чуть ли не каждый день «платформы» и «платформочки». Утопающие в облаках табачного дыма собрания. И споры, споры, чуть ли не с утра до вечера и с вечера до утра.

В бурном процессе «тезисотворчества» за каких-нибудь две недели на свет появилось не менее восьми «платформ» («тезисы» тож) со всяческими нюансами, оттенками, оттеночками, в которых сам черт мог сломить ногу — и неискушенные в таких тонкостях товарищи должны были тратить время и ломать в этой «чехарде платформ» головы, чтоб хотя бы отличить одну «платформу» от других. Хотя многие из этих «платформ» ни на одном собрании не получали ни одного

голоса, они упорно выдвигались и защищались их авторами.

Потом произошел как бы естественный отбор — и все оппозиционные группы стянулись к двум полюсам: на одном Троцкий с «перетряхиванием» и «сращиванием», на другом — «рабочая оппозиция» с анархосиндикалистской идеей: «управление народным хозяйством должно принадлежать самим производителям».

И против всего этого фронта «платформ» и «платформочек» — Ленин. И с ним — все более и более явное большинство партии.

В мою задачу не входит изложение истории внутрипартийных разногласий и анализ их существа. Это — дело историков партии. Моя задача в ином: в воссоздании человеческих характеров, в воскрешении атмосферы эпохи.

Поэтому я позволю себе вспомнить одно из любопытных свидетельств того времени — стихотворение Демьяна Бедного «С болота на грунт», опубликованное тогда в газетах и читавшееся на партийных собраниях под дружный хохот присутствующих:

Чего только нет на большевистской грядке?
Пишу стихи — в «дискуссионном порядке».
Со мной приключилась такая история:
После «дискуссий» Зиновьева Григория
И Троцкого Льва
У меня так замутилась голова,
Что не дошла до полного просветления
Даже после ленинского выступления.
И это — не со мной одним.
Товарищ Томский — я встретился с ним —
Сам председатель Ве-це-эс-пе-эса,
Уже не смыслит, видать, ни бельмеса,
Как «срассить» разногласья такие:
«Путаю концы, брат, в биллиардном кие,
Не отличаю правой от левой лузы,
Как шары, в голове смешались профсоюзы!»
Дискуссии наши — пока лишь цветочки,
Досель различал я какие-то точки,
Но, попавши намедни на новые прения,
Перепутал я все точки зрения.
Правда, беда приключилась эта
И с председателем Московского Совета:
Товарищ Каменев стал говорить,
Пытаясь всех примирить,
Примирял замечательно —
И заблудился в трех точках окончательно.

Тут откуда ни возьмись товарищ Сосновский...
Скосивши глазок на комитет Московский
И изобразивши большого забияку,
Полез он на Зиновьева в драку
(благо Зиновьев оказался в отлучке!):

«Укажите место безответственной кучке!
Пусть нас за нос не водят петроградцы!
Не сдавайтесь, братцы!»

Услышав такую приятную фразу,
Обрел я не точку, а линию сразу.
Решил держаться старого правила:
Раз меня сметка оставила,
Раз дорога дает разветвление,
Нюхом испытанным брать направление —
Засучив рукава, спокойно иди,
Особливо, когда... Ильич впереди!

10

В субботу первого января Ленин уехал в Горки. Считалось, что он по случаю нездоровья находится в отпуске, на отдыхе.

Однако, как видно из хроники жизни и деятельности Ленина, составленной работавшей в его секретариате Марией Игнатьевной Гляссер, этот «отдых» выглядел так:

Воскресенье, 2 января. Горки. Просмотрел и направил управляющему делами Совнаркома Н. П. Горбунову письмо шведского Красного Креста по поводу академика И. П. Павлова, поручив снести с наркомом здравоохранения...

Понедельник, 3 января. Кремль. Приехал из Горок в 12 часов 20 минут.

Написал письмо... Просмотрел и направил... Поручил... Подписал...

Вторник, 4 января. Москва, Кремль. От одиннадцати утра до четырех дня председательствовал на заседании Пленума ЦК партии. Просмотрел и дал поручения по восьми документам. Подписал протокол Малого Совнаркома. С шести вечера председательствовал на заседании Совета Труда и Обороны. В девять вечера уехал в Горки.

Среда, 5 января, Горки...

Впрочем, не будем продолжать: изо дня в день одна и та же картина, одна и та же напряженнейшая работа — находится ли Владимир Ильич в Горках, выезжает ли он в Москву.

Но и этого мало: за время своего пребывания в Горках Ленин сверх всего прочего написал статью «Кризис партии» и основную часть брошюры «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках гг. Троцкого и Бухарина».

Только против одного дня этого трехнедельного «отдыха» Ленина в записях секретарей нет пометок о его работе: против воскресенья шестнадцатого января.

Видимо, именно этот день мой отец по просьбе Надежды Константиновны провел в Горках: она знала, что Владимир Ильич очень любил слушать его пение, и хотела таким, как она выразилась, «форсмажорным» способом заставить Владимира Ильича хотя бы один день не работать.

Отправился отец туда еще в субботу после обеда вместе с Николаем Васильевичем Крыленко. Приехали уже вечером. Владимир Ильич стал их о чем-то расспрашивать, но они заявили: «О делах ни слова». Владимир Ильич засмеялся: «Попробуем».

Уговор был выдержан, но, видимо, только насчет слов, а не мыслей. Потому что, когда Владимир Ильич уселся с Крыленко за шахматы, в самый разгар игры он обмолвился и вместо шаха королеве объявил: «Шах Коллонтай».

(Александра Михайловна Коллонтай была одним из лидеров «рабочей оппозиции»).

В тот вечер отец много пел. А утром, еще затемно, они отправились втроем на охоту.

Охотничье счастье им не улыбнулось, дичи было мало, да и стреляли они плохо, больше мазали. Только Крыленко подстрелил пару зайчишек.

Возвращались напрямиком через лес. Шли и пели «Смело, товарищи, в ногу...».

11

Двадцать второго января Ленин вернулся в Москву, и, как пишет М. И. Гляссер, «с этого времени начинается снова «бешеный» темп его работы: приемы, выступления, заседания, ежедневные комиссии и т. д.».

Некоторое улучшение с поступлением продовольствия и топлива в конце двадцатого года сменилось новым ухудшением. «...У нас продовольственный кризис отчаянный и прямо опасный»,— восклицает Ленин в конце февраля в письме к украинским товарищам.

Где же искать выход? На старых путях? Еще круче заворачивать гайки военного коммунизма?

Нет!

Ленину ясно, что вырваться из этого положения, говоря словами Дзержинского, нельзя «без хирургии, без смелости, без молнии...».

К необходимости крутого поворота подводило все, услышанное на Восьмом съезде Советов. О нем говорили и сообщения с мест, и беседы с крестьянами, и письма коммунистов, болевших за дело партии и народа и делившихся с Лениным своими сомнениями и тревогами.

Перед Лениным сидел член Сибирского ревкома В. Н. Соколов, который предлагал теперь же, еще до посева, объявить, что на Сибирь устанавливается разверстка в сто миллионов пудов, а весь хлеб, который крестьяне соберут сверх этого, останется в их полном распоряжении.

— Вы полагаете, что тут можно ограничиться Сибирью? — быстро спросил его Ленин.

— Нет, Владимир Ильич,— отвечал Соколов.— Сибирь — начало, подход, опыт...

— Вы думаете, если объявить заранее, будут сеять больше?

— Несомненно будут, Владимир Ильич. Хозяйственный инстинкт...

Крестьяне-коммунисты из Бакурской волости Сердобского уезда Саратовской губернии писали Ленину, что, по их мнению, Советская власть, чтобы выйти из хозяйственной разрухи, должна опираться на крестьянство, «как на костыль».

«Это совершенно верно,— отвечал им Ленин.— Об этом сказано в нашей партийной программе и в постановлении партийных съездов».

Об этом говорят и решения последнего съезда Советов.

Во время заседания Политбюро шестнадцатого февраля Ленин получил записку от секретаря ЦК Н. Н. Крестинского, участвовавшего в этом заседании. Крестинский писал Ленину, что в «Правду» поступила статья о преимуществах продналога перед подраз-

версткой, авторами которой являются московский губ-продкомиссар П. Сорокин и заведующий московским губземотделом М. Рогов. Член редколлегии Н. Л. Мещеряков сомневается в необходимости срочной публикации этой статьи. Он, Крестинский, в основном согласен с Мещеряковым.

«Я статьи не видал,— ответил запиской Ленин,— но, полагаясь на Каменева (что *вредного* он не рекомендовал бы), подаю голос за то, чтобы *печатать завтра*». И предложил: статью опубликовать, как статью частных литераторов, а не как должностных лиц, сделав при этом оговорку, что статья дискуссионная.

На это Крестинский написал Ленину:

«Сталин считает стратегически невыгодным, чтобы канву для неизбежной дискуссии дали не мы; поэтому он за то, чтобы этой статьи не печатать без предварительного просмотра ее нами».

Судя по тому, что на этом же заседании Политбюро было вынесено решение, что статья П. Сорокина и М. Рогова может быть напечатана, Ленин не согласился с мнением Крестинского и Сталина.

В этой статье, появившейся на следующий день в «Правде», называвшейся «Разверстка или налог», П. Сорокин и М. Рогов, подвергнув критике систему разверстки, указывали на необходимость «найти такие формы, при которых наша продовольственная работа в деревне не убивала бы в производителе желание увеличить и развить свое производство». Такой формой они считали налоговую систему на все виды продовольствия, сырья и фуража.

Коммунист Д. И. Гразкин, который побывал в Вологодской губернии, прислал М. И. Калинин и Н. Н. Крестинскому большое письмо. В нем он рассказывал о тяжелом положении сельского хозяйства и предлагал установить «процентную норму» взимания продуктов. Крестинский передал это письмо Ленину, и дня через два Ленин пригласил Д. И. Гразкина к себе.

— Вы в письме предлагаете заранее установить норму взимания продуктов с крестьянского хозяйства,— сказал Ленин.— А куда крестьяне будут девать излишки? Продавать? Значит, нужна торговля?

И он вызвал члена президиума ВСНХ Владимира Павловича Милютина. Осторожно, очень осторожно расспросил, как тот относится к допущению «местного рынка».

мости изменения экономической политики по отношению к деревне.

Обсуждение этого вопроса на Политбюро протекало бурно. «Началось заседание...— рассказывает в своих воспоминаниях Александр Дмитриевич Цюрупа, который был тогда народным комиссаром продовольствия.— Владимир Ильич ругал нас бюрократами, распекал нас. Говорил: «Вы ошибаетесь; то, что раньше было правильным, теперь уже не подходит!» Оказалось, что я был не прав... Владимир Ильич выступал три раза, я тоже... Однако эта перебранка совершенно не повлияла на наши отношения. Итак, Политбюро решило отменить продразверстку и перейти к продналогу... Владимир Ильич заходил к нам на квартиру и по $1/2$ — 2 часа просиживал с нами, доказывая необходимость введения продналога. Я говорил: «Владимир Ильич, я не буду делать доклада, а выступлю лишь содокладчиком к Вашему докладу». Он сказал: «А все-таки между прочим скажите, что Вы за свободу торговли».

Решение Пленума ЦК РКП(б) о переходе от разверстки к налогу было принято двадцать четвертого февраля и должно было быть утверждено партийным съездом, назначенным на начало марта.

12

Трудность положения в стране в десятки, в сотни раз усугублялась положением в партии.

«Надо иметь мужество смотреть прямо в лицо горькой истине,— писал Ленин в статье «Кризис партии», за три дня до своего возвращения из Горок в Москву.— Партия больна. Партию треплет лихорадка».

Несмотря на то что уже со всей очевидностью выявилась победа ленинской точки зрения, поддержанной основной массой членов партии, все оппозиционные группы продолжали свою активнейшую деятельность, размножали все новые и новые «тезисы», рассылали по всей стране докладчиков, стараясь как можно сильнее разжечь огонь дискуссии.

Еще девятнадцатого января Ленин предупреждал, что болезнью нашей партии, несомненно, постараются воспользоваться и капиталисты Антанты для нового

нашествия, и эсеры для устройства заговоров и восстаний.

Говоря это, он тут же выражал глубокое убеждение, что нам это не страшно, «ибо мы сплосимся все, как один, не боясь признать болезни, но сознавая, что она требует от всех большей дисциплины, большей выдержки, большей твердости на всяком посту. Партия не ослабнет, а окрепнет к мартовскому X съезду РКП и после него».

Прошло всего полтора месяца — и гром кронштадтских пушек подтвердил правильность обоих прогнозов Ленина.

13

Еще в конце января из Петрограда стали поступать тревожные сообщения: с хлебом и топливом очень плохо. Часть заводов, видимо, придется закрыть. Рабочие сильно возбуждены отсутствием хлеба и закрытием заводов. Возбуждение подогревают вынырнувшие из подполья эсеры и меньшевики.

Ленин поставил вопрос о Петрограде на Совете Труда и Обороне. Решено было закупить за границей восемнадцать с половиной миллионов пудов угля и принять героические меры, чтобы довести до максимума погрузку и отправку хлеба пролетарским центрам из Сибири и с Кавказа. В течение месяца Ленин буквально бомбардировал сибирских и кавказских работников телеграммами, требуя сделать все возможное, дабы ускорить отправку хлебных эшелонов. В конце февраля Совет Труда и Обороне принял внесенное Лениным предложение ассигновать на покупку за границей хлеба и предметов первой необходимости до десяти миллионов рублей золотом и немедленно же послать туда закупочную комиссию.

Как ни энергичны были эти решения, на то, чтобы хлеб и уголь дошли до Петрограда, требовалось время, и к тому же немалое. Между тем на некоторых петроградских заводах началось то, что тогда же было прозвано метким словом «волынка». Это была своеобразная форма ничегонеделания: рабочие не бастовали, но и не

работали. Они приходили на заводы, целыми днями митинговали. Ораторов, прямо призывавших к свержению Советской власти, гнали с трибуны, но и коммунистам зачастую не давали открыть рта.

В шумной, бурлящей толпе то на одном, то на другом заводе появлялись меньшевистские и эсеровские лидеры — нелегально приехавший в Петроград видный меньшевик Дан и эмиссары правозэсеровского центра. Распространялась составленная Даном листовка, обращенная к «Голодающим и зябнущим питерским рабочим». В ней говорилось, что дело не в отдельных заминках и перебоях, а в «крахе коммунистического эксперимента». Штопаньем и заплаточками ничего не исправишь. Рабочие и крестьяне не должны больше жить по большевистской указке. Пусть они требуют освобождения всех арестованных социалистов, свободы слова, печати и собраний, пусть будут немедленно произведены полные перевыборы Советов, завкомов и профсоюзов. Эсеровская листовка, повторяя меньшевистскую, требовала также созыва Учредительного собрания.

Оживились и открыто черносотенные элементы: по ночам на стенах домов и заборах расклеивались прокламации, подписанные «истинно-русскими людьми» и какой-то партией «Лови момент», а также обычные в таких случаях лозунги: «Долой комиссародержавие!» и «Бей жидов, спасай Россию!»

Призывы и требования в том виде, в каком их вносили посланцы антисоветского подполья, не были приняты нигде. Но то, что говорилось в распространявшихся по городу листовках о холоде и голоде, нашло отклик. В Питере действительно было люто и голодно, люто и холодно.

Когда все это заварилось, в Петроград по предложению Ленина поехал Михаил Иванович Калинин, который, как никто, умел разговаривать с рабочими.

Михаил Иванович знал в Питере каждый дом, каждый завод и чуть ли не каждого коренного питерского рабочего. А уж его-то каждый рабочий знал наверняка. И самым горьким из всего, что выпало ему на долю в этот приезд в Питер, — а горького выпало немало, — было, пожалуй, то, что когда он пришел на «волыннив-

шие» заводы, он увидел вокруг себя чужие, незнакомые лица.

Рассказывая потом об этих днях, Михаил Иванович не скрывал, как сильно разбередило ему сердце то, что Питер опустел,— как он выражался, оголел,— потерял самое дорогое, что у него было: цвет своего пролетариата. Вспоминая об этом, Михаил Иванович горестно вздыхал, снимал очки, доставал носовой платок, протирал очки, снова начинал говорить, не разъясняя того, что слушавшие знали и так: что в годы гражданской войны петроградские пролетарии на всех фронтах, по всей стране трудом, кровью, ценой жизни завоевали победу революции.

Петроградские пролетарии и кронштадтские матросы...

К концу февраля напряженность положения в Петрограде несколько ослабела: большую роль тут сыграла работа коммунистов и приезд Калинина. Имело значение и появившееся в газетах сообщение, что продовольственная разверстка будет заменена натуральным налогом. Но вечером двадцать восьмого февраля стало известно, что на стоящем на кронштадтском рейде линкоре «Петропавловск» чуть ли не двое суток подряд идет непрерывный митинг, на котором принята враждебная Советской власти резолюция.

Два дня спустя в кабинете Ленина раздался телефонный звонок. Звонивший в крайнем волнении сообщил о последних событиях в Кронштадте: на Якорной площади состоялся митинг «беспартийных моряков»; на нем принята резолюция, предложенная писарем с «Петропавловска» Петриченко. Приехавшего в Кронштадт Калинина встретили дружелюбно, но слушать не захотели. Кронштадт отказался признавать Советское правительство; образован мятежный «временный революционный комитет»; большую роль в событиях играет бывший царский генерал Козловский, который, по всей видимости, является одной из главных фигур заговора; в городе Кронштадте и крепости происходят аресты коммунистов.

Третьего марта газеты вышли с напечатанным на первых полосах правительственным сообщением о новом белогвардейском заговоре и мятеже, поднятом в Кронштадте, а несколько часов спустя по улицам Москвы по направлению к Николаевскому вокзалу уже

шагали отряды коммунистов, отправлявшиеся под Кронштадт.

С одним из этих отрядов шагала и я. Позволю себе поэтому сделать довольно большое отступление, чтобы рассказать о событиях тех дней, как они запомнились мне, рядовому участнику подавления Кронштадтского мятежа.



**НА
КРОНШТАДТСКОМ
ЛЬДУ**

Помню, накануне мы допоздна просидели над книгой Артура Арну о Парижской коммуне, готовясь к завтрашнему дню: восемнадцатого марта исполнялось пятьдесят лет со дня провозглашения Коммуны и Иван Иванович Скворцов-Степанов проводил в Свердловском университете, в лекторской группе которого я тогда училась, несколько семинаров по Коммуне, занимаясь с нами не только как со студентами, но и как с агитаторами, ибо мы должны были выступать с докладами во время торжественного празднования пятидесятилетия.

Хлеба утром нам не выдали, и мы отправились на семинар, попив голого кипяточку. Иван Иванович пришел с набитым книгами портфелем, разложил книги перед собой и начал говорить. Предыдущие занятия были посвящены деятельности Коммуны, на этом занятии речь шла о начале ее борьбы с версальцами. И вот как раз в ту минуту, когда Иван Иванович говорил о том, какой ошибкой со стороны Коммуны было то, что, проявив великодушие по отношению к своим врагам, она позволила буржуазии покинуть Париж и создать в Версале контрреволюционное правительство, в коридоре послышался шумный топот, дверь аудитории распахнулась и вбежал кто-то из наших студентов, размахивая газетой и крича: «Товарищи! Правительственное сообщение! В Кронштадте мятеж!»

Занятия семинара были, конечно, смяты. По рукам пошел вырванный из тетради листок, на котором записывались добровольцы, желавшие ехать под Кронштадт. Появился секретарь партийной ячейки университета. Ему уже звонил секретарь Краснопресненского райкома партии Беленький, которого вся Москва звала уменьшительным именем Гриша. Гриша Беленький сказал, что первая партия добровольцев отправляется через два часа. Мужчин брать всех, а женщин — только тех, кто могут быть сестрами или санитарками.

Потом все было, как всегда в таких случаях: из-под матрацев извлекалось нехитрое имущество; кто укладывался, кто делил полученные в каптерке хлеб и сахар; кто писал письма; кто, забыв обо всем на свете, «доспоривал» оставшиеся невыясненными положения изучавшегося тогда нами «Капитала». Как ни коротко было отпущенное на сборы время, но сами сборы оказались еще короче, так что мы успели и посмеяться, и погрустить, и спеть «Варшавянку».

Потом, закинув за спины тощие вещевые мешки, мы шагали по коричневой снежной жиже через всю Москву, стараясь как можно более четко отбивать шаг и держаться так, что все, мол, нам нипочем. Но на душе скребло: мы ехали под Кронштадт, гордость революции Кронштадт, славу революции Кронштадт, и в мятеже участвовали не только царские генералы и офицеры, но и кронштадтские матросы — матросы, матросы, матросы, разворачивайтесь в марше, вы птицы морей альбатросы, кто там шагает правой? левой, левой...

2

В Питере на вокзале наш эшелон встречали Михаил Иванович Калинин и член штаба обороны Петрограда Лашевич. Собрание было устроено в одном из залов ожидания. Здесь мы и узнали первые подробности того, что произошло в Кронштадте.

Первым говорил Калинин. Видно было, что он сильно измучен. К тому же у него были сломаны очки, от одного стекла остался лишь осколок, дужки были заматаны суровой ниткой. Михаил Иванович говорил недолго. Остальное досказал Лашевич.

Дело началось, собственно, задолго до самих событий. Еще в середине февраля, то есть тогда, когда в Кронштадте было еще спокойно, в парижских газетах появились телеграммы от «собственных корреспондентов из Гельсингфорса», в которых описывалось восстание в Кронштадте против Советской власти, причем некоторые детали этого описания в точности совпадали с тем, что произошло две недели спустя.

Было ли это обычной газетной уткой? Едва ли. Больше похоже, что заговорщики попросту выболтали планы мятежа.

Сами события в Кронштадте начались двухдневным митингом на линкоре «Петропавловск», к которому

присоединилась также и команда стоявшего рядом на рейде линкора «Севастополь». Приняв враждебную Советской власти резолюцию, митинг решил предложить эту резолюцию общегородскому собранию матросов, рабочих и красноармейцев и созвать это собрание на следующий же день, в воскресенье первого марта.

Открытые волнения на «Петропавловске» и в Кронштадте могли привести к вооруженным столкновениям. Чтоб не допустить до этого, Михаил Иванович Калинин решил немедленно же отправиться в Кронштадт. Вместе с ним поехал комиссар Балтфлота Николай Николаевич Кузьмин.

Добирались они долго и трудно. Машина буксовала в снегу, не дотянула даже до вокзала. В Сестрорецк ехали на паровозе, а оттуда на лошади. Но лошадь вязла в сугробах, так что большую часть пути они прошли по льду пешком.

По дороге их кто-то обогнал, и, когда они добрались наконец до Кронштадта, Якорная площадь была полна народу. Собралось тысяч пятнадцать, не меньше. Играл духовой оркестр, все выглядело вполне мирно.

Калинина и Кузьмина встретили доброжелательно — здоровались, расступались, освобождая проход к трибуне. А когда они поднялись на трибуну, устроили овацию.

Сначала выступил Калинин. Он говорил о положении в стране и о том новом, что намерена в ближайшее же время провести Советская власть. Объяснил, что «волынками» и беспорядками трудности не преодолеешь, а только усугубишь. Говорит ему было трудно, ветер относил слова, но слушали неплохо.

Однако тут в толпе прошло какое-то едва приметное, словно подводное, движение.

— Вот так бывает, когда глядишь на реку и тенью проплывет крупная рыба, — пояснил Калинин, прервав Лашевича.

Люди, окружавшие трибуну, были оттеснены, и на их месте уже стояли другие, в большинстве из тех, кого тогда прозывали «жоржиками» и «Иванморами». Кто-то крикнул Калинин:у:

— Хватит басни разводить, баснями нас не накормишь! Ты хлеба давай!

После Калинина выступил Кузьмин. Его все время перебивали выкриками, а когда он кончил, председатель

митинга, судовой писарь с «Петропавловска» Петриченко — бушлат картинно распахнут, тельняшка от плеча до плеча открыта, бескозырка лихо заломлена, — закричал:

— Братва! Товарищи! Братишки! К нам прибыли делегаты петроградских рабочих!

На трибуне появились эти самые делегаты.

— Я человек беспартийный, — начал первый из них. Тут Калинин снова прервал Лашевича.

— Там, на Якорной площади, — сказал Калинин, — лишь коммунисты говорили от имени своей партии. А остальные все, как один, называли себя беспартийными, хотя мы поименно знаем, что все это старые меньшевики, анархисты, эсеры...

— Вот и в Питере так же, — сказал Лашевич и продолжил свой рассказ.

Оратор, называвший себя представителем петроградских рабочих, сообщил, что Петроград охвачен всеобщим восстанием против Советской власти. Восставшие заняли почти весь город, советские войска удерживают только Смольный и Петропавловскую крепость. Это же подтвердили и его спутники. Говоря так, они в то же время подчеркивали, что они не против Советской власти, нет, ни в коем случае! Они, мол, «для лучшего». Они — за Советы, но только «свободные».

В толпе все время происходило какое-то движение, то стягивающееся к центру, то расходившееся кругами и спиралями. Настроение становилось все более взвинченным.

Теперь Петриченко решил, что настало время внести резолюцию, принятую на «Петропавловске».

Все пункты этой резолюции, по выражению Лашевича, делились на «Даешь!» и «Долой!»

Даешь перевыборы Советов тайным голосованием! Даешь свободу слова, печати, собраний, союзов, крестьянских объединений! Даешь свободу торговли!

Долой политотделы! Долой «заградилровку!» Долой коммунистические боевые отряды!

А за всем этим — за «Даешь!» и «Долой!», — конечно, одно: долой коммунистов!

Резолюцию проголосовали не руками — глотками... Калинин потребовал еще раз слова и сказал, что сегодня кронштадтцы хоронят свое славное прошлое. «Ваши сыновья и дочери, — сказал он, — будут прок-

линать вас за сегодняшний день, за эту минуту, когда вы предаете рабочий класс!»

Его слушали теперь плохо, а Кузьмина и председателя Кронштадтского исполкома Васильева слушать и вовсе не захотели. Поднялся шум, толпа сорвалась с места и куда-то ринулась.

На Калинина никто не обращал внимания. Вместе с товарищами он зашел куда-то неподалеку. Обсудив положение, решили, что он должен уехать в Питер, а Кузьмин и Васильев останутся в Кронштадте.

К этому времени все выходы из города были уже заняты караулами мятежного «Петропавловска». Когда Калинин подъехал к заставе, его задержали и потребовали, чтоб он предъявил пропуск от штаба мятежников. Он вернулся в крепость, позвонил на «Петропавловск», назвался и сказал, в чем дело. Его попросили подождать у телефона. Ждал он довольно долго, пока уже другой голос не сказал, что он может ехать, и даже попросил у него извинения.

Выходя из Кронштадта, Калинин спросил матросов, дежуривших в карауле у заставы, неужели же они не видят торчащие за их спинами черные уши меньшевиков, эсеров, царских генералов? Матросы хмурились, отмалчивались.

На следующий день, второго марта, около полудня в Петроград позвонил остававшийся в Кронштадте Кузьмин.

Он сказал, что с самого утра началось собрание делегатов судовых команд и мастерских по вопросу о пере выборах Советов. Как и на всех тогдашних собраниях в Кронштадте, председательствовал Петриченко.

Не обращая внимания на протесты Петриченко, Кузьмин взял слово и добился того, что собрание стало склоняться на его сторону. В тот момент, когда он звонил в Петроград, ему даже казалось, что все обойдется.

Но он ошибался. Несколько минут спустя ворвались какие-то люди, крича, что к «Петропавловску» приближается огромный отряд вооруженных коммунистов. Перекрывая шум, Петриченко предложил немедленно же создать повстанческий ревком, а так как положение критическое,— утвердить в качестве ревкома президиум этого собрания.

На деле никакой вооруженный отряд не подходил и слух о нем был пущен только для того, чтобы оглушить собрание и создать мятежный ревком, который тут же арестовал Кузьмина, Васильева и остальных коммунистов, находившихся на собрании.

Таким образом, события развивались в точности так, как за две с лишком недели до того их описывала парижская газета «Утро»: «Восстание Балтийского флота против Советского правительства. От собственного корреспондента.

Стокгольм, 13 февраля. Уже в течение некоторого времени циркулируют слухи о серьезных беспорядках, происходящих в Кронштадте. Согласно данным, полученным эстонской печатью, Кронштадтский совет отказался подчиняться центральной власти. Матросы, поддерживая Совет, арестовали верховного комиссара Балтийского флота и повернули пушки своих дредноутов на Петроград...»¹

Волин² счел нужным довести о событиях в Кронштадте до сведения Исполкома Петроградского Совета. Связь шла через форт «Краснофлотский». К аппарату подошел начальник форта Николай Сладков.

Докладывая в Петроград об этом разговоре, Сладков сообщил:

«Хотя они и старались меня обозвать, но сочли вести со мной разговор чисто искренне — дружеский. Я им ставил вопрос: «Зачем в Кронштадте переворот? Кому переворот нужен?» На это Волин, называя меня Колькой, заявил, что, мол, ты наш корабль знаешь, мы были и будем красным кораблем. На мой вопрос в ругательной форме: «Зачем вы арестовываете коммунистов и даете власть золотопогонникам, зачем допустили генералов и офицеров управлять этим переворотом, которые уже о перевороте сообщили Антанте?» — Волин ругательно заявил: «Что ты, Колька, говоришь? Неужели мы поддадимся золотопогонникам?.. Да ты должен понять, Колька...» На вопрос: «Ведь золотопогонники могут убежать в Финляндию, что вы будете делать, остолопы одураченные?» Ответ: «Мы как были, так и будем красным «Петропавловском» и не дадим над нами господствовать буржуям». Я им ставил еще вопрос: «Ведь форты, которые около Кронштадта, на-

¹ Перевод с французского автора. — *Ред.*

² Волин — председатель ревкома линкора «Петропавловск». — *Ред.*

пичканы эсерами и меньшевиками. Не подумайте, что вы с вашим клешем упрыгаете далеко». На это Волин спросил, как смотрит на них «Краснофлотский»? Я ему ответил: «Свирепит злобой снести вас, как предателей революции, за авантюру в такой тяжелый момент революции». Дальше я их стал ругать выражениями Степана Разина и потребовал от них, чтобы они освободили арестованных коммунистов, немедленно собрали бы собрание, выстроились бы невооруженные под красным знаменем, шли бы в сторону, обязательно взяв с собой всех изменников и провокаторов. Ответ Волина: «Ведь вы нас тоже будете расстреливать». Я им ответил: «Дуракам только вклеить по шапке, честным морякам честь и слава в Красной Армии, а провокаторам, бунтовщикам и агентам Антанты дадим народный суд».

Тут Волин запустил многоэтажную трель «в разинских выражениях» и дал отбой.

На этом связь Петрограда с Кронштадтом была оборвана.

Так произошла та «передвижка власти», о которой на Десятом съезде партии в разделе своего доклада, посвященном Кронштадтскому мятежу, Ленин говорил, что как бы она ни была вначале мала или невелика, как бы незначительны ни были поправки, которые делали кронштадтские рабочие и матросы, казалось бы и лозунги остались прежние: «Советская власть», с небольшим изменением или только исправленная,— а на самом деле беспартийные элементы служили здесь только подножкой, ступенькой, мостиком, по которому явились белогвардейцы, что совершенно неизбежно политически. Об этой новой форме контрреволюции — контрреволюции мелкобуржуазной, Ленин на Десятом съезде партии сказал, что в стране, где пролетариат составляет меньшинство, «она более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые».

Калинин встал.

— Вот какая невеселая история, товарищи,— сказал он.— От Кронштадта до Петрограда двадцать пять верст, так что понимаете сами... Похоже, что нам придется перейти к решительным действиям...

В нетопленном вагоне ушедшего из Петрограда поезда — из тех, что носили тогда прозвище «Максим Горький», — было темно, из щелей дуло. Прижавшись друг к другу, чтобы хоть чуток согреться, мы то дремали, то просыпались, вздрагивая от толчков.

Время от времени кто-нибудь вскакивал:

— Приехали?

— Да нет еще... Спи!

Поезд шел медленно. Дула метель, путь заносило снегом. Не раз нам пришлось выходить из вагонов и, вооружившись лопатами, расчищать путь.

До Ораниенбаума поезд так и не дошел, а остановился верстах в двух от станции, в чистом поле.

Железнодорожная линия шла у самой кромки берега Финского залива. Слева от нас взбирались на пологие холмы дома Ораниенбаума. Справа был лед. А вдали за снежной пеленой — погруженный в предрассветный сумрак Кронштадт...

Четвертого марта Петроградский Совет обратился с письмом «К обманутым кронштадтцам». В нем он предупредил рядовых участников мятежа об участии, которая ждет их, если они немедленно же не порвут со своими главарями:

«Все эти генералы Козловские и Бурксеры, все эти негодяи Петриченки и Турины в последнюю минуту, конечно, убегут в Финляндию. А вы, обманутые моряки и красноармейцы, куда денетесь вы?»

На следующий день мятежному Кронштадту был предъявлен ультиматум: в двадцать четыре часа сдать оружие и выдать зачинщиков. Одновременно ему было сообщено, что отдан приказ подготовить все для разгрома мятежа вооруженной силой. Выполнение приказа было возложено на назначенного командующим Седьмой армией Михаила Николаевича Тухачевского.

Ультиматум не возымел действия. Чтобы исчерпать все, он был продлен еще на двадцать четыре часа.

В Ораниенбауме мужчин из нашего отряда немедленно направили в воинские части, а девушкам — Асе

Клебановой, Леле Лемковой и мне --- велели идти на станцию, где формировался полевой летучий госпиталь.

Не помню уж, кто там распоряжался. Пожалуй, никто. Хотя дело было днем, в помещении было темно, горели свечи. Выяснилось, что медикаментов и перевязочного материала почти нет, зато есть довольно много рваного, но чистого больничного белья. Нам предложили найти себе место и сесть шипать корпию — занятие, о котором мы знали только по романам времен Севастопольской обороны и войны 1812 года.

Как ни мало мы — растрепанные, еле умытые, одетые в шинели не по росту, обутые в громадные солдатские ботинки, — как ни мало мы были похожи на прелестных барышень Ростовых, но мы принялись за дело, которым занимались их прелестные ручки.

Щиплем, щиплем, щиплем — и, наострив глаза и уши, стараемся не упустить ничего происходящего вокруг.

Появился какой-то ординарец и кого-то куда-то вызвал...

Привели человека, облепленного снегом. Он мотает головой и мычит сквозь стиснутые зубы. Наверное, от боли. Его усадили на табуретку, врач разрезал рукав. Все в крови. Ранен в предплечье. Врач пинцетом вытаскивает пулю, раненый кричит. Узнаем, что он — перебежчик из Кронштадта.

Мы щиплем, щиплем, щиплем. Ох, и медленно же растет кучка этой проклятой корпии!

— Что в Кронштадте? — спрашивает врач у перебежчика.

Тот только машет здоровой рукой.

Пришли двое красноармейцев, просят вазелину, чтобы смазать щеки. Обморозились. Выясняется, что они разведчики. Этой ночью подползли по льду к самому Кронштадту. В Кронштадте весь берег оцеплен и видно, что ведутся военные приготовления.

Прибежала какая-то девица, постукала сапожками, сбивая снег, что-то прострекотала и убежала.

Бородатый дядя в полушубке и розовых сибирских пимах внес двухведерную бутылку карболки.

Мы щиплем, щиплем, щиплем... Кучка корпии еле растет. А стрелки висящих на стене часов-ходиков все ближе и ближе подползают к часу, когда истечет срок второго ультиматума.

До конца срока два часа... Час... Полчаса... Четверть часа. Все!

Что же будет дальше?

И тут мы услышали протяжный голос снаряда. Это орудия, установленные на холмах Ораниенбаума, открыли огонь по Кронштадту.

Телефонный звонок. Приказ командования: врачам и санитарам-мужчинам с санитарным имуществом прибыть в штаб. Женщин не брать. Женщинам подготовить госпиталь к приемке раненых.

Мы возмущены. Особенно негодует Леля Лемкова. Как?! Подобное отношение к женщинам на четвертом году революции и к тому же в самый канун Восьмого марта?!!

Но приказ есть приказ, а работы много: и вымыть полы, и постелить на столах и лавках постели, и подготовить операционный инструмент.

Наша артиллерия продолжает обстрел Кронштадта. Ей начала отвечать артиллерия мятежников. Неподалеку от станции разорвалось несколько снарядов.

Потом настала долгая-долгая тишина. И вдруг еле слышно задребезжали оконные стекла.

Мы выбежали на улицу. Из влажной мартовской мглы доносились приглушенные туманом и расстоянием звуки далекого боя...

В эту ночь наше командование сделало первую попытку овладеть мятежным Кронштадтом. В бой были посланы курсанты военных школ. Пользуясь туманом и метелью, они подползли по льду к самым стенам Кронштадта, но были обнаружены прожекторами противника, который открыл по ним интенсивный огонь. Несмотря на это, они с криками «Ура!» ворвались в город.

Тут откуда-то из укрытия перед ними выросла фигура человека в матросской робе. Это был член Кронштадтского Ревкома Вершинин. Размахивая руками, Вершинин закричал:

— Стой! Стой!

Курсанты приостановились.

— Товарищи! Братцы! — зывал к ним Вершинин. — Вы рабочие — мы рабочие, вы крестьяне — мы крестьяне. Так чего ж нам бить друг друга? Не лучше ль бить жидов и коммунистов?

Курсанты обезоружили Вершинина. Он отчаянно матерился, пробовал вырваться и бежать, но был благополучно доставлен в Орагиенбаум.

Эта первая попытка овладеть Кронштадтом оказалась неудачной. Победа требовала иных сил и средств.

Мы ждали раненых, но подошел санитарный поезд и увез их в Петроград. Нам осталось убрать приготовленные для раненых постели, шипать корпию и ждать.

И мы шиплем, шиплем, шиплем... Вдруг распахивается дверь и появляется Тухачевский...

Он входит — и сразу становится тихо. Он говорит вполголоса, но все его слышат.

Он обходит помещение. Мы шиплем, шиплем, шиплем свою корпию. Он приближается к нам. Мы все шиплем, шиплем, шиплем ту же корпию. Он останавливается перед нами. Мы продолжаем шипать, шипать, шипать корпию...

— Кто вы такие? — отрывисто спрашивает Тухачевский.

Мы объясняем.

Лицо Тухачевского темнеет.

— Почему вы посадили на эту ерунду людей, годных для боевой и политической работы? — говорит он здешнему начальнику.

И тут же приказывает откомандировать нас в распоряжение штаба, а на шипание корпии мобилизовать женщин из местного населения.

4

Тухачевский шагал так быстро, что мы еле за ним поспевали. Придя в штаб, он спросил, хотим ли мы есть? Конечно, хотим. Но еще больше хотим помыться.

— Устройте все для товарищей, — сказал Тухачевский вестовому. Но, заметив лукавый взгляд, который тот на нас бросил, добавил:

— Только не в «Помпее».

Потом уже мы узнали, что «Помпеей», а вернее «Последним днем Помпеи», в штабе уже успели прозвать ванную комнату бывшего владельца дачи, расписанную совершенно непотребными картинами.

Часа через два нас позвали на совещание командного состава и политических работников Ораниенба-

умской группы войск, на котором выступил Тухачевский.

Он сказал, что брать крепость, а тем более крепость первоклассную,— дело нелегкое. Перед нами же стоит задача, примера которой не знает история войн: взять морскую крепость со льда, силами пехоты. Сегодняшняя наша неудавшаяся атака показала, что овладеть Кронштадтом с налета не удастся. Нужно найти новые формы тактического использования частей на льду, отличные от тех, которые применяются на суше. Но нас подпирает время. От захваченного этой ночью в плен члена Кронштадтского ревкома Вершинина мы узнали, что главари мятежников решили придерживаться оборонительной тактики, рассчитывая на то, что, пока мы подготовим штурм, тронется лед и мы не сможем наступать. Дорога́ каждая минута, каждая секунда. Вот-вот настанет весна, оттепель, ледолом, ледоход. Тогда на рейд мятежного Кронштадта придут суда империалистических держав и Кронштадт превратится в очаг гражданской войны и интервенции...

— Вас посылают в воинские части в качестве санитарок,— говорил, напутствуя нас, начальник Политотдела Ораниенбаумской группы войск товарищ Лепсе.— И во время боя вы будете санитарками. А пока — побольше разговаривайте с красноармейками, постарайтесь получше понять их душу, помогите им во всем разобраться.

И вот с направлением в кармане я стою посредине Ораниенбаума и спрашиваю, как пройти в назначенное мне место.

— Вот туда, вниз, налево,— говорит один.— Да нет, направо, на горушку,— утверждает другой.— Да не направо, не налево, а топай прямо, во-он к тому домику, потом пройди через двор, увидишь дом с башенкой, подойди, спроси: «Это у вас курица на улице яйцо снесла?» Тебе скажут: «У нас». Вот ты и пришла, куда надо.

Так я и сделала. И действительно, пришла туда, куда мне было нужно. Только вот насчет «курицы» не спросила и хорошо сделала: этой «курицей» с присущей русскому народу любовью к высмеиванию местных говоров

дразнили красноармейцев нашей части, в которой было немало псковичей.

Часть была молодая, сборная. Создана она была ее командиром Михаилом Степановичем Горячевым.

Весть о событиях в Кронштадте застала Горячева в Старорусском военном госпитале, куда он попал после ранения на Польском фронте. Он тотчас потребовал, чтобы его выписали, забрал с собой выздоравливавших, явился вместе с ними к губернскому военному комиссару, за два дня сколотил отряд, в который была влита рота красноармейцев из местного гарнизона, и, раздобыв два пулемета и небольшую пушчонку с прислугой и четырьмя обозными лошадьми, отправился вместе со своим отрядом под Кронштадт.

Постоянного названия эта часть так и не получила. За то время, что я в ней была, несколько раз ее то куда-то «вливали», то к ней что-то «придавали». В зависимости от этих перемен, происходивших не столько в реальной жизни, сколько в штабных бумагах, перед ее названием появлялись приставки: то «арт», то «мор», то еще что-то. Командиром все время был Горячев, а комиссара дали только тогда, когда под Кронштадт прибыли делегаты Десятого съезда партии.

Размещалась она, как и все новоприбывшие в Ораниенбаум воинские части, в большой старой даче и в избах местных жителей.

Идти в новую воинскую часть девушке всегда страшновато. И не из-за собственно военных дел.

До сих пор мне везло: куда бы я ни попадала, всегда находился пожилой солдат, который брал меня под свою опеку. Нашелся такой и здесь. Звали его Флегонтыч. Он воевал еще в японскую войну.

Спать меня он устроил в кладовушке, а для себя соорудил в коридорчике перед кладовушкой лежак. Тут же мы с ним оборудовали и медпункт, который по старому обычаю назывался «околоток».

Дом был старый, запущенный, с шербатыми стенами и тугими дверьми, отворяющимися в мрак сырой черной лестницы. Но у нас в околотке всегда топилась «буржучка» и вечно было полно народу. Я более или менее впопад выдавала имевшиеся у меня лекарства — хину, касторку и бром, — мазала кого йодом, кого вазелином и всячески старалась то что называется «вести политическую агитацию».

Все последующие события уложились в десять дней и десять ночей. Из них девять суток подготовки и одни сутки штурма.

Сводки военных действий за дни подготовки лаконично сообщают об артиллерийских перестрелках, преимущественно мелких и средних орудий. Ораниенбаум, Красная Горка и форт «Краснофлотский» обстреливают Кронштадт, батареи Кронштадта и «Петропавловска» и «Севастополя» ведут обстрел Ораниенбаумского побережья.

Обе стороны действуют явно не во всю свою огневую мощь. Само бесстрашие военных сводок свидетельствует, что главное, что происходит в эти дни, не в этих — далеко не ежедневных — артиллерийских поединках. Главное...

Далеко, насколько видит глаз, простерлось беспредельное белое пространство, освещенное луной. Лед, лед, лед... О, этот лед Финского залива!

Перед командным составом и политическими работниками поставлена задача: в самые сжатые сроки превратить находящуюся в распоряжении командования живую силу в воинские части, способные к боевым действиям на льду — в любую погоду и в любых условиях.

А это значит, что каждый — и ты в том числе — должен перебороть свой страх перед льдом —

льдом, который представляется тебе настолько тонким и слабым, что вот-вот он провалится и все, что на нем находится, будет поглощено морской пучиной;

льдом, который настолько крепок, что в нем нельзя вырыть не только окоп, но хоть какую-нибудь ямку, чтобы спрятать в ней голову;

льдом, таким белым, таким плоским, что ты весь, от макушки до пят, находишься на виду у невидимого для тебя противника.

Красноармейцы не говорят слова «лед». Они величают его «ОН»!

«ОН» все время среди нас. О «НЕМ» постоянно думают, к «НЕМУ» непрерывно прислушиваются, говорят о «НЕМ» шепотом:

«ОН» трещит... «ОН» вздыхает... «ОН» побелел, потемнел, посерел, потолщал, потоньшал... «ОН» помокрел, зазернил, шуршит, пухнет, млеет, преет, слезится...

Городская жительница, я знала о снеге, что он снег, а о льде — что он лед.

Теперь я узнала, что в зависимости от того, идет ли снег с дождем или туманом и изморосью, падает ли хлопьями или легкими снежинками, лег ли он пушистой пеленой или же смерзся в плотный пласт, он именуется лепень, чичега, искра, блестка, пороша, наст, пушной кид, падь. Что бураном называется метель, во время которой снег идет и крутится сверху, а когда метет по земле, это называется поземкой или понизовкой.

А вешний лед! Он бывает рыхлый, рассыпчатый, игольчатый, крупенистый. Но каким бы он ни был, он лжив и неверен, как бабья любовь, как кукушкино горе.

Вспоминали всякие приметы. И все они, проклятые, сулили на этот год раннюю весну.

И еще отравляли жизнь святые.

Вдруг оказывалось, что через несколько дней, семнадцатого марта, будет день Алексея Теплого или Алексея-с-гор-вода. А значит — жди скоро оттепели.

— Но ведь этот Алексей по старому стилю, — выворачивалась я.

Но тогда вылезал Василий Теплый, который по старому стилю двадцать восьмого февраля, а по-новому тринадцатого марта. Получалось одно на одно с Алексеем.

В штабе армии также были озабочены прогнозами погоды. Запросили знаменитого Кайгородова. Увы, его приметы тоже предвещали, что весна будет ранней.

Медлить с наступлением было нельзя!

Мало того, что красноармейцы должны были преодолеть страх перед льдом, у них должна была выработаться маневренность, выносливость и умение действовать и побеждать в бою на ледяной равнине.

Каждую ночь, а в туман — и днем, бойцов выводили на прибрежный лед. Сперва проводили обычные строевые занятия: важно было втянуть людей в действия на льду. Остальное время посвящалось упражнениям с новыми средствами, придуманными для будущего боя, которому суждено было протекать в столь необычных условиях.

Что это были за средства? Длинные лестницы — мостки для перехода через рыхлый снег и полыньи, образовавшиеся в местах разрыва снарядов. Неуклюжее сооружение, прозванное «утюгом»: на треугольник из бревен и досок накладывали камни, впрягали лошадей,

они волокли его и таким образом утюжили дорогу, по которой потом тащили пушки.

Занятия на льду порой проходили негладко: лед-то ведь и на самом деле и дышал, и трещал, и слезился, и даже охал. Людей охватывал страх. Но тут всегда выручал какой-нибудь смельчак из тех, что кидаются в огонь и воду. Приговаривая не слишком-то цензурную приговорку, он вылетал на лед, мчался по нему вприсядку, хлопал, топал, кружил юлой. Мелкие льдинки взметывались из-под его каблуков, а он победно отстукивал дробь: гляди, любуйся, честной народ,— не проваливаюсь же!

Но самым трудным, самым особенным в то время был все же не лед.

Обычно это случалось среди ночи. Я спала в своей кладовушке. Вдруг меня будил Флегонтыч.

— Что такое?

— Вставай. Подметные листки...

Это значило, что ночью к нашему расположению подкрались кронштадтские лазутчики и раскидали листовки или свою газету «Известия временного Кронштадтского ревкома».

Некоторые не в меру ретивые политработники полагали, что эти «подметные листки» надо молча уничтожать. Но высокое наше начальство правильно рассудило действовать в открытую. Листки все равно проникнут к красноармейцам. Поэтому когда они появляются, политработники должны сами читать их красноармейцам и тут же полемизировать с их авторами.

Дело это было не легкое. Листовки кронштадтцев обладали манящей прелестью простых решений: сними заградилровку — будет хлеб, отмени разверстку — крестьянин вздохнет с облегчением; повысь заработную плату — тогда рабочий сможет купить на рынке все, что ему нужно. А так как весь нажим, зажим и прижим идут от коммунистов, выгони коммунистов и выбери «свободные Советы».

Конечно, мы убеждали и разубеждали. Легче всего было спорить с политической программой кронштадтцев. Тут главари мятежников, среди которых было много эсеров, анархистов, меньшевиков (а председатель ревкома Петриченко успел побывать и анархистом, и эсером, и махновцем, и петлюровцем), допустили явную

промашку, выдвинув идеи, не вызывавшие сочувствия массы. И уж совсем бездарно повели себя те, кто стоял за их спиной. Им бы держаться в тени, а они поперли вперед и с глупейшей развязностью раскрыли все свои карты.

Так что спасибо бывшему великому князю Дмитрию Павловичу, который, едва узнав о событиях в Кронштадте, пожаловал своей августейшей особой в Берлин, чтоб заявить о своих претензиях на российскую корону. Спасибо и Виктору Михайловичу Чернову, вылезшему с Учредительным собранием. Спасибо Гучкову и Рябушинскому, Второву и Путилову, Гукасову и Манташеву — этим новым «Мининым и Пожарским земли Русской», которые в патриотическом усердии, а также на радостях, что парижская биржа вновь стала котировать акции российских промышленных и финансовых компаний, развязали мошны, чтоб помочь «кронштадтским братьям».

Но самое большое спасибо капитану первого ранга барону фон Вилькену! Как он, нам не помог никто.

До революции барон фон Вилькен был командиром линкора «Севастополь». В февральские дни он едва спасся от рук матросов, которые хотели спустить его за борт. А через неделю после начала мятежа он собственной персоной пожаловал в Кронштадт, обошел крепость, ознакомился с планом обороны, сообщил командованию мятежников, что в Финляндии формируется для помощи кронштадтцам офицерский батальон, а затем отправился на «Севастополь».

Старые матросы тотчас узнали барона. Они хмуро смотрели на то, как он ходил по кораблю, прошел в кают-компанию, побывал на верхней палубе и в капитанской рубке, потрогал пальчиком штурвал. Барон был весел, насвистывал игривый мотив, а уходя, подарил матросам по серебряному рублю царской чеканки.

5

Я видела такой рубль, подаренный бароном фон Вилькеном матросам с «Севастополя», — блестящий серебряный рубль с двуглавым царским орлом на одной стороне и профилем Николая Второго на другой.

Вот как это было.

По установленному в те дни порядку каждый вечер

в штабе Ораниенбаумской группы войск (теперь она называлась Южной группой) проводилось нечто вроде летучек. Низовые армейские работники информировали о положении в воинских частях, командование рассказывало им последние новости и давало директивы. Проводил эти летучки то командующий Южной группой Седакин, то кто-нибудь другой.

В тот вечер я пришла на летучку рано, народ только начинал собираться. За столом командующего сидел Павел Ефимович Дыбенко и разговаривал с людьми, в которых сразу, даже не видя якорь, вытатуированный на запястье, можно было узнать бывших матросов. В Ораниенбауме тогда вообще было много бывших матросов, особенно кронштадтцев, и даже сугубо штатские люди порой усваивали от них походку вразвалочку и привычку окликать словом «Эй!» подобно тому, как с корабля на корабль окликают: «Эй, на «Гангуте»!»

Дыбенко и его товарищи разговаривали весело, громко смеялись. Тем временем с улицы доносились звуки пушечной пальбы. Это Кронштадт вел обычную в те дни артиллерийскую дуэль с Ораниенбаумом.

Вдруг Дыбенко умолк, прислушался, вскочил, распахнул окно. Вместе с морозным воздухом в комнату ворвался ставший гораздо более слышным гром пушек.

Дыбенко схватил за руку одного из своих собеседников.

— Эй, слушай! — вскричал Дыбенко. — Слушай внимательно! Ты слышишь, как бьют? Очередями? Кто может дать команду: «Очередями»? Матрос? Матрос не знает такой команды! Матрос знает команду «рассеянным огнем»... А где вели стрельбу очередями? На офицерском полигоне, да на царских смотрах, да еще когда нашего брата расстреливали...

Тут вошел кто-то из штабных и доложил Дыбенко, что только что на льду возле берега захвачены два кронштадтца.

Дыбенко приказал их привести. Он снова сел, его собеседники раздвинули стулья, расположившись полукругом.

Ввели пленных. Поставили напротив Дыбенко.

Один был худой, высокий, смуглый. Он стоял неподвижно, глядя мимо, в одну точку, и за все время не произнес ни слова. Только пальцы левой руки у него дергались.

Другой был губастый, рыхлый, с чубчиком, в широченнейшем клеше. Идеальный подонок образца 1921 года.

Красноармеец, который привел пленных, выложил на стол перед Дыбенко все, что при них было обнаружено: листовки, прокламации, нарисованный от руки план Ораниенбаума, несколько номеров «Известий Кронштадтского ревкома», кисеты с махоркой и, наконец, серебряный рубль.

Дыбенко сначала не понял, что это за рубль, взял его, показал соседу.

— Знаешь этот фокус? — спросил он. — Если вот таким манером к императорской башке приложить палец, получается свинья. Ей-богу, гляди-кось!

Потом он спохватился.

— Откуда этот рубль? — спросил он.

Выяснилось, что его отобрали во время обыска у губастого кронштадтца.

— А у тебя он откуда?

И тот, красуясь, похвастал, что этот рубль подарил ему барон фон Вилькен.

Никогда ни до, ни после этого я не видела, чтоб несколько человек одновременно могли так прийти в ярость.

Эта ярость проявила себя не столько зримо, сколько на слух. На какое-то время образовались как бы три звуковых плана — задний, за окном, где грохотала артиллерийская канонада; второй — в комнате, в которой настала словно звенящая тишина. И самый передний — тяжелое дыхание людей, сидевших полукругом у стола.

Но вот Дыбенко, а за ним и остальные в один голос, и слушая и не слушая друг друга, загремели так, что заглушили и рев пушек, и гром разрывов.

— А ты знаешь, сопля недорезанная, как этот фон Вилькен на «Севастополе» нашего брата мухрыжил?

— А за вице-адмирала Роберта Николаевича Вирена ты слышал? А по приказу Вирена ты спускал посреди Кронштадта штаны, чтоб его буркалы твой штамп увидели? А мадам Вирениха тебя по морде зонтиком лупцевала?

— А боцманскую цепочку ты пробовал? А медяшку, чтоб блестела, как «чертов глаз», драил? А что такое фельдфебельские «три счета», тебе известно? И что значит «сушиться»? И как под ружьем стоят? И как в уголь-

ных ямах гниют? И как пули адмирала Непенина по тебе шелкают?

К кому они обращались? К этому пашенку, что и сейчас смотрел на них с высокомерной насмешкой?

Нет! В их вопросах прорвалась безмерная горечь за позор, которым мятежники покрыли Кронштадт, — Кронштадт, который был гордостью революции, Кронштадт, когда-то расстрелявший Непенина и Вирена, а ныне почтительно принимавший барона фон Вилькена...

Двенадцатое марта. Дождь и туман. Красноармейцы принохиваются к ветру и определяют, что это «вешняк», то есть теплый южный ветер, приносящий вместе с собою весну.

Дальше становится известно, что двенадцатое марта — день святого Феофана. Феофан и туман — рифма. Это значит, что жди приметы. Вдруг она будет вроде: «На Феофана туман — лед как рваный кафтан»? Я сама это только что придумала и сама пугаюсь: Феофан — Феофаном, а приметы-то ведь правильные...

Пронесло благополучно и даже без рифмы: «На Феофана туман — урожай на лен и коноплю».

Но есть и вторая примета: «Если лошадь на Феофана заболит, то все лето работать не станет».

Флегонтыч со вздохом отрезает добрую половину своей хлебной пайки, делит на четыре части и относит на конюшню нашим одрам Машке, Серому, Чернышу и Спотыке.

Днем совсем тепло. Дождь перестал. Небо поголубело. Ясно виден золотой купол Кронштадтского Морского собора. Светит солнце. Сосульки. Капель.

Как там лед? Что будет, если он разойдется?

6

В первые же дни, когда с нашей стороны начали выходить на лед разведывательные партии, они заметили людей, пробиравшихся по льду из Кронштадта в Финляндию и из Финляндии в Кронштадт. В дальнейшем разведка обнаружила на льду Финского залива хорошо наезженную дорогу из Кронштадта в Териоки.

Перебежчики из Кронштадта рассказывали, что в

Кронштадт чуть ли не ежедневно прибывают какие-то лица в форме американского Красного креста, не скрывающие, что они — белые офицеры. Офицерская группа, активизировавшаяся в Кронштадте с самого начала мятежа, теперь действует уже совершенно в открытую. На одном из заседаний ревкома генерал Козловский, отстранив председательствовавшего ревкомовца, громко сказал: «Ваше время прошло, я сам сделаю что нужно».

В зарубежной печати промелькнули сообщения, что военные суда, которым после очистки Финского залива от льда предстоит доставить в мятежный Кронштадт десантные войска, оружие и продовольствие, уже разводят пары.

Фактор времени приобретал для нас все более властную силу.

На одной из летучек кто-то вспомнил, как Ленин в период подготовки Октябрьского штурма сказал: «Промедление смерти подобно».

И сейчас в каждом нашем докладе, в каждом выступлении звучали ленинские слова: «Промедление смерти подобно!»

День и ночь, порой под артиллерийским огнем, по железной дороге, по шоссе и проселкам, к Ораниенбауму двигались войска и транспорты с оружием, боеприпасами, продовольствием.

Из людей, что прибывали тогда в Ораниенбаум, мне особенно запомнились рабочие какого-то петроградского завода, доставившие в Ораниенбаум прожекторы и электроосветительные установки. Заказ на них был дан заводу уже после начала мятежа и, чтобы выполнить его в срок, рабочие работали, почти не уходя из цехов. А сейчас их представители с гордой радостью доставили в Ораниенбаум то, что было сделано с таким большим трудом.

Встречал их сам командующий Южной группой Седакин. Он расцеловался с рабочими, а потом они выступали в воинских частях и рассказывали, как живет Петроград: вопреки распространяемым кронштадтцами слухам, что Петроград охвачен всеобщим восстанием, на самом деле «волынки» прекратились и заводы работают...

Но однажды, когда я проходила мимо станции, подо-

шли два воинских эшелона. Они остановились — один в хвост другому. Вагонов было много, так что, пока я шла мимо, уже началась выгрузка. Что-то было странное в этой выгрузке, а что — я сразу не поняла. Лишь потом до моего сознания дошло: угрюмая тишина и безмолвие, в которых она происходила.

Вернувшись к себе в часть, я увидела Флегонтыча. Вопреки своему обыкновению, он сидел без дела и на какой-то мой вопрос буркнул что-то вроде: «Будем еще поминать, когда станем кобылу за хвост подымать».

Ну, раз Флегонтыч заговорил присловьями, значит, жди беды!

Это бывало уже не раз: хорошо, тихо, спокойно (в том относительном понимании тишины и спокойствия; какое возможно на открытом берегу, прямо под прицелом неприятельских орудий) и вдруг словно набегит туча и накроет все своей тенью.

Флегонтыч в таких случаях бывал верным барометром. Если он вместо обычной своей речи перешел на иносказательную, это значит, что хозяйка какой-нибудь избы, где стоят на постое наши красноармейцы, забаламутила им души слухами и сплетнями; либо же из деревни пришло письмо, в котором после всех поклонов горем горьким льются жалобы на голодуху да на неуправства местных властей; либо ночью к нашим ребятам пробрался какой-нибудь кронштадтец, переодетый, как они теперь обычно делали, в красноармейскую форму, и, прикинувшись бойцом из соседней части, наплел им сорок бочек вранья.

А это уже значило, что снова завьются веревочкой разговоры о том, что мы, мол, люди молодые, неопытные, в боях не участвовали, воевать не умеем, обороняться с берега готовы в любую минуту, а по открытому морю идти боимся.

Удивительно не то, что время от времени вспыхивали такие настроения. Удивительно другое: то, что мы могли их преодолевать своей — чего греха таить! — достаточно неуклюжей агитацией. Поговоришь с красноармейцами — и они уже смеются и дразнят друг друга теми самыми разговорами, которые сами только что вели.

Однако на этот раз взволнованность Флегонтыча была вызвана иными причинами: по «солдатской почте»

уже докатились вести о трагических событиях, разывравшихся вскоре после прибытия в Ораниенбаум двух полков, входивших в 27-ю Омскую стрелковую дивизию. Тех полков, выгрузку которых я случайно видела.

Существует рассказ тогдашнего начальника 27-й Омской стрелковой дивизии Витовта Казимировича Путна о причинах этих событий.

Вышло так, что многое сплелось в одно.

До переброски в Кронштадт 27-я дивизия стояла в Гомельской губернии. Условия были тяжелые: красноармейцы голодали, были раздеты, разуты, истощены до крайности. Старых бойцов, проделавших вместе с дивизией ее славный боевой путь, осталось немного, их сменили новобранцы. Расквартирована дивизия была в деревнях, среди населения, мало благожелательного к Советской власти, а политическая работа велась плохо.

Все же части отправились под Кронштадт в хорошем настроении. Но в пути ждали новые тяготы: теплушки грязные, теснота, горячей пищи нет, воды нет, хлеб когда дадут, а когда и не дадут, да и тот, что дадут, сырой, а о куреве и не мечтай. А только остановится поезд на станции, со всех сторон ползут слухи и страхи: вас везут на гибель... Поверх льда на аршин воды!.. Лед под вами подломится! Там уже пошли на дно кормить рыб пять тысяч... нет, семь... нет, десять тысяч курсантов... Кронштадт вам не взять... да и зачем вам его брать? Зачем губить свои молодые жизни? Ведь матросы восстали не против Советской власти, а потому что хотят Советов без коммунистов...

Чем ближе к фронту, тем сильнее становился напор этой агитации. И когда 235-й Невельский и 237-й Минский полки выгрузились из эшелонов и получили приказ занять участок на берегу, часть красноармейцев, выкрикивая: «Слыхано ли дело, чтобы пехота на флот ходила?», «На лед не пойдем!», «Нас гонят, чтобы утопить!», «Не желаем воевать против наших братьев-матросов!», устремилась по шоссе из Ораниенбаума к Петергофу, делая попытки снимать встречные части и артиллерию.

Чтоб в полную меру оценить серьезность положения, надо учесть, что все эти события разыгрывались на Ораниенбаумском побережье, отлично просматриваемом из Кронштадта, а также и то, что в Кронштадте непременно слышали бы стрельбу, если б она поднялась. К каким последствиям это могло привести, объяснять не нужно.

Но обошлось без стрельбы и столкновений. В неповиновавшиеся полки выехал Андрей Сергеевич Бубнов, пытавшийся обратиться к ним с речью. Потом их нагнал Климентий Ефремович Ворошилов. Оба они только что прибыли из Москвы. С большим трудом, но они добились того, что их стали слушать. Тем временем в обход, бегом по глубокому снегу наперерез бросились курсанты. Увидев на своем пути заслон, оба полка повернули к казармам и там по приказу командования сдали знамена и оружие.

Вероятно, все эти события не случились бы, если б начальник дивизии Путна в то время находился в Ораниенбауме. Но он прибыл в Ораниенбаум лишь на другой день, пятнадцатого марта. Узнав о случившемся, он был поражен поведением полков и счел первым своим долгом поговорить с красноармейцами. Днем шестнадцатого марта 235-й Невельский и 237-й Минский полки были выстроены на площади перед Ораниенбаумскими казармами, чтоб встретиться со своим командиром.

Горькая это была встреча! С болью вспоминает о ней Путна.

«Жалкий и без того пришибленный вид разоруженных солдат, — пишет он, — усиливался еще тем, что при оборванности обмундирования красноармейцы были сильно истощены физически продолжительным хроническим недоеданием в прошлом. Я был взволнован и внутренне жалел их. Я знал, что, будь им своевременно разъяснено дело, эксцесса не было бы. Несокрушимость силы Красной Армии ведь заключалась в том, что красноармеец всегда знал, с кем и за что он борется. Он привык знать, а в данном случае этого не было».

Первым выступил Ворошилов, который указал красноармейцам на исключительную тяжесть их вины и заявил, что при всем великодушии пролетарской власти все же с них будет взыскано по законам военного времени, а с активных зачинщиков и подстрекателей — сугубо.

Потом со словом к бойцам обратился Путна.

Он говорил о боевом прошлом 27-й Омской дивизии, о тяжелом пути, пройденном ею в боях за Поволжье, Урал и Сибирь, о тех испытаниях, которые она перенесла, о той настойчивости, которая привела дивизию к взятию Омска и победам над Колчаком. Он вспоминал, как тогда, когда панская Польша напала на Советскую Россию и дивизия была переброшена с Восточного фронта на Западный, в трагических для нас боях на Буге, под Варшавой Омская дивизия проявила стремительность в атаках, чем заставила противника ввести против нее резервы армии и фронта — но даже в моменты тяжелейшего разгрома сохранила способность драться, подчас с ошутительным для врага успехом.

Затем Путна перешел к тому, что случилось в Ораниенбауме.

Он сказал, что подобного позора еще не было в истории ни одной из составных частей дивизии. Никогда красноармейцы дивизии на виду у неприятеля не выражали недоверия командному и комиссарскому составу, и он, начальник дивизии, объят справедливым негодованием против тех, кто опозорил честь ее знамен.

Путна помолчал, заговорил снова.

Теперь он говорил, что в проступке, совершенном красноармейцами, он видит лишь минутное малодушие и как начальник жалеет тех, кто его совершил. (Помню, как тут дрогнул его голос.)

— Как командир дивизии, — сказал он, — я просил командование Южной группы дать вам возможность искупить свою вину при штурме Кронштадта. Пусть же сейчас те, кто хочет идти в первых рядах дивизии, поднимут руку.

И все, как один человек, подняли руки...

По ходатайству Путны полкам было возвращено оружие и вновь вручены боевые знамена. При развертывании полков для штурма 235-й Невельский и 237-й Минский полки были назначены в головную колонну. Путна решил идти на лед вместе с этими полками.

Когда я сейчас вспоминаю этот день, который для меня, как, наверно, для всех коммунистов, что находились тогда в Ораниенбауме, был одним из труднейших дней в жизни, когда я минуту за минутой, слово за словом перебираю все, что тогда было, я почти физически помню, как события в 27-й дивизии вызвали у красно-

армейцев желание поскорее пойти в бой и покончить дело.

Но люди не истуканы, а люди. Выступление полков Омской дивизии их глубоко переволновало. Нужно было, очень нужно, чтоб произошло новое, совершенно особенное событие, которое, подобно летнему дождю, смыло бы тяжкие чувства этого дня.

Такое событие произошло. На Кронштадтский фронт прибыли делегаты Десятого съезда партии.

Они шли большой, шумной гурьбой по улицам Ораниенбаума, шли посередине мостовой, рядом с бесконечным обозом деревенских розвальней. Накатанная снежная дорога блестела. С крыш свисали зубчатые гирлянды сосулек.

Кто был одет в шинель, кто в темное пальто. У одних за плечами горбились солдатские вещевые мешки, другие держали под мышкой портфели — не с бумагами, конечно, а с переменной белья и пачкой махорки. Все кругом вызывало их живой интерес: и встречные люди, и обозы с ящиками винтовок и боеприпасов, и сам город, в мгновение ока превратившийся из чиновничье-дачного захолустья в плацдарм будущей великой битвы.

Среди них были члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и члены губкомов партии, военные комиссары дивизий и командиры бригад, начальники политических отделов армий и редакторы газет. Они прибыли со всех концов страны — с Урала и Кавказа, Крыма, Украины, Белоруссии, Поволжья.

Многие несли тючки с листовками. Это было отпечатанное в Петрограде письмо, с которым делегаты партийного съезда обращались к мятежным кронштадтцам.

— Что будет, если черное дело, на которое вас толкнули, одержит верх? — спрашивало письмо.

И отвечало:

«Десять шкур спустят прежние хозяева с рабочих и крестьян, если вернуться... И тогда, очнувшись, протрезвев, вы поймете, что были орудием врагов народных, а дети ваши и те из вас, кто останется жив, будут с проклятием вспоминать про кронштадтцев, убивших рабоче-крестьянскую республику. И тогда в истории будет написано:

«Первого марта 1921 года одураченные кронштадт-

цы, подойдя вплотную к возможности строить новую жизнь, вместо этого пошли против Советской власти и тем самым проложили дорогу белогвардейцам».

Но этого не будет! Вы должны одуматься!»

Увы, они не одумались и на этот раз...

Кронштадт утонул в туманной мгле. Все его пушки были нацелены в сторону Ораниенбаума и Сестрорецка. А когда спускалась ночь, голубоватые лучи кронштадтских прожекторов непрерывно шарили по льду Финского залива.

Делегаты Десятого съезда пробыли в штабе недолго. Еще в пути они приняли решение, что под Кронштадтом будут сражаться в качестве рядовых бойцов. И сейчас они потребовали, чтоб их немедленно отправили в воинские части.

Весь этот вечер прошел в беседах. Собраний не устраивали, просто делегаты ходили по избам и при свете лучин разговаривали с красноармейцами, которые, растянувшись на полу, слушали их рассказ о заседаниях партийного съезда, о докладе Ленина, о принятых съездом решениях хранить как зеницу ока единство партии.

Делегатов было немного — в нашей Южной группе человек двести. Но в подготовке штурма они сыграли ту же роль, какую в химической реакции играют катализаторы. Произошел какой-то незримый процесс — и армия стала внутренне готова к бою...

Прежде чем говорить о дальнейших событиях, необходимо ясно представить себе, каким должен был быть этот будущий бой.

Кронштадт — первоклассная морская крепость, защищающая Петербург с моря. Основанная Петром Первым в 1703 году, она много раз укреплялась и перестраивалась, чтоб быть способной выдержать многомесячную осаду со стороны флота любой крупнейшей военно-морской державы своего времени.

Кроме крепостных сооружений на острове Котлине Кронштадтская крепость включает в себя бетонированные форты, расположенные на мелких, частью искусственных островах в фарватере Финского залива.

К моменту мятежа в Кронштадте насчитывалось более ста сорока действующих орудий, в том числе более восьмидесяти тяжелых. Кроме того у стенок крепости швартовались мятежные линкоры «Петропавловск» и «Севастополь», способные сосредоточить артиллерию на любой борт, а также ряд менее крупных военных судов. Хотя все они вмерзли в лед, их сильная морская артиллерия активно действовала в бою.

Поскольку Кронштадт никогда не принимал участия в боевых действиях и не расходовал боеприпасов, запас снарядов и взрывчатых веществ, которым располагали мятежники, можно было считать практически неисчерпаемым, а глубокие каменные казематы и пороховые погреба и оборонительные стенки давали гарнизону надежное укрытие от огня и, употребляя выражение Путьны, обеспечивали ему «жизнь и боевую упругость».

В период подготовки к предстоящему им бою мятежники усилили оборонительные сооружения в восточной части острова, со стороны Петроградских ворот, откуда они с основанием ждали нападения; построили блокгаузы с восемью — десятью пулеметными гнездами в каждом, обнесли их колючей проволокой. Чтобы дать линкорам «Петропавловск» и «Севастополь» некоторую возможность маневра, они взорвали скрывающий их ледовый припай.

Гарнизон крепости, фортов и военных кораблей составлял более двадцати тысяч человек, в том числе около десяти тысяч отборных бойцов.

Вспомним, что эта гигантская человеческая и материальная сила была окружена насквозь просматриваемой, насквозь простреливаемой ледяной равниной, по которой наступающие войска должны были пройти около десяти километров, не имея ни единого укрытия, ни единого мертвого пространства. Вспомним, что каждый метр этой плоской белой равнины был пристрелян артиллерией Кронштадта. Вспомним, что мятежникам нужно было продержаться в практически неприступной крепости лишь несколько дней, всего лишь несколько дней, пока чуть потеплеет и лед делается абсолютно непроходимым.

Вспомним все это — и мы поймем, перед какой совершенно необыкновенной по своей трудности задачей стояли наши войска.

Какими материальными средствами располагала Красная Армия?

Основную массу ее артиллерийских средств составляла артиллерия Южной группы войск, сосредоточенная на небольшом сравнительно участке Мартышкино — Малая Ижора (примерно 9—10 верст по фронту и 3 версты в глубину). Она насчитывала около ста двадцати орудий, из них около пятидесяти легких. К этому надо добавить около пятидесяти орудий Северной группы, в районе Сестрорецка. Но по Кронштадту могли бить только дальнобойные орудия Южной группы, в пределах действия артиллерии Северной группы находились лишь второстепенные периферийные форты — так что фактическое превосходство артиллерии мятежников над нашей было еще большим, чем количественное.

Пехотные силы Южной группы составляли около десяти тысяч штыков, Северной группы — около двух тысяч.

Эти силы должны были дойти до Кронштадта по льду и штыковым ударом овладеть крепостью и ее фортами.

8

Настало шестнадцатое марта, девятый день подготовки.

Сводка военных действий за этот день гласит:

«Весь день шестнадцатого марта прошел в ожесточенной артиллерийской перестрелке с Кронштадтом. Начавшись рано утром, после двухдневного затишья, она продолжалась с большой силой в течение всего дня. С двух часов дня она стала особенно энергичной и не прекращалась с обеих сторон до поздней ночи»...

В ночь на шестнадцатое ни один коммунист не ложился.

Последнее партийное собрание. Последние вопросы. Последние напутствия. «Интернационал», спетый как клятва.

А под утро — ожидание разведчиков, возвращающихся из ночного поиска.

Их нет, нет, нет... Наконец, они появляются — потные, обмерзшие, улыбающиеся: лед крепкий!

По установленному у нас обычаю они сначала делают доклад о состоянии льда командованию, потом рассказывают о нем на собраниях красноармейцев.

Это был тот самый день, в который решалась судьба вышедших из повиновения 235-го Невельского и 237-го Минского полков и Ворошилов и Путна выступали перед ними на площади.

Наши красноармейцы считали, что справедливое решение состоит в том, чтоб наказать виновных. Но еще более справедливое — простить вину.

Когда стало известно, что они не только прощены, но им возвращены знамена и оружие, все кругом словно осветилось. Но не солнцем (не дай бог, чтоб оно показалось), а человеческой радостью.

Все было как будто готово, но — так всегда бывает — оказалось, что еще много работы. Я долго возилась с бинтами, ватой, корпией. Поругалась с несколькими красноармейцами, пытавшимися обмишурить меня, захватив лишние индивидуальные пакеты.

Был, наверное, третий час дня, когда я вышла посидеть во дворе. За последние дни снег сильно осел и кое-где стал совсем редким.

Хотя сильно была артиллерия, во дворе шла обычная жизнь: дымилась походная кухня, повар орудовал поварешкой, сновали красноармейцы.

Но вот неподалеку разорвался снаряд и поднялось высокое пламя. Это загорелась мельница. Та самая, у которой несла охрану наша часть.

Если когда-нибудь будет создан «Лист героев» и на нем будут записаны те, кто в годы гражданской войны совершил особые подвиги, пусть не забудут внести в него рабочих Ораниенбаумской мельницы!

Эта мельница была, по сути дела, единственным в Ораниенбауме военным объектом. Прекрати она работу, Южная группа была б обречена на полный голод.

Мятежники понимали значение мельницы и во время артиллерийских дуэлей направляли огонь прежде всего на нее. Но рабочие продолжали работать, не обращая внимания на обстрел. Только если уж очень близко разрывался снаряд, выбегал какой-нибудь обсыпанный

мукой дядя и кричал товарищам в открытую дверь: «Не долётеть!», «Перелётеть!».

Я сидела на бревне. Двор опустел, все бросились тушить пожар. Рассеянным взглядом смотрела я на землю — и вдруг увидела, как тонкая пленочка снега в одном месте расползлась и прямо передо мной появилась черная плешина, посредине которой проклюнулся зеленый росток.

Он был совсем хилый и слабенький, и даже скорее не зеленый, а белый, чуть отсвечивающий желтизной и зеленью.

Но что если этот росток примета? Что если, увидев его, кто-нибудь напугает красноармейцев, говоря, что раз появился росток, то земля, значит, прогрелась и лед вот-вот тронется?!

Я протянула руку, чтоб вырвать росток. Но не смогла. Он был так беззащитен. Я не могла его убить.

Сгребая с боков снег, я стала прикрывать им плешину и росток.

Проходивший мимо Флегонтыч застал меня за этим занятием.

— Ты что? — сказал он. — В снежки играть собралась? Тоже... Агитаторша называется...

Вообще Флегонтыч относился ко мне хорошо, по-отечески обо мне заботился, жутко материл мужиков, если они позволяли себе хотя бы посмотреть на меня мужским взглядом. И в то же время совершенно презирал меня как агитатора: и писклява я, и тресклява я, и о чем говорить не понимаю.

В политчасы, когда я проводила беседы с красноармейцами, Флегонтыч усаживался чуть в сторонке, посматривал, кривился, а стоило мне сделать паузу, тут же встревал в разговор и полностью завладевал положением.

Единственной достойной темой бесед он считал рассказы про то, как Красная Армия била Колчака и Юденича. О Деникине разговору не было, так как Флегонтыч на Южном фронте не воевал.

Рассказывал он так: «Вот тут это стояли мы... А тут, стало быть, беляки... Ну, как мы выбежали на бугор — и сразу: хлоп, шелк, бац... Беляки и побежали...»

Дальше следовало находящееся за пределами любой цензуры описание того, что творилось с беляками (а больше с их штанами) после поспешного бегства. Красноармейцы гоготали, а Флегонтыч глядел на меня с победоносным видом: «Вот, мол, как надо агитировать, а не талдычить о «текущем моменте».

Я жаловалась на него Горячеву. Горячев его журил. Он хмуро слушал, потом вытягивал из-за пазухи медную цепочку для нательного креста, раскрывал нечто вроде большой ладанки, извлекал оттуда свой партийный билет.

— Ты партийный? — задавал он Горячеву риторический вопрос.— Так я тоже партийный. И партийность не хуже твоего пониманию.

После этого он гордо уходил. А назавтра все повторилось в том же виде.

По решению политотдела темой бесед с красноармейцами шестнадцатого марта было пятидесятилетие Парижской Коммуны.

Как любили мы тогда Коммуну! Как восхищались ее бессмертным делом! Как преклонялись перед ее мужеством! С какой радостью давали предприятиям ее имя, имя Парижской Коммуны, а не «Парткоммуны», в которое потом превратил его бюрократический волапюк. И сейчас, в канун ее пятидесятилетия, когда мы шли в бой, из которого многим из нас суждено было не вернуться, свое последнее слово мы обращали к ней, к Коммуне...

Доклад свой я делала чуть не дословно по книге Арну и по лекциям Скворцова-Степанова. Говорила о парижанах, штурмовавших небо. Кончила призывом: «Даешь Кронштадт!»

«Даешь Кронштадт!» — ответила мне аудитория. Даже Флегонтыч на этот раз остался мной доволен.

Едва кончилась беседа, во двор въехали розвальни, на которых высокими стопками лежали белые маскировочные халаты. Их тут же роздали красноармейцам. Получила халат и я.

Раз привезли халаты, значит, штурм близок...

Девятнадцатилетняя санитарка Н-ской части Южной группы Кронштадтского фронта со всем, что у нее было хорошего и плохого, умного и глупого, так далека от меня сегодняшней, что я без стыда признаюсь в том, что первым душевным движением, которое возникло у нее, когда она получила халат и поняла, что штурм близок, было желание посмотретья в зеркало.

Своего зеркала у нее не было. Засунув халат под мышку, она побежала квартала за три к своей подруге Леле Лемковой.

Там она застала и Асю Клебанову. Девушки по очереди примерили халат, вертясь, чтоб разглядеть себя в крохотном зеркальце. Потом посидели, поговорили. Выяснилось, что все они за это время успели отчаянно влюбиться. Но о любви нужно говорить вполголоса, а за окном так грохотали пушки, что настоящего разговора не получилось.

Насколько я помню, это была моя третья любовь за эти дни. Как и предыдущие — тайная, безмолвная, безнадежная, вечная.

Там, под Кронштадтом, было в кого влюбиться!

Уже начинало темнеть. Вдруг все кругом озарилось пляшущим оранжевым светом. Это загорелись от прямого попадания расположенные на самом берегу деревянные постройки спасательной станции.

Хорошо, что я не задержалась дольше. Только я вернулась, был передан приказ Командарма-7 Тухачевского: «Частям быть готовыми к атаке, о начале которой последует дополнительное распоряжение».

9

В этот самый час в Кронштадтскую следственную тюрьму явился член мятежного ревкома Романенко.

В тюрьме содержалось около двухсот арестованных коммунистов. Из них семьдесят в смертной камере.

Условия были тяжелые, отвратительная пища, холод. К тому же по решению ревкома у арестованных была отобрана теплая одежда и обувь.

Романенко прошел в смертную камеру и огласил только что вынесенный ревкомом приговор о расстреле двадцати трех коммунистов. При слабом свете тюрем-

ного фонаря он долго читал список этих двадцати трех, с трудом разбирая имена. Закончив чтение, добавил, что приговор будет приведен в исполнение в три часа утра семнадцатого марта.

Когда он ушел, заключенные снова принялись за прерванную его приходом работу; они готовили завтрашний номер выпускавшейся ими рукописной газеты, название которой у каждого номера было другим: «Тюремный вестник», «Тюрьма и коммунары», «Тюремный луч коммунара», но подзаголовок оставался неизменным: «Издание политузников Кронревкома».

В связи с новостью, принесенной Романенко, название номера завтрашней газеты, той, что должна была выйти семнадцатого марта, было изменено на новое: «Красный смертник».

Передовую статью для этого номера писал Николай Николаевич Кузьмин, чье имя было первым в списке приговоренных к расстрелу.

Писал он легко, быстро и закончил словами, которые были повторены в стихотворении, появившемся в этом же номере: «Грянь же над Кронштадтом красная гроза!»

Дописав передовую, Кузьмин принялся за статью о пятидесятилетии Парижской коммуны.

Эту статью он писал для того номера, который должен был выйти послезавтра, восемнадцатого марта.

Кузьмин торопился: до трех часов утра оставалось совсем немного времени, а никто из сидевших в смертной камере, кроме него, статью о Коммуне написать не мог.

10

По получении приказа Командарма-7 из цейхгауза, устроенного на веранде, стали таскать ящики с боеприпасами. Красноармейцам были розданы ручные гранаты и ножницы для резки проволоки. Все это происходило в темноте, озаряемой отблесками пожаров.

Мы с Флегонтычем тоже сделали последние приготовления: поледенили полозья розвален, полив их водой, чтобы лучше скользили, накормили коня, погрузили перевязочный материал и медикаменты: «Мы» тут сказано не слишком точно: почти всю работу делал Флегонтыч, а я была, как говорится, «на подхвате».

Темный сарай. Звездочки сигарок-самокруток. Дверь, распахнутая в огненное зарево.

Такое бывает лишь однажды... Недаром эту ночь называли потом «Ночь великих исповеданий».

Люди открывали самое сокровенное. Рассказывали свою жизнь со всем темным и светлым, что в ней было. Просили считать их коммунистами.

Так было у нас. Так было и на противоположном берегу Финского залива, где Северная группа войск ждала приказа к атаке.

Но имелся в нашей части человек, которого не захватил общий порыв.

Станный это был человек. Крестьянин из деревни Ясная Поляна, он какой-то иступленной ненавистью ненавидел Льва Толстого. Называл его только «граф». Звучало это у него как «грэффсс».

Излюбленным его удовольствием было рассказывать, как «грэффсс» выходил вместе с яснополянскими мужиками на покос. Косил «грэффсс» наравне со всеми, а когда наступало время полдничать и от деревни к покосу тянулись ребятишки с узелками, в которых они несли отцам квас и хлеб, «грэффинясс» присылала «грэффусс» завтрак, завернутый в белую крахмальную салфетку.

«Грэффсс» завтракал рядом с мужиками, а кончив — так же, как и мужики, не вытряхивал из бороды застрявшие в ней хлебные крошки.

— Только у мужиков-то крошки были аржаные, а у грэффасс сдобные, — со злобным наслаждением заканчивал рассказчик.

Вот и сейчас, в эту великую ночь, он вылез со своим рассказом о крошках. Но его не захотели слушать и прервали возгласами: «Ладно!», «Хватит!»

Было бы, конечно, заманчиво узнать, как он вел себя в бою. Но я этого не знаю. Не знаю и того, какова была его дальнейшая судьба.

Вот только разве это: несколько лет спустя в каком-то журнале — если мне не изменяет память, это была «Красная нива» — появился очерк журналиста, посетившего Ясную Поляну.

В числе другого прочего этот журналист описывал свою встречу с яснополянским крестьянином, который знал Толстого, косил рядом с ним на покосах.

А дальше слово в слово следовал рассказ об этих поганных крошках.

Один за другим рассказывали люди свою жизнь. У большинства она была бесхитростно-проста: вырос в деревне, взяли в солдаты, потом война, революция, пошел в большевики, записался в Красную Армию. Но вдруг оказывалось, что какой-нибудь ничем не выделяющийся красноармеец во время первой империалистической войны был отправлен с русским экспедиционным корпусом во Францию, сражался под Верденом, после революции с другими русскими солдатами потребовал возвращения на родину, был брошен как «бунтовщик» в военную тюрьму и отправлен в концентрационный лагерь где-то в Северной Африке, бежал, прятался в листьях пальм, добрался до Александрии, залез в трюм стоявшего на рейде парохода, зарылся в уголь, шесть суток не пил, не ел, был бы нож, кажется, отрезал бы ногу и съел, доехал до Одессы, был приговорен деникинцами к смертной казни, снова бежал, перешел фронт, вступил в Красную Армию, отправился на польский фронт, оттуда попал в госпиталь — и под Кронштадт.

Вот вышел Горячев. Рядовой солдат царской армии, он за участие в Свеаборгском восстании был осужден на восемь лет каторги, там встретился с политическими, стал большевиком, по окончании срока каторги бежал с поселения в Америку, работал на заводах Форда в Детройте, после революции вернулся в Россию, поступил на Сестрорецкий завод, ушел в Красную гвардию, воевал с Колчаком, Деникиным, с польскими панами...

Вот заговорил Леня Сыркин — делегат Десятого съезда партии, направленный в нашу часть. Большие глаза его блестят, вязкий желтый свет фонаря падает на взвихренные волосы.

— Я не хочу больше обманывать, сегодня я должен сказать правду... — неожиданно начинает он.

Какой обман? Какая правда?

Оказывается, три года тому назад, когда во время германского наступления на Петроград Леня Сыркин записывался в Красную Армию, он прибавил себе годы и вместо пятнадцати лет назвал восемнадцать, боясь, что иначе его не возьмут.

Едва вступив в ряды Красной Армии, Леня был избран председателем ротного комитета. Вместе с частями Красной Армии прошел боевой путь от берегов реки Вятки до берегов Байкала. В семнадцать лет был начальником политического отдела 30-й стрелковой диви-

зии, а затем — помощником начальника политотдела 4-й армии. Во время разгрома Врангеля вместе с 30-й дивизией штурмовал Перекоп и ворвался в Крым. От 4-й армии был избран на Десятый съезд партии, а со съезда отправился под Кронштадт.

Но все эти годы его томил тот «обман», который он совершил во время вступления в Красную Армию, а потом и в партию. И сейчас, охваченный торжественностью минуты, он решил рассказать об этом «обмане» товарищам.

Вот подошла очередь Флегонтыча.

В двух словах он описал свою крестьянско-солдатскую жизнь и хотел тут же сесть, но собрание заглохло:

— Ты кто как пьян бывает скажи...

— Да вы что? Ошалели? — сердито спросил Флегонтыч.

Но собрание добродушно смеялось и настаивало. Флегонтыч отказывался и дал согласие только когда сам Горячев попросил его «уважить товарищей».

Про то, «кто как пьян бывает», Флегонтыч рассказывал лишь в особых случаях, да и то после долгих упрасиваний. Знал он об этом досконально, пожалуй, не хуже самого Даля.

— Пьяны, значит, бывают так, — начинал он. — Сапожник, когда пьян, — накаблучился, портной — наутюжился, столяр — настукался, музыкант — наканифолился, купец — начокался, приказчик — нахлестался, лакей — нализался, барин — налимонился, а солдат... — Тут голос Флегонтыча звучал торжественно, даже патетически. — Солдат — употребил!..

— Ста-но-вись!

Мы выстроились во дворе при свете железнодорожного фонаря, светившего в одну сторону желтым, в другую — зеленым, в третью — красным светом. Горячев прочитал боевой приказ Командарма-7 Тухачевского:

«В ночь с шестнадцатого на семнадцатое марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт...»

Общий замысел нашего командования состоял в нанесении удара с юга и стремительном захвате Кронштадта путем атаки с трех сторон.

При этом Южная группа войск выступала двумя колоннами прямо на Кронштадт и, пройдя семь верст по льду, должна была взять крепость приступом, со стороны Петербургских ворот, а Северная группа должна была повести удар с Лисьего Носа на северо-восточную часть острова Котлин, занять форты северного фарватера залива и вместе с тем отвлечь на себя значительную часть сил противника.

Важнейшим фактором победы была внезапность нападения. Сближение с неприятелем приказано совершить в предельно сжатые сроки. Войскам идти со скоростью пять верст в час.

Но они шли быстрее.

Было около двух часов пополуночи, когда наша часть выступила к назначенному ей исходному рубежу у кромки льда залива.

Артиллерийская перестрелка к этому времени замолкла. С запада дул сильный ветер. Спустился плотный, густо-белый туман, клубившийся голубым, когда сквозь него пробивались лучи кронштадтских прожекторов. Спасательная станция продолжала гореть, озаряя берег и лед летучим огненным светом.

Впереди колонн шли созданные по приказу командования штурмовые отряды. Их задачей было устранять препятствия на пути штурмующих колонн — перебрасывать мосты через воду и проруби и преодолевать проволочные заграждения и стены крепости.

За ними двигались остальные красноармейцы, а в интервалах — розвальни с санитарями и перевязочным материалом.

Ездовым у меня был Флегонтыч, а в розвальни впряжен был глупый, добрый, старый конь Спотыка. У него были опухшие больные ноги, покрытые незаживающими ранами. Ступал он плохо, часто спотыкался, за что и заслужил свое незавидное имя.

В других розвальнях были сложены еловые вехи, которыми колонны отмечали свой путь по льду.

Пулеметы и патроны везли на ручных санках.

К тому времени, когда мы подошли к берегу, прошло уже более часа с тех пор, как первая колонна вышла на лед и растворилась в тумане. Впереди было тихо. Что крылось за этой тишиной?

Исходный пункт для спуска нашей части находился неподалеку от Спасательной станции. Рядом с нами должны были выступать полки 27-й Омской стрелковой дивизии.

Курить запрещено. Разговаривать тоже. Но оказавшийся рядом со мной Леня Сыркин, показывая на Спотыку, театрально вздымает руки к небесам и беззвучно вопрошает: «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?»

— Брысь отсюда,— шипит Флегонтыч, которому нет дела до того, что Леня вроде бы начальство. И, по своему вредному обыкновению, добавляет: — Тоже... делегат партийного съезда называется.

Последняя реплика — удар под вздох.

А впереди туман. Туман и тишина.

Но вот колонна приходит в движение. Настала минута, которой мы так долго ждали: мы спускаемся на лед.

Берег в этом месте пологий. Но Спотыка не упускает случая споткнуться. Розвальни съезжают на лед боком и продолжают катиться. В это самое время туманную мглу прорезает луч кронштадтского прожектора, делает несколько слепых движений и словно облизывает нашу колонну.

Все замирают. Все, кроме нас с Спотыкой, который никак не может удержать свои расползающиеся ноги.

Представляю, что мы услышали б, если б запрещение разговаривать не распространялось бы также и на мат.

Прожектор еще несколько раз проводит по колонне своим голубым жалом и исчезает.

Нашупал он нас или нет? Об этом сейчас скажут кронштадтские пушки.

Они молчат... Можно выступать..

Туман по-прежнему плотен, но теперь он стал дымчато-синим. Это вошла луна.

Мы идем по льду, по твердому льду, плотному льду, крепкому льду, по твердому, плотному, крепкому льду Финского залива.

Кругом бескрайнее ледовое поле. А по нему — белым по белому, как туман по снегу, — бесшумные белые тени красноармейцев.

Не сдавленная обычной теснотой узких прифронтовых дорог, колонна свободно движется по этой просторной ледяной равнине, покрытой тонким слоем снега.

Прожектора противника нервно нащупывают то лед, то небо. Но колонна с монотонным шуршанием продолжает свой путь к окутанной ночным туманом мятежной крепости.

Красноармейцы идут налегке, даже без вещевых мешков. Только оружие да ломоть хлеба и баночка солдатских мясных консервов.

А впереди тишина...

Но что со Спотыкой?

Закинув голову, он вдруг рванулся и помчал размашистой рысью, обгоняя колонну.

Заворожила ли его эта тишина? Пригрезился ли ему какой-то лошадиный сон? Вспомнил ли он свою далекую боевую молодость?

Напрасно Флегонтыч, хрипя и тужась, натягивал вожжи. Розвальни бросало из стороны в сторону, я повалилась на дно, а Спотыка, ёкая селезенкой, продолжал мчать прежним аллюром. Остановил его какой-то красноармеец, схватив под уздцы.

Воображаю, что творилось в душе у Флегонтыча, лишнего самого простого человеческого счастья — громко выругаться и вдобавок ко всему слышавшему позади себя шепоток:

— У них курица на улице яйчо снясла, вот их и понясло...

12

Вообще же мы должны были бы сказать Спотыке спасибо: благодаря его неожиданной выходке мы с Флегонтычем из того весьма арьергардного положения, ко-

торое занимали в колонне, оказались теперь во вполне авангардном. И поэтому увидели Витовта Казимировича Путну, который встречал на льду свои полки.

Он обратился к красноармейцам с речью. Что он говорил? Этого я не помню. Пожалуй, сами слова тут были не так уж важны. Важен был теплый звук его голоса, его волнение, которое передалось солдатам. Даже он сам, всегда такой сдержанный, с особенным чувством вспоминает эту минуту.

«Когда, уже будучи на льду, я встретил головную колонну 237-го Минского полка,— пишет он,— я сказал несколько напутственных слов... Колонна, как бы подтолкнутая какой-то невидимой силой, быстро приобрела большую стройность и ускорила движение... Настроение частей, идущих на штурм крепости, было напряженно-бодрое...»

Это были те самые части, которые лишь немного часов тому назад, пришибленные, подавленные, лишенные самой высокой солдатской чести — знамен и оружия,— выстроившись на Ораниенбаумской площади, ждали решения своей судьбы.

Тишина...

Тишину разрывает гром!

Сперва резко бьют два винтовочных выстрела. Это головные колонны 236-го Оршанского полка незаметно для противника подошли к форту № 1 Кронштадтской крепости и только теперь были обнаружены наблюдателями.

И словно эти два случайно данных выстрела были заранее намеченным сигналом, все наши береговые батареи и все пушки, выкаченные на лед, а также все батареи противника одновременно открыли огонь. На какую-то долю мгновения из тумана возник Кронштадт, опоясанный сплошной лентой орудийных вспышек. Но тут же мы были ослеплены пронзительным светом: это мятежники пустили в действие все средства, дающие возможность осветить наступающие колонны.

Триста одновременно бьющих орудий — это довольно много. Но особенную музыку кронштадтского боя создавало то, что в нем действовали орудия самых различных калибров и типов, причем стрельба произ-

водилась самыми разнообразными снарядами. Особенно это относится к мятэжникам, которые помимо обычных орудийных снарядов вели стрельбу морскими минами и бризантными снарядами, прозванными во время русско-японской войны «шимозами».

Никогда в жизни не видела я ничего подобного этому, казавшемуся теперь не белым, а синим, беспредельному ледовому полю, над которым плясали лучи прожекторов, рвались снаряды и вспыхивали красные, белые, желтые, зеленые ракеты.

Даже Путьна, когда он вспоминает об этих минутах, изменяет своей обычной сдержанности. Он говорит о них языком художника. Это не случайно: свой жизненный путь он начал, поступив в училище живописи и ваяния.

«Перед нами разыгралась картина красивого боя по своим внешним формам,— пишет он.— Два ярких полукольца почти не потухающих выстрелов, грохот и треск рвущихся снарядов, визг их, сверлящий воздух, и вой отскакивающих от гладкой поверхности льда, вырастающие и рассыпающиеся столбы воды и льда от подводных взрывов, содрогание льда на общем фоне ночи — все это произвело неизгладимое впечатление. Все, взятое вместе, больше воодушевляло, чем удручало».

Вслед за артиллерийской канонадой заговорили пулеметы. Потом донеслись звуки стрельбы далеко справа. Это вступила в бой первая колонна Южной группы войск.

И появились раненые.

Лучше всего я запомнила первого, которого перевязывала. Ему оторвало руку, кровь била струей и залила мне лицо и халат.

И еще одного. Он лежал на спине, неловко согнувшись, и было так светло от разрывов, что видно было, как он медленно открывал и закрывал глаза. Он умер раньше, чем мы с Флегонтычем успели снять с него шинель.

Пулевых ранений в это время еще не было, были только осколочные, очень разнившиеся между собой в зависимости от того, каким снарядом они были причинены.

Меньше всего среди раненых было таких, которые пострадали от снарядов тяжелых орудий. Снаряды это-

го калибра, ударившись об лед, взрывались, уходя под воду вместе с огромной массой льда и увлекая за собой на дно людей, повозки и лошадей. Раненых после себя они почти не оставляли, а если и были после них раненые, то чаще осколками льда.

Иное дело шимозы. Они летят с пронзительнейшим визгом, разрываясь не на земле, а в воздухе, на множество разлетающихся во все стороны осколков. В отличие от тяжелых снарядов, после разрывов которых оставались полыньи со страшной черной, полной смерти водой, в тех местах, над которыми разрывались шимозы, лед бывал почти не поврежден, но круг за кругом лежали раненые и убитые мелкими и мельчайшими осколками, чаще всего в голову.

Артиллерийский огонь продолжался с неубывающей силой, но все громче звучал рокот пулеметов. Теперь били не только пулеметы противника, но и наши: наши войска подошли уже к Кронштадту и приступили к штурму крепости.

Бой ушел вперед, оставив позади себя развороченный лед, темнеющие проруби, мертвых, раненых и санитаров.

Флегонтыч дежурил около розвален, на которых лежало двое раненых с очень тяжелыми ранениями, а я ходила по льду одна, перевязывала раненых, и мне было очень страшно.

Переходя от одного раненого к другому, я дошла до лежавшего ничком человека. Сперва я подумала, что он убит, но он застонал — значит, жив. Я попыталась его перевернуть, мне не хватило силы, и я, размахивая шапкой, подозвала к себе Флегонтыча. Мы вместе перевернули раненого. Хотя он уже очень переменялся, я его узнала: это был делегат Десятого съезда от Донской армии Линдеман. Мы его перевязали — ранение было в грудь, осколочное, — положили на носилки и хотели нести.

В это время в той стороне, где стояли наши розвальни, послышался взрыв и поднялся высокий водяной столб. Мы бросились туда.

Снаряд угодил в розвальни прямым попаданием, но разорвался, видимо, не сразу, а уже подо льдом. Поэ-

тому на месте разрыва осталась не особенно большая круглая прорубь, а от нее по льду по всем направлениям разбежались трещины.

Сами розвальни и лежавшие на них раненые сразу ушли под лед, а Спотыка застрял в трещине.

Жалобно крича, он цеплялся за лед передними ногами, пытаясь выкарабкаться. Но трещина сжималась и, подбежав поближе, мы услышали, как хрустят его кости.

Когда мы вернулись к Линдеману, он уже умер. Что ж нам было делать? Раздумывать не пришлось.

На одних розвальнях убило ездового, а раненых надо было срочно доставить в госпиталь, и Флегонтыч повез их в Ораниенбаум.

На других розвальнях контузило санитарку, тоже москвичку, Риву Куперман. Она отказалась уходить, и мы стали перевязывать раненых вместе.

Теперь наши береговые батареи прекратили огонь, а со стороны кронштадтцев стрельба переместилась на одну сторону. Потом мы узнали, что это было потому, что к этому времени ее вели только линкоры «Петропавловск» и «Севастополь», стоявшие на углу Военной гавани.

Тут они пустили в ход минные аппараты, направляя мины чуть выше поверхности льда, как бы бредущим полетом.

В отличие от обычного снаряда, для которого первоначальный толчок при артиллерийском выстреле является единственным движущим усилием на протяжении всего его полета, для такой мины выстрел — только импульс, приводящий в действие ее собственные механизмы, дающие ей способность к самостоятельному движению.

Эти мины, подобно смерчу, неслись по несколько верст, образуя воздушную волну невероятной силы, а потом взрывались где-то в глубине залива. При их приближении слышался нарастающий вой и было видно, как они сметают на своем пути буквально все.

Воздушной волной задело и меня. На какое-то время я потеряла сознание и потом мне долго казалось, что все ледовое поле, от края до края, качается, как палуба корабля.

Было уже светло, когда мы с Ривой подошли к стенам Кронштадта.

Впрочем, назвать то, что мы увидели, стенами можно только условно. Это был многоэтажный ряд бетонных блокгаузов с встроенными в них пулеметными гнездами, опутанный по всем направлениям электрическим кабелем и колючей проволокой.

Чем ближе к Кронштадту, тем больше было на льду убитых и раненых. Метрах в двухстах от стены убитые, скошенные пулеметами, лежали тремя ровными рядами, с правильными интервалами.

Сейчас эти пулеметы кронштадтцев молчали. Наши войска стремительным натиском ворвались в крепость севернее Петербургских ворот и продолжали развивать наступление. Шел уличный бой.

В мертвое пространство под стенами крепости сползлось много раненых. У этих были уже только пулевые ранения. Мы с Ривой кое-кого перевязали, но у нас кончился перевязочный материал. Тогда, завладев бесхозными розвальнями, мы уложили в них двух тяжело раненых, а третьего, раненного в ногу, взяли ездовым и поехали в Ораниенбаум.

Когда мы вошли в устроенный в помещении вокзала госпиталь, мы испугались: так там было душно, так ужасно пахло, так страшно кричали люди. А там испугались, увидев нас: мы с ног до головы были покрыты липкой кровью.

Мы помылись, нам дали чистые халаты. Рива осталась в госпитале, там не хватало персонала, а я решила вернуться в Кронштадт.

Патронная двуколка, на которой я пристроилась, выехала на лед около полудня. Небо расчистилось от облаков, грело солнце, и вся поверхность льда блестела и парила. Во многих местах лед был покрыт водой. «Петропавловск» и «Севастополь», окутавшись искусственной дымовой завесой, продолжали вести огонь. Но мы не так боялись их снарядов, как бесчисленных прорубей и полыней, образовавшихся в эту ночь.

Кронштадт был виден как на ладони: купол собора, форты, сторожевые башни.

Еще шел уличный бой, еще продолжалась агония последних несдавшихся фортов.

Когда через Петербургские ворота мы въехали в город, я решила первым делом разыскать своих. Мне повезло, я нашла их быстро в караулке какой-то казармы неподалеку от тюрьмы.

В караулке было шумно, тесно, накурено. Свет масляного моргалика с трудом пробивался сквозь плотные облака мажорочного дыма. Хотя бойцы только что вышли из жестокого боя и знали, что через несколько минут им снова идти в бой, но, как всегда в таких случаях, уже был найден повод для смеха — и все потешались, уверяя, что кто-то из отряда, очутившись посреди ледяной равнины, вел себя совсем как тот чумак, который заночевал в степи, развел костер, повесил над огнем котелок с кулешом, потянулся к огню, чтоб прикурить люльку, задел котелок, опрокинул кулеш и выругался: «От, бисова теснота!»

Мне обрадовались: думали, что меня убило. Тут же рассказали, кого ранило, кого контузило, кто убит насмерть. В числе контуженных был Леня Сыркин.

Рассказали и про бой: как бешеной атакой взяли форт «Павел», а потом повели наступление на крепость и под сильнейшим пулеметным огнем прорвали несколько рядов проволочных заграждений. Как, преодолев городской вал, ворвались в город. В данную минуту была утеряна связь с командованием. Горячев с группой красноармейцев пошел искать штаб, а остальным приказал ждать.

За это время бой ушел еще дальше. Наши взяли уже много пленных и привели их в тюрьму. Что делать с ними, никто не знал.

Потом Горячев вернулся, указал бойцам, куда им надо идти и что делать, а сам вместе с кем-то остался в караулке. Мне он задал несколько вопросов и велел, чтоб я легла спать.

Я легла на стоявший тут же топчан, но от усталости долго не могла заснуть. Потом заснула и проспала, видимо, около часу.

Наконец я проснулась. Сон мне не помог, голова стала совсем тяжелой. Я все слышала, но ничего не соображала.

Горячев увидел, что я не сплю.

— Ну как? Отошла? — спросил он.

— Отошла, — сказала я.

Он заговорил с собравшимися в караулке товарищами. Потом повернулся ко мне и сказал:

— Значит, тебе поручается вот такое вот дело...

Пожалуй, на это дело лучше бы послать кого другого. Многие так и считали.

— Нет,— сказал Горячев.— Пойдет она. Им (он подчеркнул это «им») тяп-ляп не годится. Им надо, чтоб было «Шапки долой!» и побольше всего эдакого.

— Не вышло бы чего,— сказал кто-то.— Да и ей, наверно, страшно...

Но он был неправ: мне не было страшно. И не из-за какой-нибудь там моей храбрости, а просто потому, что я ничего не понимала. Не понимала, зачем мне велели сдать револьвер и проверили, не заваялся ли у меня в карманах случайный патрон. Не понимала, почему надо спускаться вниз и вниз по крутой каменной лестнице с выбитыми, скользкими ступенями. Не понимала, почему, пока я иду, впереди и позади меня гремят железные засовы.

Прийти в себя помогли мне шапки, те самые шапки, которые так пленили Горячева, слышавшего меня на красноармейском собрании в Ораниенбауме,— бес- смертные шапки из книги Артура Арну:

«Шапки долой! Я буду говорить о мертвецах Коммуны!»

Сколько раз эти великолепнейшие слова помогали мне, агитатору-неумехе, мгновенно овладеть вниманием аудитории. Ими я хотела начать и сейчас.

Но вдруг я увидела, что у людей, к которым я должна была обратиться, не было шапок!

Да, у них не было шапок, и мертвенный свет утопленного в стене и зашитого тюремной решеткой ацетиленового фонаря падал на непокрытые, коротко остриженные головы, кое у кого замотанные грязными тряпками с пятнами засохшей крови.

У них не было шапок, лишь у одного на лоб был низко надвинут ободок бескозырки, на ленточке которой едва угадывалось слово «Петропавловск». Он сидел на нарах, подогнув ногу так, что подбородок его упирался в острое, худое колено, и смотрел на меня темным, ненавидящим взглядом.

— Товарищи,— сказала я по привычке и тут же осеклась, чувствуя, что говорю что-то не так.— Завтра,

восемнадцатого марта тысяча девятьсот двадцать первого года, пролетарии и угнетенные всего мира, сняв шапки, отмечают...

Так начала я доклад о пятидесятилетии Парижской коммуны, который мне поручено было сделать в тюремном каземате Кронштадтской крепости перед пленными матросами — активными участниками Кронштадтского мятежа.

Теперь я уже начала различать окружающее: глубокая камера, покрытые тряпьем нары, мокрые стены, белые пятна лиц. Что и говорить, все это не могло не произвести впечатления даже после всего пережитого в последние две недели и в последнюю ночь!

Но приказ есть приказ и его надо выполнять. Собравшись с духом, я начала говорить. Разумеется, я не помню точно сказанных мною тогда слов, и могу лишь представить себе, что и как я могла говорить.

— Парижская коммуна,— сказала я,— была великим выступлением авангарда рабочего класса всего мира, поднявшегося на беспощадную борьбу против буржуазии и всех эксплуататоров чужого труда, всех паразитов, привыкших за счет пролетария...

Тот, на голове которого был напылен ободок бескозырки, понимающе усмехнулся.

— Я-то думаю, что это за явления такая,— сказал он.— А это богоноска партийная, как вошь на чело, приползла...

Буржуазия лютой ненавистью ненавидела Коммуну. И когда после недели кровопролитных боев, вошедшей в историю под именем «Кровавой недели», парижские пролетарии потерпели поражение в неравной борьбе, версальцы предали рабочие районы города смерти и уничтожению. Свыше ста тысяч рабочих, жен и детей коммунаров отдали жизнь на баррикадах Парижа или же погибли в застенках и на каторге. Трупы валялись повсюду: на улицах, в домах, в квартирах. Воды Сены покраснели от крови. «Что бы ты ни делал, ты погиб! — так говорит об этих днях участник Парижской коммуны Артур Арну.— Если тебя возьмут с оружием в руках — смерть! Если ты сложишь оружие — смерть! Если ты ударишь — смерть! Если ты умоляешь — смерть! В какую бы сторону ты ни повернул глаза —

направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз — смерть, смерть, смерть!»

Такая же — нет, в тысячу раз более страшная судьба была суждена пролетариям революционного Петрограда, если б находящийся от Петрограда на таком же расстоянии, на каком Версаль находится от Парижа, мятежный Кронштадт...

Теперь я уже хорошо видела лица людей, сидевших напротив меня, — презрительно-горделивое лицо молодого матроса у стены, искаженное животным страхом лицо мальчишки справа, непроницаемое лицо пожилого матроса, слушавшего меня, опустив глаза.

Но вот он поднял глаза — и безысходный их взгляд полоснул меня по сердцу...

— Парижская коммуна просуществовала всего семьдесят два дня. Однако за это короткое время она провела ряд законов, которые громче всяких слов говорят о великих замыслах пролетарской власти. Именно поэтому ее так ненавидит буржуазия всего мира. Именно поэтому ее так ненавидел и мятежный Кронштадтский ревком...

В первый раз за все время по застывшим на нарах фигурам пробежало какое-то движение.

— Смотрите! Вот последний номер «Известий Ревкома»! Смотрите, что здесь напечатано! Здесь напечатано объявление Ревкома о том, что по его решению празднование пятидесятилетия Парижской коммуны отменяется. Теперь вы не можете не понять...

Но в это мгновение откуда-то сверху послышалась стрельба, дверь стремительно распахнулась, кто-то схватил меня и выволок прочь из камеры.

Это был Флегонтыч. Он возвратился из Ораниенбаума, отыскал наших, узнал, что я в каземате, спустился вниз и все это время стоял под дверью, чтоб кинуться мне на выручку, если что случится.

Наверху стреляли. Послышался крик: «Санитара! Санитара!» Мы бегом бросились по лестнице.

Какая-то группа мятежников пыталась прорваться через наше сторожевое охранение, чтоб выйти на лед и уйти в Финляндию. Завязалась перестрелка. У нас было трое убито и ранен в грудь навывлет Горячев.

Я наложила первую повязку, а потом мы понесли Горячева в госпиталь.

Из ружей и шинели соорудили носилки. Горячев усмехнулся бескровными губами: «Совсем как у атамана Чуркина».

Когда мы несли его в госпиталь, мне показалось, что бой стал ближе, чем раньше. Так и было. Мятежники, мобилизовав все свои резервы, перешли в контратаку и потеснили наши части.

Госпиталь был переполнен. С большим трудом мы нашли для Горячева место в коридоре, на полу, и решили не уходить, пока не устроим его как следует.

Мы провели около него всю ночь. Звуки боя то приближались, то уходили дальше. Все время приносили новых раненых. От них мы узнавали новости... Из Ораниенбаума прямо по льду прискакал кавалерийский полк... Подошел отряд петроградских рабочих... Бой идет на Песочной улице... Наши заняли Песочную улицу... Мятежники засели в здании Машинной школы... Наши выбили мятежников из Машинной школы... Бой идет на линии канала...

Потом в другом, почти противоположном направлении возник новый очаг стрельбы — отчасти винтовочной, но больше пулеметной. «Петропавловск» и «Севастополь», орудия которых не умолкали ни на минуту, также усилили огонь.

О том, что происходило в эти часы, мы узнали лишь наутро. Это войска Северной группы, продолжая захват фортов, ворвались в Кронштадт с северо-востока и к полуночи захватили помещение штаба крепости.

Последним оплотом мятежников остались те, кто первыми подняли знамя мятежа: линкоры «Севастополь» и «Петропавловск». Но, оставшись одни, они продержались недолго.

Первым сдался «Севастополь».

С самого начала боя команда корабля, ведя огонь, находилась в казематах и погребах, люки которых были задраены. На верхней палубе, в боевой рубке, оставался лишь командный состав, передававший свои приказания вниз по телефону. Поэтому матросы ничего не знали о том, что происходит снаружи.

Узнали они об этом только поздно вечером, когда к ним явился командир линкора Христофоров и предложил им покинуть корабль, чтоб взорвать его.

Большинство офицеров уже удрало, остальные собирали монатки.

Взбешенные матросы арестовали офицеров и выслали к нашим парламентера с заявлением, что они сдаются, но просят обещания, что им будет сохранена жизнь.

Примерно в это же время разведка одной из наших частей донесла, что на «Петропавловске» слышны крики и перестрелка. Как выяснилось потом, под влиянием старых матросов среди команды начались волнения, вылившиеся в открытое возмущение против офицерского состава.

В пять часов утра «Петропавловск» сдался, выдав всех своих офицеров.

К моменту сдачи он был со всех сторон на близком расстоянии окружен нашими войсками, подошедшими к самым бортам корабля.

Когда наши вступили на палубу корабля, один из офицеров вскричал: «Где это видано, черт возьми, чтобы пехота брала дредноуты?!»

При осмотре кораблей были обнаружены заложенные в различных местах пироксилиновые шашки: суда были подготовлены к взрыву.

В Кронштадте и на военных кораблях наши взяли много пленных, в том числе трех членов мятежного ревкома.

Но Петриченко среди пленных не было, не было и Романенко, не было Турина. Не было ни генерала Козловского, ни капитана Бурксера, ни пожаловавшего в Кронштадт барона фон Вилькена.

Все они заблаговременно укрылись на крайнем кронштадтском форте и под покровом ночи бежали в Финляндию. С ними бежали и несколько тысяч матросов — и всю ночь восемнадцатого марта финские пограничные патрули собирали на льду брошенное беглецами оружие и подбирали замерзших и раненых кронштадтцев.

И чуть ли не на следующий же день началось обратное бегство этих матросов в Советскую Россию. К середине лета вернулось около семисот человек. На устроенном ими собрании возвратившиеся приняли резолюцию «искупить свою вину перед Республикой на трудовом фронте и стоять на страже ее интересов от нападения внешних и внутренних врагов».

Резолюция эта была принята единогласно, и чтение ее покрыто криками «ура» и пением «Интернационала».

Судьба тех, что не вернулись, сложилась трагически: их насильственно вербовали в белую армию, в штрейкбрехеры, посылали на самые тяжелые работы в рудниках.

Но Советская родина протянула им руку помощи. Исходя из того что «разбросанные по разным странам участники кронштадтского восстания, рабочие и крестьяне, вовлеченные в движение путем обмана и по своей несознательности, подвергаются эксплуатации, как дешевая рабочая сила, той же буржуазией, которая в свое время вовлекла их в борьбу против власти трудящихся», Президиум ВЦИК в ознаменование четвертой годовщины Рабоче-Крестьянской власти, то есть через полгода после подавления мятежа, объявил полную амнистию всем рядовым участникам мятежа, за исключением главарей, руководителей и командного состава, и предоставил им возможность вернуться в Советскую Россию на общих основаниях с военнопленными.

14

Но перенесемся снова в Кронштадт в день восемнадцатого марта.

Когда мы с Флегонтычем уходили из госпиталя, уже сдались последние форты — «Милютин», «Константин» и «Обручев», уже закончился последний эпизод сухопутных боев — арьергардное дело у батарен «Риф», прикрывавшей отход бежавших застрельщиков мятежа.

Утро вставало ясное, но солнце еще не взошло. Повсюду виднелись следы ночного боя: изрешеченные пулями стены, валяющиеся на снегу ружейные гильзы, черные, замерзшие лужи крови. На углу военной гавани угрюмо серели молчаливые «Петропавловск» и «Сева-стополь».

Мы шли, не зная дороги, да и плохо зная, куда, собственно, нам надо идти. Прошли вдоль гавани. Услышали протяжный чистый звук — это на кораблях медлительно пели склянки. Повернули к городу. Долго плутали, спрашивая у встречных, как нам найти то, что мы ищем: стоит казарма, рядом с ней тюрьма, тут же такой беленький домик. Впрочем, может и не беленький...

Так, кружа и плутая, мы очутились в каком-то саду. Флегонтыч зорко посмотрел на деревья.

— Гляди, — показал он мне на густую прозрачную каплю, блестящую на коричневой коре дерева. — Клен плачет...

И объяснил, что, если клен «плачет», пришла весна.

Из сада мы еще куда-то пошли — и в конце концов вышли на Якорную площадь. Ту самую, на которой восемнадцать дней тому назад собрался митинг, выступал Калинин и начался мятеж.

Сейчас площадь была пуста, утоптаный снег подернулся ледяной корочкой.

Мне показалось, что я узнаю дорогу.

— По-моему, нам сюда, — сказала я, показывая налево.

— Нет, сюда, — возразил Флегонтыч и показал направо.

Я собиралась заспорить, но тут мы увидели большую группу людей, вошедших на площадь.

Они шли навстречу нам, мы шли навстречу им. Солнце уже поднялось, оно светило прямо на них — и мы хорошо видели этих необыкновенных людей, приближавшихся к нам быстрым, легким шагом. И хотя я по ходу своего повествования уже употребляла выражение: «никогда ни до, ни после этого», но я не могу удержаться и сейчас, чтоб не сказать — никогда ни до, ни после этого я не видела такого средоточия мужества и силы, воли, ума и бесстрашия, какое являли собою эти люди.

Это были прославленные полководцы и лучшие боевые военно-политические работники Красной Армии — Тухачевский и Путна, Бубнов и Рухимович, Федыко и Ворошилов, Дыбенко и Кузьмин — тот Кузьмин, что был приговорен кронштадтским ревкомом к расстрелу, за несколько минут до приведения приговора в исполнение освобожден подоспевшими вовремя красными бойцами и тут же схватил винтовку и бросился в бой.

Сколько раз уже Советская Республика вручала им свою судьбу, полностью доверяя их чести, знаниям, таланту, воинской отваге, безграничной энергии и умной находчивости, — они оправдывали оказанное им доверие, находили выход из безвыходных положений, побеждали казавшегося непобедимым противника и увенчивали Красную Армию новой и новой славой.

Такое же доверие было оказано им и в час тяжелей-

шего испытания, каким был для Советской России Кронштадтский мятеж. Это они своим смелым поиском новых способов ведения боя в никогда не бывалых условиях, своим революционным бесстрашием, отважной мыслью и глубоко задуманным планом операции, своей верой в силу коммунистических идей сплотили массу красноармейцев, внушили им уверенность в победе и, сражаясь подчас плечо к плечу с рядовыми бойцами, осуществили героический штурм и овладели Кронштадтом.

...Страшно, невысказано, невозможно примириться с тем, что все они,— все, кроме одного,— в один и тот же час истории пали одной и той же смертью, самой ужасной смертью, какая только может выпасть на долю человека, коммуниста, бойца...

15

Проводив их взглядом, мы, как то предлагал Флегонтыч, пошли направо, потом еще раз направо.

Ну конечно же он оказался прав: прямо перед нами были казармы, тюрьма, беленький домик — все, что мы искали.

Переступая через спавших на полу бойцов, мы пробрались к печке, топившейся в глубине караулки. Боже, как тепло, как хорошо!

— Пополдничаем? — спросил Флегонтыч.

— Пополдничаем,— согласилась я.

— Мой паек, твой приварок,— как всегда сказал Флегонтыч.

— Мой приварок, твой паек,— сказала я.

Флегонтыч достал из вещевого мешка баночку мясных консервов и стал готовить суп.

Ели ли вы когда-нибудь суп из солдатских мясных консервов?

Чтоб приготовить его, надо поставить на огонь котелок с водой и открыть консервную баночку — такую высокую, скользкую от тавота белую жестяную баночку. Только открывать ее надо умеючи — с верха, а не с доньшка. И когда нож взрежет жесть и приподнимет зазубренный по краям, чуть выгибающийся белый кружок, сверху вы увидите слой застывшего желтоватого жира, на котором лежит лавровый листок и чернеют три блестящих черных перчинки. Этот жир надо

снять ложкой и опустить в кипящую воду, а когда он распухнет, выложить в нее остальное содержимое банки.

И когда вода снова закипит и пойдет крупными пузырями и вы зачерпнете ее ложкой, вы узнаете, какая это необыкновенно вкусная штука — суп из солдатских мясных консервов!

У этого супа только один недостаток: он слишком быстро съедается. Давно ли начали, а уже доньшко котелка!

Корочками хлеба мы досуха вылизали котелок и ложки. Теперь оставалось сидеть у печки и ждать приказов начальства.

Флегонтыч скрутил сигарку, подымил, потом сказал:

— Загадаю я тебе загадку: велико поле колыбанское, много на нем скота астраханского, один пастух, ровно ягодка, летят за пастухом птицы, несут в зубах спицы. Что это такое?

— Знаю я эту загадку, ты уже загадывал. Поле — это небо, скот на нем — звезды, а пастух — месяц.

— Вот и дура, — довольным голосом сказал Флегонтыч. — Думаешь, раз говоришь докладно, так умна, а все равно дура. Пастух — это товарищ Ленин, птицы летят за ним — трудящийся народ.

— А спицы в зубах?

— То плотницкий инструмент... Для устройства социализму.

Флегонтыч был плотник, о себе говорил: «Мы плотнички — беспорточники» — и профессию свою считал лучшей в мире.

Когда я вышла на улицу, все кругом было залито солнцем и дул «вешняк» — тот самый теплый, несущий весну «вешняк», которого мы так все это время боялись. Это значило, что лед вот-вот начнет таять.

Ну и пусть себе тает! Пусть преет, млеет, трещит, ломается, кувyrкается, мнется, гнется, к дьяволу несется! Плевать! Кронштадт наш!

Шапки долой! Сегодня пятидесятилетие Парижской коммуны!



**В МАРТЕ
ДВАДЦАТЬ
ПЕРВОГО**

1

Утром восьмого марта в Москве начал свою работу Десятый съезд партии. По одному из тех совпадений, которые кажутся случайными, но в которых, при всей их случайности, заложен особый, глубокий смысл, Десятый партийный съезд открылся в тот самый день, когда наши части сделали первую попытку овладеть мятежным Кронштадтом. Последнее его заседание состоялось в канун решающего штурма.

Выступая в день открытия съезда с отчетом о политической деятельности Центрального Комитета партии, Ленин выразил надежду, что восстание в Кронштадте «будет ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы». Эта надежда не оправдалась.

Вскоре после съезда Ленин писал в одном из писем: «Съезд Коммунистической партии отнял у меня так много времени и сил, что я теперь очень устал и болен».

Когда вспоминаешь то время, когда читаешь оставшиеся после него документы и думаешь о Ленине в те дни, понимаешь, каким сверхчеловеческим напряжением порождено это скупое признание.

Обстановка в стране была архитяжелой. Помимо Кронштадта контрреволюционные мятежи полыхали в ряде других мест. Делегация Сибири ехала на партийный съезд вся вооруженная, готовая пробиваться с боем через широкую полосу восстаний — от Омска до Урала.

Даже после всего пережитого и перевиденного в годы гражданской войны потрясала жестокость расправ, учиняемых над коммунистами. Захватив коммуниста, восставшие выпускали ему кишки, набивали живот соломой и бросали умирать мучительнейшей смертью, называя это «начинить коммуниста разверсткой».

В начале марта, еще до открытия съезда, Ленин записал в плане своей речи о замене разверстки натуральным налогом:

«3. Кто кого? 2 разных класса.

Урок «Кронштадта»

- — — в политике: больше сплоченности (и дисциплины) внутри партии, больше борьбы с меньшевиками и социалистами-революционерами.
- — — в экономике: *удовлетворить* возможно больше *среднее* крестьянство».

Близко наблюдавший Ленина в дни съезда Карл Христианович Данишевский рассказывает, что Ленин был весь в движении, быстр, иногда даже нервен, зол, резок. Эти настроения сменялись в течение короткого времени в зависимости от темы разговора, от собеседника, от только что полученных сведений. Он внимательно, сосредоточенно следил за работой съезда. Часто уходил, накинув на плечи старенькое, изношенное пальто. Неожиданно появлялся в президиуме. Выступал в комиссиях по резолюциям, совещался с товарищами, с представителями отдельных делегаций, с ближайшими друзьями. Просматривал материалы, которые привезли с собой делегаты съезда о положении на местах, о сборе продразверстки и настроениях деревни, прислушивался к их раздумьям, как же быть дальше.

Ни одна, даже лучшая, стенограмма не способна передать живую ленинскую речь — так много значили в этой речи интонации, тембр, жест. Но когда читаешь отчеты Десятого съезда партии, то словно видишь, как Ленин, получив слово, торопливо выходит на трибуну, как, не дождавшись конца приветственных аплодисментов, он начинает говорить, как он тонким шнурком прикрепил к ладони левой руки карманные часы и поглядывает на них, чтобы не нарушить регламент и в то же время успеть сказать все главное и основное.

Видишь Ленина — и слышишь. Слышишь горечь, которая звучит в его голосе, когда он называет дискуссию, два месяца трепавшую партию, «непомерной роскошью», «совершенно непозволительной» для партии, окруженной врагами, «могущественнейшими и сильнейшими врагами, объединяющими весь капиталистический мир»; партии, которая несет на себе «неслыханное бремя». Слышишь паузу, сделанную им перед тем, как сказать: «Я не знаю, как вы оцените теперь это. Вполне ли по-вашему соответствовала эта роскошь

нашим богатствам материальным и духовным? От вас зависит оценить это...» И чувствуешь непреклонную убежденность, с которой он произносит: «...я должен сказать одно, что здесь, на этом съезде, мы должны поставить своим лозунгом, своей главной целью и задачей, которую мы во что бы то ни стало должны осуществить, это — чтобы из дискуссии и споров выйти более крепкими, нежели тогда, когда мы их начали».

С присущим ему политическим бесстрашием Ленин говорит съезду: мы сделали такие-то ошибки. (Именно мы! Никогда Ленин не сваливает вину на кого-то, у кого произошло «головокружение от успехов» или что-нибудь в этом роде!) Перед нами стоят такие-то трудности. Мы добились таких-то успехов. Теперь мы должны решить такие-то задачи. Главный политический вывод из событий последних месяцев — сплочение партии. Главный экономический вывод — не удовлетворяться тем, что сделано для соглашения рабочего класса с крестьянством, искать новых путей, применять и испытывать это новое.

Уже задолго до съезда отчетливо выявилось, что в дискуссии о роли и задачах профсоюзов подавляющее большинство партии — с Лениным. На съезде были произнесены последние речи этой дискуссии, проведены последние голосования. Ленинская «платформа десяти» собрала триста тридцать шесть голосов, платформа Троцкого и Бухарина — пятьдесят, резолюция «рабочей оппозиции» — восемнадцать.

До наших дней сохранилась «общая» ученическая тетрадь в черном клеенчатом переплете, заполненная записями, сделанными характерным женским почерком. Это — дневник Александры Михайловны Коллонтай.

Неделю спустя после окончания съезда Коллонтай, которая была одним из лидеров «рабочей оппозиции», записала в этом дневнике:

«X съезд партии. «Рабочая оппозиция» выступила оформленной группой... Спешно издали мою брошюру «Что такое «рабочая оппозиция»?». Атмосфера сгушенная и трудная: за несколько дней до съезда — Кронштадтское восстание. Съезд идет под знаком тяжелых событий. Моя брошюра в руках Ленина. Он быстро, быстро листает ее и качает неодобрительно головой. Гроза грянула: речь Ленина на три

четверти громит «рабочую оппозицию» и мою брошюру. Я сижу... Владимир Ильич подходит: «Понимаете, что вы наделали? Ведь это призыв к расколу. Это платформа новой партии... И в такой момент!»

С предельной резкостью ополчаясь против идей «рабочей оппозиции», считая их пропаганду несовместимой с пребыванием в рядах Коммунистической партии, Ленин делал в то же время все, что только мог, чтобы убедить сторонников «рабочей оппозиции» в ошибочности их взглядов и сохранить для партии и рабочего движения этих людей, многие из которых были старыми и преданными членами партии.

После первого же выступления сторонников только начинавшей складываться «рабочей оппозиции», окончившегося для них полным поражением (было это на Всероссийской партийной конференции в сентябре двадцатого года), Ленин внес в Политбюро ЦК проект постановления, предложив, как особое задание для Центральной контрольной комиссии партии, «рекомендовать внимательно-индивидуализирующее отношение, часто даже прямое своего рода лечение по отношению к представителям так называемой оппозиции, потерпевшим психологический кризис в связи с неудачами в их советской и партийной карьере. Надо постараться успокоить их, объяснить им дело товарищески, подыскать им (без способа приказывания) подходящую к их психологическим особенностям работу, дать в этом пункте советы и указания Оргбюро ЦК и т. п.»

В партийных архивах среди ленинских документов хранится письмо Ленина к Юрию Христофоровичу Лутовинову. Письмо это большое, занимает оно четыре с половиной страницы убористого печатного текста. Написано оно в конце мая двадцать первого года.

«т. Лутовинов! — пишет Ленин. — Прочел Ваше письмо от 20.V и нахожусь под очень грустным впечатлением. Ожидал я, что в Берлине, отдохнув немного, поправившись от болезни, посмотрев «со стороны» (со стороны виднее) и подумав, Вы придете к ясным и точным выводам. Здесь у Вас было видно «настроение» недовольства. Настроение — нечто почти слепое, бессознательное, непродуманное. Ну, вот, думаю,

вместо настроения будут теперь ясные и точные выводы. Может быть, думал я, мы и разойдемся насчет этих выводов, но все же будут точные и ясные выводы одного из «основоположников»... оппозиции (каким Вы сами в письме себя признаете).

Грустное впечатление от Вашего письма потому, что нет ни ясности, ни точности, а опять только темное настроение и в придачу «сильные слова».

Нельзя так».

Юрий Лутовинов, которому адресовано это письмо, — рабочий из Донбасса, член партии с 1904 года, профессиональный революционер, в царское время не раз был арестован, из ссылки в места «столь» и «не столь отдаленные» неизменно бежал и снова принимался за нелегальную партийную работу. В восемнадцатом году, во время германской оккупации Украины, входил в подпольный Центральный комитет Коммунистической партии Украины.

Нет нужды говорить, как дорог был Ленину рабочий, прошедший такой жизненный путь, к тому же умный и самобытный человек и талантливый массовик, тесно связанный с пролетариями Донбасса.

И вот теперь, в мае двадцать первого года, после того, как Лутовинов на протяжении ряда месяцев отстаивал взгляды «рабочей оппозиции», после того, как партийный съезд признал, что эти взгляды выражают анархический и синдикалистский уклон и их пропаганда несовместима с принадлежностью к партии, после всего этого Лутовинов прислал Ленину письмо, полное старых ошибок, старых обвинений, старой фракционности.

В ответ на это Ленин, не пожалев времени («Хоть изредка отвечу полно — другой раз часа на это не хватит»), пункт за пунктом разобрал в письме Лутовинова все, что хотя бы отдаленно походило на подлинные факты, чтоб показать ему, что все эти факты — «ноль, ноль и ноль».

Снова и снова повторял он в письме к Лутовинову мысль, которую не раз уже высказывал в ответ на демагогические, не обоснованные фактами обвинения, исходившие со стороны оппозиции:

«Пролетарий (не по бывшей своей профессии, а по действительной своей классовой роли), видя зло,

берется деловым образом за борьбу: поддерживает открыто и официально кандидатуру хорошего работника Ивана, предлагает сменить плохого Петра, возбуждает дело — и ведет его энергично, твердо, до конца — против проходимца Сидора, против протекционистской выходки Тита, против преступнейшей сделки Мирона, вырабатывает (после 2—3 месяцев обучения новой работе и практического ознакомления с новой средой) деловые, практические предложения...»

Вскрыв все гнилое, мелкое, меньшевистское, к чему привело Лутовинова желание во что бы то ни стало играть в оппозицию, Ленин заканчивает свое письмо такими словами:

«Вот Вам мой откровенный ответ... По старой дружбе скажу: нервы надо полечить. Тогда явится рассуждение, а не настроение.

С товарищ. приветом

Ленин».

Когда читаешь эти ленинские строки, увидевшие свет только после Двадцатого съезда партии, и думаешь — не можешь не думать — о снегах Колымы, о людях, которые...

Нет, здесь, рядом с Лениным, не надо об этом.

2

С того заседания Десятого партийного съезда, на котором происходило голосование по вопросу о роли и задачах профсоюзов, мой отец вышел вместе с Лениным. Ленин предложил ему пройтись по Кремлю, подышать воздухом.

Сперва они шли молча, потом Ленин заговорил — и отец впервые узнал от него широко известную теперь по рассказу Н. К. Крупской историю о том, как в девяносто седьмом году он уходил из России во вторую свою эмиграцию.

Жил он тогда в Финляндии, снимал комнату у двух сестер-финок, целыми днями сидел дома и работал, на улицу почти не выходил, но тем особым чувством, которое вырабатывается у революционера-подпольщика, ощущал, как теснее и теснее сжимается вокруг него кольцо полицейской слежки. Вести из России приходили грустные. Ясно было, что реакция затянется надолго и что снова суждена постылая эмиграция.

Владимир Ильич условился с Надеждой Константиновной, которую задерживали дела в Питере, что они встретятся в Стокгольме, чтоб оттуда уехать в Швейцарию, и стал собираться в путь-дорогу. Но к этому времени круг слежки сомкнулся настолько тесно, что ехать обычным путем — пароходом, отходящим из Або, — значило почти наверно быть арестованным: в Або было уже несколько случаев ареста при посадке на пароход. Тут кому-то из финских товарищей пришла в голову мысль — садиться на пароход не в Або, а на ближайшем острове, добраться до которого можно было пешком, по льду Финского залива. Ленин сразу согласился на это; остановка была за проводниками. Дело было в декабре, но зима в тот год была поздняя, лед еще плохо схватился, и охотников рисковать жизнью не было. Похоже было, что ничего не получается, но в каком-то трактире обнаружилось двое подвыпивших финских крестьян, которые взялись за это дело.

Вышли они ночью. Стоял густой туман; позади переливчато светились расплывшиеся в белесой мгле огни Або, а впереди не было ничего, кроме тумана.

У берега лед был крепкий. Но потом стало слышно, как он потрескивает и слабо шуршит, кое-где на его смутной белизне проступила черным блеском вода. Вдруг лед начал уходить из-под ног. К счастью, льдина, осев, не проломилась, и Ленин и его спутники хоть и с трудом, но выбрались.

— Вот так я узнал, что значит идти по неверному льду, — закончил свой рассказ Ленин. И когда он произнес эти слова, отец понял, что и воспоминание это, и весь рассказ Ленина возникли из не покидающей его ни на минуту тревоги, как сложатся дела под Кронштадтом.

С присущей ему быстротой переходов мысли по путям отдаленных ассоциаций Ленин сказал:

— Только одного этого голосования по вопросу о профсоюзах нам мало. Дискуссия нас слишком искромсала. Тут нужно что-то еще. К примеру, решение, особое решение съезда о единстве партии...

И, повернувшись к отцу всем корпусом, спросил:

— А как бы вы, Сергей Иванович, отнесли к совещанию делегатов съезда — подпольщиков? Встретиться чтоб да потолковать по душам... Как вы думаете?

Такое совещание состоялось. В продолговатом Митрофаньевском зале в Кремле задолго до назначенного часа встретились те, кто вступили в партию еще в годы царского подполья.

Владимир Ильич пришел минута в минуту. Быстро, пальто внакидку, прошел он через зал до мест президиума, на мгновение, мельком, вскинул глаза на кафедру и сел, как он любил садиться, на приступках лесенки, ведущей на помост. «Так просто это было, так сближающе,— рассказывает об этом К. Х. Данишевский.— Все сразу почувствовали себя в старой общей подпольной среде».

Собрание открылось. Владимир Ильич произнес вступительное слово, затем выступили представители оппозиции, затем Ленин выступил еще раз, с заключительным словом.

Разговор, по выражению Ленина, шел «начистоту». Стенограммы или хотя бы секретарской записи не велось. Единственное, что осталось после этого совещания,— написанные Лениным первоначальные проекты резолюций о единстве партии и о синдикалистском и анархистском уклоне, одобрения которых Ленин просил у старейших деятелей партии.

По этим документам и по воспоминаниям участников совещания видно, что разговор там шел о том же, о чем он шел на съезде: о положении в партии и стране, об опасностях, которыми угрожают пролетарской революции колебания мелкобуржуазной стихии, но прежде всего, больше всего, раньше всего — о единстве партии!

Мы никогда не узнаем в точности, что именно говорил об этом Ленин и как он говорил. Но едва ли сказанное им могло быть много сильнее и горше того, что он сказал на съезде. Почему же совещание старых подпольщиков и Ленин, каким он был на этом совещании, так по-особенному запомнились всем там присутствовавшим?

Несколько лет спустя я задала этот вопрос моему отцу. Он ответил:

— Это трудно объяснить... Я почувствовал, как ему тяжело... Мне стало страшно, что придет час, когда его не будет с нами...

Восемнадцатого марта днем в Кронштадте состоялось партийное собрание, которое было, вероятно, первым партийным собранием в стране после Десятого съезда партии. Оно показало, какие чудеса способны совершить коммунисты, когда они спаяны единством воли, мысли, действия.

На этом собрании встретились те, кто называл себя «Кронштадтской секцией партийного съезда» — делегаты Десятого съезда партии, принимавшие участие в подавлении Кронштадтского мятежа.

Они пришли, еще полные огнем только что закончившегося боя — усталые, небритые, почерневшие от бессонницы и порохового дыма, в простреленных шинелях, в рваных полушубках, кто с перевязанной головой, кто с забинтованными руками, кто опираясь на самодельный костыль, чтобы не ступать на раненую ногу.

За последние сутки «Кронштадтская секция партийного съезда» сильно поредела: таких потерь, как политические работники-коммунисты, не понесла ни одна группа участников подавления мятежа. Объясняя причину этих потерь, один из документов того времени говорит, что «коммунисты шли под огонь, не соблюдая необходимых правил осторожности», но именно благодаря этой, казалось бы безрассудной, отваге увлекали за собой полки.

Среди тех, кто пришел на эту встречу, а также тех, кто остался бездыханным на кронштадтском льду или покоем, затянутый в прорубь, на дне Финского залива, были коммунисты, примыкавшие во время предсъездовской дискуссии к различным точкам зрения. Но под Кронштадтом они были едины — и в канун боя, и в самом бою, и сейчас, после боя. И все они в единодушном порыве подняли руки, когда было поставлено на голосование обращение к Центральному Комитету партии.

«Выдержка и спайка коммунистов еще раз победили, — говорилось в этом обращении. — ...Кронштадт снова в наших руках. Операция представляла громадные, казалось, непреодолимые трудности. Кронштадт был сильно укреплен, его гарнизон, дравшийся с мужеством отчаяния, находился в руках опытного командования...

Мы, члены съезда, работавшие в Кронштадте, при-

ветствуем избранный X съездом ЦК и поздравляем его с Красным Кронштадтом.

18 марта, 13 час. Кронштадт. бывшее
Морское собрание».

4

Я уходила из Кронштадта ранним утром, когда еще только начинало светать и лед прихватило ночным морозцем.

В Ораниенбауме полагалось отметить, отчислиться, сдать, получить и все такое прочее. Пока я возилась со всем этим, утренний поезд на Петроград ушел, надо было ждать дневного.

Маневровый паровозик, именуемый в просторечии «кукушкой», пыхтя и посвистывая, бегал по путям, собирая состав. Я притулилась на солнце у какой-то стенки и блаженно дремала. До чего же приятно, когда тепло, да к тому ж не с одного бока, как около железной печки, а со всех сторон!

Рядом со мной сидели покуривали какие-то двое, судя по одежде, из местных жителей. Один молчал, другой непрерывно говорил.

— Вот и мухи весенние уже повыползли, — говорил он, показывая грязным корявым пальцем на блестящих зеленоватых мух, ползавших по пригретой солнцем стене. — Разве ж видано, чтоб они в марте выползали? Вот и передовые грачи прилетели, на неделю вперед времени...

Низко над лесом, едва не задевая голые вершины деревьев, в слегка синеющем, принимая весеннюю окраску, небе летела темная птичья стая и слышался хриплый крик.

«К чему же эта примета? — подумала я. — Спросить? Нет, не стоит...»

Так я не узнала про беду, которую предвещали эти ранние живые мухи и тяжело машущие крылами черные птицы.

До Петрограда добирались без малого сутки, а там вокзальное начальство заявило, что поезд на Москву («Ночной Максим») пойдет часов через двенадцать. Валяться на вокзале не хотелось, и я решила сходить

в свой старый райком партии, авось найду кого-нибудь из прежних друзей. Но мне не повезло: там сидели новые, незнакомые люди.

Увязая в талом снегу, я плелась на вокзал. С Ладоги сильно дуло, я очень устала, хотела есть и не обратила внимания на человека, который шел мне навстречу, шлепая калошами.

— Послушай, большевичка, это ты? — услышала я вдруг.

Я подняла глаза и увидела по-бабьи повязанную платком голову с торчащей козлиной бородой.

— Не узнаешь? — произнесла голова.

На улице было еще светло, но я узнала его не сразу. О, господи, так это ж «дядя Федя», как я, когда была девочкой, звала пользовавшегося в те времена шумной славой поэта-декадента С. Моя мама училась в гимназии с его женой, была с ней дружна и, случалось, «подкидывала» меня к ним. В последний раз я зашла к супругам С. незадолго до Октября. С. стал проезжаться по адресу большевиков, в ответ на это я произнесла пламенную большевистскую речь. С. дико озлился и выставил меня за дверь. И вот надо ж было мне сейчас с ним встретиться!

— Ну так как же, комиссарша, узнала меня?

— Да, узнала, дядя Федя.

— «Дддя-ддя Фе-дддя!»! А ты помнишь, как этот дядя Федя твой сопливый нос утирал?

Я этого не помнила, но из вежливости сказала, что помню.

— А как он тебя, комиссаршу, на горшок сажал? Это помнишь?

Ну, это уж было абсолютнейшее вранье, никогда такого не бывало. Но все же я сказала, что и это тоже помню.

То, что произошло дальше, походило на сцену из дурацкой пьесы, разыгрываемой бездарными актерами. Совершенно оторопев, я стояла, как чурбан, и слушала С., а он, размахивая руками, в одной из которых болталась соломенная кошелка с продуктами, а в другой — набитый бумагами облезлый портфель, подобно провинциальному трагику выкрикивал какой-то патетический монолог, непрерывно нажимая на раскатистые «р» — «кrrрровавый рrrрежим террроррристической диктатурrrrrры», — и подчеркнуто употребляя суффикс «цкий»: «большевицкий», «советский»... Все это происхо-

дило на том совершенно театральном фоне, который так умел создавать старый Петербург: мостик, колонна, чугунная решетка, фонарь, раскачивающийся на ветру.

Упившись своим монологом, С. сделал слишком резкое движение, кошелка приоткрылась и из нее посыпалась вобла — фантастический каскад сухих, плоских, вяленых рыб с открытыми ртами и выпученными глазами. Они с глухим стуком ударялись о землю, подпрыгивали от удара, отскакивали, а потом замирали, раскинув веером свои кривые серебристые тела.

Высокие страсти были на время забыты. С. бросился подбирать свои сокровища, я ему помогала. До чего же мне хотелось стащить хотя бы самую малюсенькую рыбешку!

Когда воблины были собраны, С. заговорил снова, но теперь речь его стала иной. Похоже было, что покинутый дочерьми король Лир горестно жалуется на свою судьбу. Делал он это довольно-таки бессвязно, так что я почти ничего не понимала. Впрочем, душа моя была полна одной лишь воблой...

Потом я уловила, что он читает стихи. Какой-то Сильвандр. Какая-то Филис. Барашки, рощи, пастушки...

«Что за чушь,— подумала я тогда.— Типичный взбесившийся мелкий буржуа с буржуазно-помещичьей идеологией».

«Что за чушь,— подумала я теперь, вспоминая эту встречу.— Откуда может быть у мелкого буржуа, да к тому же «типичного» буржуазно-помещичья идеология? Просто ты смотрела на несчастного старика глазами юношеской нетерпимости и возвела на него напраслину».

Но нет, в библиотеке я нашла книжку С. «Свирель» со стихами, написанными весной двадцать первого года. И вот он здесь, Сильвандр, а вот — Филис и барашки!

В лугу паслись барашки.
Чуть веял ветерок.
Филис рвала ромашки,
Плела из них венки.

Сильвандра
Она ждала,
Филис Сильвандру,
Сильвандру
Венок плела.

Тирсис под сенью ив
Мечтает о Нанетте
И, голову склонив,
Выводит на мюзетте:
Любовью я — тра, та, там, та,— томлюсь,
К могиле я — тра, та, там, та,— клонюсь...

Все точно — и даже дата проставлена: 23 апреля 1921 года.

Подумать только: сидел это он, жуя воблу в своей нетопленной башне из слоновой кости, кропал эти стишки — и был ведь при этом искреннейше убежден, что эти его стишки служат высшим идеалам, — правде, которая выше нашей правды!



**ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЭП**

Москва, как это всегда бывает после Питера, и особенно весной, показалась светлой, солнечной, шумной, тесной, многолюдной. Трамваи не ходили, так что мне суждено было добираться до дому на своих двоих.

Дойдя до Красных ворот, я свернула на узкую Мясницкую, прошла мимо почтамта, повернула к Лубянке.

И тут я увидела колбасу!

Да, колбасу! Настоящую, всамделишную колбасу! Перерезанная пополам, она лежала на фарфоровом блюде, являя миру свои роскошные розовые внутренности, на которых, подобно звездам в ночном небе, сверкали белые кружочки сала. Блюдо стояло на прилавке, устроенном за стеклянной дверью парадного подъезда дома неподалеку от Лубянской площади. Рядом с блюдом высилась гора пышных булок, желтело сливочное масло, повсюду торчали этикетки, на которых были начертаны цены с целым шлейфом нулей: «3 000 000 рб. шт.», «15 000 000 рб. фунт», «50 000 000 рб. фунт», а за всей этой роскошью и великолепием празднично колыхались громаднейший живот, затянутый в бордовую жилетку с мелкими черными пуговками, и неправдоподобно розовая харя, свисающая тройною складкой подбородка. Вдруг протянулась мощная волосатая лапа, схватила булку, отковырнула изрядный кусок масла, мазанула этим маслом по булке и отправила все это куда-то наверх, в невидимую мне пасть.

Вот так вот мы, говоря старинным слогом, и «пребывали» один против другого: я — голодный, замучен-

ный, дрожащий в рваной шинелишке член правящей партии, и мурло Капитала, того капитала, даже след, даже запах которого мы три года вытравили с нашей земли, а он, глядишь, выставил вперед брюхо и самодовольно ухмыляется.

Но разве же я не знала о том, что Десятый съезд партии решил заменить разверстку натуральным налогом?

Разумеется, знала. Об этом рассказывали прибывшие под Кронштадт делегаты съезда. Об этом писали газеты. Но своим глупым умом я поняла из всего этого лишь одно: раньше у крестьянина брали разверстку, это ему было тяжело. Теперь у него будут брать налог, теперь ему будет легче. А все остальное, казалось мне, да и не мне одной, останется по-прежнему.

И вот...

Известный русский историк Василий Осипович Ключевский уподобил переломные моменты истории буре, во время которой листья деревьев поворачиваются изнанкой. Так же на переломах истории поворачивается народная жизнь — и люди начинают видеть и понимать то, чего раньше они не видели и не понимали.

Нечто похожее произошло в начале нэпа. И откуда все это вылезло, откуда напоззло?

Ну, была раньше «Сухаревка», знаменитая на всю Россию «Сухаревка», живучая и неистребимая «Сухаревка». Ее запрещали декретами, по ней молотили облавами, но толку от всего этого было не больше, чем от попыток перерезать кисель бритвой: сколько ни режь, хоть вдоль, хоть поперек, он все равно сойдется, как ни в чем не бывало.

Еще почти не были изданы законы, устанавливающие новые порядки; еще не сложилось название этих порядков — «новая экономическая политика»; в русский язык не вошло еще новое слово «НЭП», а уже, словно перестоявшаяся опара из квашни, изо всех щелей стали выпирать торговцы, спекулянты, дельцы, подрядчики, валютчики, комиссионеры, арендаторы, перекупщики, знавшие только один девиз: «Рви!»

Уже гремел во всю глотку новый жаргон: «Сорвал... Спекульнул... Два лимона... Пятьсот косых... Три ли-

монарда... Частно договоримся... Переиначенный на отечественный лад — «Копитал».

Уже Ильинка кишела толпой, в которой только и слышалось:

— Даю франки, беру доллары...

— Делаю турецкие лиры, делаю турецкие лиры...

— Продаю...

— Покупаю...

— Желаете приобрести кибрики? Три вагона кибриков!

— А что это такое — кибрики?

— Я знаю? Мне предложили — и я предлагаю...

Уже на страницах газет, наших советских газет, появились объявления всяческих контор и артелей — «Труженик», «Сеятель», «Самоход», «Помощник», — а то и просто каких-то Зайчиковых, Губониных, Манделей, Агафуровых, Прасоловых, которые покупают и продают все на свете: моторы, бутылки, зубо-врачебные кресла, сахарин, динамо-машины, каустическую соду, телефонные аппараты, «Все для хозяек», мыло «Ноблесс», резиновые камеры, старые галоши, неотрывающиеся пуговицы «Радость холостяка», граммофонные пластинки — перечень можно продолжить до бесконечности.

Некоторые объявления прелестны. Например:

«ИЗБАВИЛСЯ!! От мышей, крыс, клопов, тараканов, мозолей, пота, бородавок и прочих паразитов, употребляя продукты Глика!!!» (К этому — рисунок, изображающий весело пляшущего человечка в цилиндре.)

Или этакий набор:

«ПИВО! Долгоруковский пивоваренный завод. Крепость и качество ПИВА довоенного времени».

«Корнеев и Горшанов и К^о. ПИВО! Крепость и качество ПИВА ВЫШЕ ДОВОЕННОГО!»

«Завод «Новая Бавария». ПИВО по качеству и крепости НЕ УСТУПАЕТ ЗАГРАНИЧНОМУ!»

Ну, чем не Америка?

2

«Приди ко мне, брате, в Москов!», — как некогда звала старинная летопись. — Приди и «обозри очима

своими семо и овамо по обе страны Москвы реки и за Неглинною», взгляни на нэповскую Москву, на общий ее облик, на быт, унесенный волною времени. Давай пройдем хотя бы от нынешней Комсомольской площади по нынешним улицам Кирова и Горького до нынешней площади Пушкина. Но совершим этот путь не в первые месяцы нэпа, а попозже, этак через год-полтора.

Комсомольская площадь тогда называлась Каланчевской. Как и теперь, на ней было три вокзала, но здание Казанского вокзала, начавшее строиться накануне первой мировой войны, было еще недостроено и обнесено лесами. Не было лишь большого дома у въезда в нынешнюю Русаковскую улицу, названную так в память председателя Сокольничьего Совета (именно Сокольничьего, а не Сокольнического, как говорят теперь) доктора Ивана Васильевича Русакова, делегата Десятого съезда партии, поехавшего под Кронштадт для организации медицинской службы и убитого уже после подавления мятежа, в то время когда он обходил палаты раненых мятежников.

Но если по архитектуре Каланчевская площадь мало отличалась от нынешней Комсомольской, то во всем остальном она была настолько другой, что трудно представить себе, что это та же площадь. Мощенная булыжником, вся в ямах и выбоинах, заплеванная, грязная, день и ночь она была запружена шумной толпой, ручными тележками, салазками, саночками, пролетками, на козлах которых восседали извозчики в помятых цилиндрах и широких кафтанах, перетянутых чеканными поясами. Все это вопило, галдело, хватало мешки, шарахалось от вокзала к вокзалу или же устремлялось к пролетам под железнодорожным мостом, а оттуда — на «Сухаревку» или к Красным воротам.

Уже у вокзала начинался торг, пока больше «с рук». Чем ближе к «Сухаревке», тем он становился гуще, крикливей, многолюднее. У Красных ворот (там, действительно, тогда стояли ворота — выкрашенное в красное сооружение в стиле барокко; хотя я читала где-то, что это был памятник какого-то там зодчества, но ничего, кроме ощущения нелепости, оно во мне никогда не вызывало), у этих Красных ворот открывалось как бы преддверие «Сухаревки» — сухаревское «Монте-Карло»: вдоль тротуаров были установлены столики для

игры в рулетку, и замороженные крупье, вертя в руке шарик, зазывали то вроде бы по-французски: «Па-а-жалте в роженуар!», а то попросту по-нижегородски: «Вот без обмана, без обмана... Сам бери, сам пускай, сам и деньги получай!»

Ну а дальше начиналось поистине столпотворение, центром которого была Сухарева башня, вполне достойно заменявшая Вавилонскую. Сплошной волной, плечо к плечу, образовывая заторы и водовороты, кружа по ему только ведомому кругу, двигалось оголтелое человеческое месиво, горластое, орущее, ругающееся, лужгающее семечки, поминающее бога, черта, родителей и пресвятителей. Не поймешь, кто тут продает, кто покупает, несть числа и счета ларькам, лоткам, палаткам, санкам, ящикам, стульям, табуреткам, сундукам, кошелкам, корзинам, кузовам, образующим торговые ряды. Каждый наперебой выкрикивает свой товар: «А вот колбасы своего припасу!», «Спички есть! Спички!», «Кавказская медовая халва, прямо мед, клади в рот, сам бы ел, да хозяин не велел». «Булки, белые булки!» — верещит баба в цветастом платке и полукафтанчике: булки у нее лежат в корзине, покрыты холстом, а поверх холста положена булка «для щупа»; пощупав ее, покупатель может познакомиться с качеством товара.

Чего и кого только нет здесь, в этой сухаревской галактике! Баба с курицей, рядом дама со старинной камеей. Мяукают продажные котята, в жаровне шкворчит колбаса. Идет — покупает, не прицениваясь, удачливый хапуга, пьяный от шалых денег. Одетый в немыслимое тряпье мальчишка, приплясывая в снежной жиже босыми ногами, запекает знаменитого «Цыпленка»:

Цыпленок дутый, в лаптях обутый,
пошел на рынок погулять,
его поймали, арестовали,
велели пачпорт показать...

Я не кадетский, я не советский,
Я не народный комиссар.
Ах, я куриный, я петушиный,
Цыпленки тоже хотят жить!..

Но как мы попали на Сухаревку? Нам не сюда...

Миновав Красные ворота, мы выходим на Мясницкую улицу, ныне улицу Кирова. Чем она отличается от

сегодняшней? Мостовая была булыжная. Посреди проходил трамвайный путь, четыре нитки рельс! Как они помещались? Убей меня бог, не пойму! Не было дома Министерства торговли. Не было застекленного дома из розовато-лилового гранита, построенного Корбюзье. По замыслу архитектора дом этот стоял на колоннах (теперь пространства между ними зашиты), за что и был прозван «Корбюзье на курьих ножках».

Что ж еще? Какой-то дом на месте нынешней станции метро. Снесенная потом церковь, вылезаящая на проезжую часть, напротив Армянского переулка. Две вегетарианских столовых в самой горловине Мясницкой, одна подле другой, носящие страннейшие названия: «Убедись» и «Примиришь». И снова церковь на самом углу, чуть ли не через весь людный перекресток.

Вот, пожалуй, и все. Ну, еще вывески другие. Перемен как будто бы не так уж много. Но я сижу и думаю: почему же мне кажется, что я забыла о чем-то очень важном?

Поняла! Ведь в тогдашней Москве Мясницкая улица была самой «европейской», самой «американской», самой «небоскребной». Ее так и называли: «Московское Сити». Когда родилась кинематография, на ней снимали картины типа «Убийство банкира», «В джунглях Уолл-стрита». Где-то под спудом сознания она и осталась такой — сейфовой, банковской, небоскребно-нью-йоркской, а сегодня я вижу слишком узкую, слишком тесную, бессистемно застроенную улицу с невысокими домами.

Мы с Мясницкой улицы выходим на Лубянскую площадь. Тут уж, как рекомендовала летопись, придется посмотреть очами «семо и овамо».

В наши дни эта площадь стала много просторнее, чем была тогда. На месте никогда не бившего фонтана высится памятник Дзержинскому. Там, где был Голофеевский пассаж, выстроено здание «Детского мира». Снесена Китайгородская стена, тянувшаяся вверх от «Метрополя», а на углу Лубянской площади — сворачивавшая налево и мимо Ильинских ворот спускавшаяся вниз к Варварке — нынешней улице Разина, занимающая массу места и загораживая дома на Старой и Но-

вой площади. Не стало прилепившихся к этой стене ларей и палаток букинистов. Но теснятся продавцы пирожков, леденцов, резиновых чертиков «Уйди-уйди!»

А главное — нет трамваев, нет круговерти трамвайных путей, опоясывавших, переплетавших и пересекавших Лубянской площадь кругом, вдоль и поперек.

Только по одной из впадающих в нее улиц — по Малой Лубянке — не ходил трамвай. Но зато на шести остальных...

Трамваи скатывались со стороны Сретенки и Мясницкой, лихо огибали площадь и, громяхая на пересечениях путей, неслись вниз, к Театральной площади и к Варварке. Стиснувшие зубы вагоновожатые, расчищая перчаткой заиндевевшие смотровые стекла, как молотком по гвоздю, били ногой по шляпке ножного звонка. Стрелочницы, еле поворачиваясь в своих овчинных шубах, железным ломом переводили стрелки и регулировали движение, размахивая красными и зелеными флажками или фонарями.

Трамвайные пути сбегают вниз, к Театральной площади — она уже носит имя Свердлова. Но туда же с Неглинной сворачивают еще две линии путей, чтоб, обогнув Малый театр, повернуть к Большому, а оттуда — на Воскресенскую площадь, нынешнюю площадь Революции. В итоге между «Метрополем» и Малым театром блестят восемь ниток трамвайных рельс. Случается, что по всем путям трамваи идут одновременно — и тогда четыре состава движутся параллельно друг другу: один — направо, второй — налево, третий — снова направо, четвертый — снова налево.

7

И вот мы в центре Москвы, перед высоким зданием Дома союзов.

— Высоким? — удивитесь вы.

Да, высоким! Ибо на фоне того, что было рядом с ним, оно действительно казалось высоким. И даже очень высоким.

Что же было?

Был Охотный ряд — извозчицьи дворы и трактиры на месте, где сейчас стоит дом Совета Министров,

распялившаяся чуть ли не посередине улицы церковь Параскевы Пятницы, а на углу Тверской двухэтажная гостиница с неожиданным для такого антуража названием «Париж»; серая часовня с непомерно большим крестом напротив «Националя», построенная охотно-рядскими купцами в благоую память о бывшем здесь когда-то Моисеевском монастыре; и, наконец, сам «ряд» — на месте теперешней гостиницы «Москва» — двойная линия занимающих нижние этажи вросших в землю каменных домишек мясных, колбасных, сырных, молочных, овощных лавок и деревянных ларьков, выстроившихся сплошной стеной у кромки тротуара, лицом к лавкам, задом к улице.

А перед ларьками и лавками прохаживаются, при-топтывают приказчики в синих поддевках и малиновых кушаках; стоят перед лавками бочки квашеной капусты и соленых огурцов; висят в лавках на железных крючьях свиные окорока и бараньи тушки; лежат в лавках на цинковых стойках, в лужах застывшей крови, телячьи головы и парная говядина, сверкают в лавках прозрачным золотом астраханские балыки.

Что Сухаревка? Требуха, обжорка... А здесь не еда, а снедь — выхоленная, выхоженная, взлелеянная. Здесь ежели сыр, то со слезой; если икра, так жемчугом, ежели ветчина, то розовой атласа.

И опять не поймешь, откуда же все это в нишей, голодной, кровоточащей стране? Где, в каких щелях прятались все эти годы вот этот вот выжига купец, пощелкивающий косточками счетов, или же это идолище с заплывшими жиром глазами, посверкивающими в сумраке лавки?

Прочь, прочь отсюда, от этого крика, давки, толкотни, от заплесневелых бочек, от запаха конской мочи и сухой паленой крови, от мясных туш и людского скотства!

С трудом мы протискиваемся через толпу. И вот мы на углу узкой Тверской, которая начинается не там, где теперешняя улица Горького, а от Воскресенской площади. И здесь тоже, куда ни кинешь взгляд, все тот же кипящий торг — с ручных лотков, просто с рук, из-под полы. Но в глубине площади виден синий купол, сверкающий золотыми звездами, слышится благодное пение. Там, перегородив путь к Красной площади, под надписью «РЕЛИГИЯ — ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА», которую Революция начертала на стене бывшей городской

думы, мерцает оранжевым светом лампад и паникадии часовня Иверской божьей матери.

Время от времени — это случается нечасто — из часовни Иверской богоматери выходит процессия попов, кликуш, богомолков. В центре ее повозка, на которой под парчовыми ризами лежит она — «матушка», «заступница». Это по заказу «болящего» или же угодившего в «чрезвычайку» купца совершается «вынос» знаменитой иконы для служения молебна. В какой же хвост миллионов нулей обходится это «сынам» и «дочерям» церкви Христовой? Впрочем, тут едва ли платят «советскими», тут в ходу царские, да и то, наверно, не ассигнации, а золотые империялы и полуимпериялы.

За Иверской — Красная площадь. Но наш путь сегодня лежит не туда, а на кривую, горбатую Тверскую, которая, начавшись у Охотного, круто поднимается к зданию Московского Совета (тогда он был на один этаж ниже, чем теперь), минует Страстную площадь и кончается у Садово-Триумфальной, переделанной трамвайными кондукторшами в «Трухмальную».

Пусть тротуары Тверской узки и шербаты, пусть она скудно освещена слабыми, мигающими фонарями, пусть по ней не проносятся автомобили, а плетутся извозчики и лишь изредка промелькнет лихач на дутых шинах, пусть одни дома ее, как и во времена, когда ее описывал Белинский, выбежали на несколько шагов на улицу, как будто для того, чтобы посмотреть, что делается на ней, а другие отбежали на несколько шагов назад, как будто из спеси или из скромности, смотря по наружности. Пусть все это так — все равно Тверская и прилегающие к ней улицы влекут к себе «стиляг» того времени, одетых в широченные, падающие книзу колоколом брюки, кургузые пиджачки, плоские каскеточки и ботинки с курносими носами, называемые «бульдог».

Здесь в подвальчиках и полуподвальчиках расположены увеселительные заведения — «Коробочки», «Бомбоньерки», «Паласы», «Труфальдино», «Кривой Джимми», которые завлекают к себе афишами: «Радий в постели», «Ко всем чертям», «Кулисы души», «Сплошной скандал», «Мефистофель в интересном положении», «Потеряли панталоны». Воняет потом, пылью, пудрой. Дешевые проститутки выламываются под дорогих кокоток. Присяжный комик, дрыгая ногами, откаблучивает куплеты вроде: «Мне политики не надо, надоела хуже ада» и, как естественное развитие темы,—

«Ах, дамы, дамы, всегда мы с вами, а потом болить...»

Из-за стеклянной двери доносится взвизгивающая музыка «Ойры», сквозь запотевшие стекла видим кадки с пальмами и покрытые крахмальными скатертями столики, снуют официанты, мелькают подносы, сверкают бокалы и люстры.

Здесь нэп жрет.

Он жрет истово, жрет неистово, хватает, глотает, давится, на блин мажет масло, на масло икру, на икру осетрину, на осетрину буженину, сверху сыр и, пропустив рюмочку, отправляет всю гору в рот. Жрет, как должен жрать тот, чей девиз: «Рви и жри!»

Тут между Читателем и Автором может возникнуть такой разговор:

Читатель. Вы пригласили меня: «Приди, погляди на нэповскую Москву». Зачем это было нужно?

Автор. Чтоб вы увидели хари, которые завладели бы Россией, если б победил всероссийский Кронштадт.

Читатель. И я увидел нэп?

Автор. Да, нэп.

Читатель. В чем же суть этого показанного вами нэпа?

Автор. В том, что он — не нэп.

Читатель. ???

Автор. Помните ли вы замечание, которое сделал Ленин, когда размышлял над учением Гегеля о сущности?

«...несущественное, кажущееся, поверхностное чаще исчезает, не так «плотно» держится, не так «крепко сидит», как «сущность», — писал Ленин. — Нетwa¹: движение реки — пена сверху и глубокие течения внизу. *Но и пена* есть выражение сущности!»

Тот нэп, который мы видели, был пеной, черной пеной. Что же касается сущности нэпа, его глубинных движений...

8

— ...эта сущность заключена в отношениях, в которых находятся между собой рабочий класс и крестьянство,— сказал Ленин.

¹ Примерно.— *Ред.*

И перефразируя любимые им слова Дантона — «Смелость, смелость и еще раз смелость!», — добавил:

— Именно так, рабочий класс и крестьянство, крестьянство и еще раз крестьянство!

Три месяца тому назад со всей отчетливостью выявилось, что форма отношений этих двух классов, определяющих судьбу нашей революции, нуждается в глубоком пересмотре. В чем должен был состоять этот пересмотр? По какой линии его провести? Каким образом его осуществить? Если в октябре семнадцатого года, когда дело шло о завоевании политической власти, имелся опыт Парижской коммуны, то для задачи, властно требовавшей сейчас своего немедленного решения, позади был только один опыт: гибель революций, в которых городские низы не нашли общего языка с крестьянством.

Ленин искал, думал, советовался с товарищами, вызывал к себе работников с мест, подолгу беседовал с ходоками из самых глухих деревень. При всей его исключительной способности к анализу и обобщению искомое решение, особенно если припомнить условия, в которых происходил поиск, могло быть найдено только ценой громадных усилий.

Среди дошедших до нас бумаг Ленина, относящихся, правда, к более раннему периоду, чем тот, о котором идет сейчас речь, сохранилась запись, сделанная им для самого себя. Эта запись как бы приоткрывает тайник, в котором рождается ленинская мысль и позволяет нам увидеть последовательные ступени, ведущие ее от зарождения до полного развития.

«Сначала *мелькают* впечатления, — так начинает Ленин эту запись,

затем выделяется *нечто*, —

потом развиваются понятия *качества* # (определение вещи или явления) и *количества*.

Затем изучение и размышление направляют мысль к познанию тождества — различия — основы — сущности *versus* ¹ явления, — причинности *etc.*

Все эти моменты (шаги, ступени, процессы) познания направляются от субъекта к объекту, проверяясь практикой и приходя через эту проверку к истине».

«Приходя через эту проверку к истине...»

¹ Против (лат.). — *Ред.*

Разбивка ленинской записи на абзацы сделана мной. — *Е. Д.*

И тут великолепную последовательность ленинской мысли хочется продолжить признаниями другого гения:

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге.
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

Плывет. Куда ж нам плыть?..

Это сближение Ленина с Пушкиным на первый взгляд может показаться неожиданным, по сути своей оно абсолютно закономерно. Во всяком случае для меня. Ибо я вижу перед собою Ленина, каким он был в месяцы поворота к новой экономической политике, вижу блеск его глаз, легкость стремительных движений, какую-то удивительную наполненность интеллекта. Если б надо было в одном слове выразить то душевное состояние, которое в нем чувствовалось и которое передавалось от него окружающим, этим словом было бы вдохновение.

Да, вдохновение! То вдохновение, о котором Пушкин говорил, что оно нужно в геометрии, как и в поэзии. Ибо вдохновение владело Лениным, когда, глядя в лицо самой горькой правде, он бесстрашно призвал партию и народ к отступлению, уверенный, что благодаря этому отступлению Россия — тогдашняя Россия, напоминая ему человека, избитого до полусмерти, — эта Россия вырвется из клещей тягчайшего кризиса и достигнет вершин социалистического процветания. Ибо вдохновение водило его рукой, когда он писал в ответ на предостережения о скалах, рифах и подводных камнях на пути его корабля:

«Не опасно ли это отступление? Не усиливает ли оно врага? «Das Element des Krieges ist die Gefahr» — «Стихия войны есть опасность». Да, опасно. Да, усиливает. Но всякая иная стратегия не только усилит врага, но даст ему победу...

Пессимизм или оптимизм?

Учет сил. Трезвость и бешеная страстность».

Длинный темноватый зал. На трибуне Ленин.

— Нам надо, — говорит он, — согласно нашему миросозерцанию, нашему революционному опыту в тече-

ние десятилетий, урокам нашей революции, ставить вопросы прямоком...

В речах и статьях этого периода он особенно упорно и настойчиво требует «ставить вопросы прямоком», «не закрывать глаза», «говорить начистоту», «называть вещи своими именами», «уметь признать зло безбоязненно». С гневом обрушивается он на людей, которые «под политикой понимают мелкие приемы, сводящиеся иногда чуть ли не к обману». Такие люди, говорит он, «должны встречать в нашей среде самое решительное осуждение... Классы обмануть нельзя».

Так, прямоком и начистоту, ведет он разговор с партийным съездом и со съездом транспортных рабочих, с собранием секретарей партийных ячеек Московской организации и с участниками подавления Кронштадтского мятежа, с руководителями крупнейших советских и партийных органов и с рядовыми тружениками города и деревни.

На каком собрании он ни выступает, едва он начинает говорить, слышится шуршание бумаги, скрип карандашей, треск вырываемых из тетрадей и блокнотов листов — и со всех концов зала к трибуне, к Ленину бегут записки, которые вырастают в гору, белеющую перед ним на пюпитре. Никогда, наверно, Ленин не получал столько записок, как тогда, во время перехода к новой экономической политике. «Вы, таким образом, открываете настежь двери для развития буржуазии, мелкой промышленности и для развития капиталистических отношений», — читает он в одной записке. «Я, товарищ Ленин, человек деревенский, из лаптя вырос, полагаю, что устремление ваше правильное», — читает он в другой. «То, что вы предлагаете, есть отступление на позиции буржуазной революции. Но тогда надо прямо признать, что в Октябре мы сделали ошибку», — утверждает автор третьей. «Да разве ж, товарищ Ленин, для того мы кровь проливали, для того Перекоп брали, чтоб власть обратно отошла к кулаку да к буржуу?», — с отчаянием спрашивает четвертый.

Порой этих записок так много, что ответы на них занимают большую часть выступления Ленина — и тогда между собранием и Лениным возникает примерно такой диалог.

З а п и с к а. Товарищ Ленин! Раньше ваша политика

была другая и вы считали ее правильной, а теперь считаете правильной эту. Как же это так получается?

Л е н и н. Вы ошибаетесь: ту политику, которую мы сейчас начинаем проводить, мы наметили еще весной 1918 года. Три года тому назад! В первые месяцы большевистской победы! Но начавшаяся гражданская война заставила нас от нее отойти. В нашей политике было много от вынужденной необходимости: мы жили до сих пор в условиях таксой бешеной, неслыханно тяжелой войны, когда ничего, кроме как действия по военному, нам не оставалось и в области экономической. Но дальше на той политике, которую мы проводили во время войны, держаться нельзя.

З а п и с к а. Почему Советская власть, которая является диктатурой пролетариата, пошла вдруг по пути уступок?

Л е н и н. Потому, что крестьянство формой отношений, которая у нас с ним установилась, недовольно... Мы с этим должны считаться... Мы должны сказать крестьянам: «Хотите вы назад идти, хотите вы реставрировать частную собственность и свободную торговлю целиком, — тогда это значит скатываться под власть помещиков и капиталистов неминуемо и неизбежно... Давайте же разбирать. Расчет ли крестьянству расхотеться с пролетариатом так, чтобы покатиться назад — и позволить стране откатываться — до власти капиталистов и помещиков, или не расчет?» Мы думаем, что если рассчитывать правильно, то при всей сознаваемой глубокой розни экономических интересов пролетариата и мелкого земледельца расчет будет в нашу пользу.

З а п и с к а. Как вы теперь оцениваете резолюции Девятого съезда партии, обещавшие переход к коммунизму в ближайшем же будущем?

Л е н и н. Резолюция Девятого съезда предполагала, что наше движение будет идти по прямой линии. Оказалось, как оказывалось постоянно во всей истории революций, что движение пошло зигзагами. И только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России, пока не наступила революция в других странах.

З а п и с к а. Выходит, что коммунистическая Советская власть способствует развитию свободной торговли? Разве свобода торговли не ведет к развитию капитализма в деревне? И как удержать власть рабочего класса при развитии капитализма?

Ленин. Свобода торговли, безусловно, означает: назад к капитализму. Но можно ли в известной степени восстановить свободу торговли, свободу капитализма для мелких земледельцев, не подрывая этим самым корней политической власти пролетариата? Можно ли это? Можно, ибо вопрос — в мере. Если бы мы оказались в состоянии получить хотя бы небольшое количество товаров и держали бы их в руках государства, в руках имеющего политическую власть пролетариата, и могли бы пустить эти товары в оборот, — мы бы как государство к политической власти своей прибавили экономическую власть.

З а п и с к а. И все-таки, товарищ Ленин, я не согласен! Я считаю, что мы должны лучше еще потерпеть, но не идти на уступки капиталу.

Ленин. Нет, терпеть так дальше мы не можем. У нас нужда отчаянная, всюду голод и нищета. Надо только, чтобы чуточку облегчилось положение. Нам необходим год или два отдыха от голода, не меньше. С точки зрения истории это ничтожный срок, а в наших условиях это срок большой. Год или два отдыха от голода, год или два правильного снабжения топливом, чтобы фабрики работали...

З а п и с к а. Товарищ Ленин, ответьте, пожалуйста, разве не страшен для социализма «индивидуализм» крестьянина?

Ленин. Мерило тут — электрификация. *Если* электрификация через 10—20 лет, ни капли не страшен индивидуализм мелкого земледельца и свободная торговля *его* в местном обороте. *Если* не электрификация, *все равно* неизбежен возврат к капитализму. Вообще же 10—20 лет правильных соотношений с крестьянством и обеспеченная победа в всемирном масштабе (даже при затяжке пролетарских революций, кои растут), иначе 20—40 лет мучений белогвардейского террора.

Aut — aut. Tertium non datur ¹.

З а п и с к а. Энгельс в работе «Крестьянская война в Германии» пишет: «Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер,

¹ Или — или. Третьего не дано (лат.).— Ред.

обеспечивающих это господство». Не считаете ли вы, что это произошло в нашей революции?

Ленин. На Энгельса ссылаетесь зря. Зряшная ссылка, если не хуже еще, чем зряшная. Пахнет доктринерством. Похоже на отчаяние. А нам отчаиваться либо смешно, либо позорно.

Российский пролетариат поднялся в своей революции на гигантскую высоту не только по сравнению с 1789 и 1793 годами, но и по сравнению с 1871 годом. В четыре года мы очистились от навоза, накопившегося за четыре столетия. И сейчас нужны не нытье, не отчаяние, а дисциплина трудовая, повышение производительности труда, увеличение количества продуктов, беспощадная борьба с разгильдяйством и бюрократизмом.

Сим победиши.

З а п и с к а. Не приведет ли этот поворот к гибели Советской власти от мелкобуржуазной стихии?

Ленин. Нисколько не закрывая глаз на опасность, ни капельки не впадая в какой-либо оптимизм, говоря прямо себе и своим товарищам, что опасность велика, мы в то же время твердо и уверенно рассчитываем на сплоченность авангарда пролетариата... Мы уверены, что из опыта борьбы, из тяжелого опыта революции эта сила вышла достаточно закаленной, чтобы всем тяжелым испытаниям и новым трудностям противостоять. И на вопрос, пессимизм или оптимизм, мы отвечаем: трезвейшая оценка зла и трудности, бешеная страстность и беззаветность в борьбе — вот в чем залог победы нашей революции!

В каждый период своей борьбы наша партия находила крылатое слово, предельно точно выражавшее главное и основное в задачах, которые она должна была решить. Чаще всего эти слова рождались в речах и выступлениях Ленина.

При переходе к нэпу такими словами стали: «единство» — для партии, «всерьез и надолго» — для новой экономической политики, «смычка» — для отношений между рабочим классом и крестьянством.

Поражает интеллектуальная наполненность, которая чувствуется в Ленине в любой день и час этих труднейших месяцев. Он весь — движение мысли. Во вся-

ком вопросе находит тысячи самых неожиданных аспектов. Незначительный на первый взгляд повод превращает в исходный пункт для обобщений огромного размаха и глубины.

Вот он пришел на Всероссийский съезд транспортных рабочих, увидел стоящий в углу запыленный плакат с надписью: «Царству рабочих и крестьян не будет конца». Тут же он отказывается от того плана речи, что был им задуман, и произносит другую речь, речь от первого и до последнего слова связанную с этой надписью: о классовых силах, борьба которых определяет судьбу Советской власти, о политическом положении в стране, об отношениях между городом и деревней, между рабочим классом и крестьянством, о международном положении — и каждая мысль этой речи тем или иным поворотом подводит к тому, насколько абсурдна и нелепа самая идея «царства рабочих и крестьян», которому к тому же «не будет конца».

Он выступает по какому-либо конкретному вопросу, например о профсоюзах. Не о «профсоюзах вообще», а о наших конкретных профсоюзах, живущих и действующих в конкретной обстановке того времени. Но взгляните на примечания к этому выступлению в Собрании его сочинений. Вы прочтете: «В. И. Ленин имеет в виду книгу Гегеля: «Wissenschaft der Logik» Band IV. I. Theil. Die objektive Logik. II. Abtheilung: Die Lehre vom Wesen»¹. Дальше вы снова прочтете: «В. И. Ленин, по-видимому, имеет в виду следующее место у Гегеля: «Мысль не должна оставаться отвлеченною и пустою: в этом случае она будет разрывать содержание истины; — напротив, она должна сделаться конкретною мыслью, т. е. знанием, проникающим в сущность вещей (см. Гегель. «Философия духа»)».

И это, повторяю, по вопросу о работе профсоюзов!

Недаром так часто в его речах и статьях мы встречаем упоминания о теории: «Теоретически говоря...», «Мы все, кто учился хотя бы азбуке марксизма...», «Это теоретически мыслимо...», «Это мы прекрасно знаем теоретически...» — все это сказано в пределах двух-трех страниц печатного текста.

Нужно было абсолютное владение методом материалистической диалектики, чтоб выдвинуть рассчитан-

¹ «Наука логики». Первая часть. Объективная логика. Книга вторая. Учение о сущности.— *Ред.*

ный на годы план превращения частного товарного хозяйства в «костыли», опираясь на которые избитая до полусмерти Россия вылезет из нужды и нищеты. И нужна была столь же абсолютная убежденность в непогрешимости этого метода для анализа настоящего и прозрения будущего, чтобы уверенно сказать: «Капитализм нам не страшен, поскольку пролетариат твердо держит в своих руках власть, транспорт и крупную промышленность и сумеет своим контролем направить его в русло государственного капитализма. При этих условиях капитализм поможет в борьбе с бюрократизмом и распыленностью мелкого производителя. Мы знаем, чего хотим, потому мы победим».

10

А рядом с величественным зданием теории — вечно зеленое дерево жизни.

Практика, практика, практика! «Практика должна показать», «Как это сделать — вопрос практики», «Вы скажете, что это неопределенно. Да, и надо, чтобы это было до известной степени неопределенно. Почему это надо? Потому что, чтобы было вполне определено, надо до конца знать, что мы сделаем на весь год. Кто это знает? Никто не знает и знать не может».

Переход к новой экономической политике требует от пролетарского государства сложных мер — «целой системы сложных переходных мер», — говорит Ленин. Надо приспособиться к экономическим условиям мелкого хозяина и так рассчитывать при этом общегосударственное хозяйство, чтобы обеспечить как можно более быстрое развитие крупной социалистической промышленности, а для этого — точно и строго взвешивать каждый шаг, охватывать общее и частное, единым взором видеть всю Россию со всеми противоречиями ее жизни, и в то же время не упускать из поля зрения ни одну песчинку.

Превратить в могучую социалистическую державу страну, окруженную врагами, раздробленную на миллионы крестьянских хозяйств, нищую, истекшую кровью, с мертвыми в тот час заводами, еле теплящимися железными дорогами, с доведенными до изнеможения рабочими, которые не могут работать — так они истощены, так переутомлены, — расшевелить

массы, заинтересовать каждого в судьбе его государства, добиться, чтобы все станки завертелись, чтобы все заброшенные поля зазеленели, чтобы все мертвое стало живым, — задача пограндиознее победы под Кронштадтом!

Для Ленина решение этой задачи означает работу, снова работу и еще тысячу раз работу. И он бросается в эту работу с присущей ему бешеной энергией и неутомимостью, внося в решение каждого вопроса свой огромный политический такт, точный практический глазомер и тонкое ощущение действительности.

Десятый съезд партии одобрил в основном внесенные ЦК положения о замене разверстки натуральным налогом. В основном — «слово очень многоречивое и многозначашее», заметил в своем докладе на съезде Ленин. Теперь это «многоречивое и многозначашее» слово предстояло претворить в закон и в то, что Г. М. Кржижановский удачно назвал «стремительной практикой».

Этой работой Ленин занят весной и летом двадцать первого года. Вслед за партийным съездом принят декрет о переходе к налогу и подписанное Лениным, Калининым и всеми народными комиссарами обращение к крестьянству. Затем разработан ряд уточняющих декретов и инструкций по поводу налога. Потом, когда вопросы сельского хозяйства были в основе решены, пришла пора вплотную взяться за промышленность.

Весна и лето двадцать первого года проходили под знаком отступления по всему экономическому фронту.

Отступление — вещь тяжелая. Тяжелая и опасная. Клаузевиц, чей ум так уважал Ленин, считал момент перехода армии в оборону или в отступление самым грозным и опасным моментом войны. Даже когда силы наступающего исчерпаны, ему порой легче двигаться вперед, чем остановиться; ибо, пока он идет вперед, его поддерживают нравственные силы, свойственные преимущественно наступающему. Остановиться ему так же трудно, как трудно остановиться лошади, везущей в гору тяжело нагруженный воз.

Если таков закон для кадровых армий, то сколь сильно его действие для страны с многомиллионным, в значительной части разрозненным населением, страны, перенесшей ни с чем не соизмеримые страдания

во имя близкой победы, и в минуту, когда победа, казалось, была уже завоевана, вынужденной отступить, не зная даже, когда кончится это отступление и где пролегают его границы.

Уча партию и народ терпению, выдержке, маневру, отходу, борясь за каждую пядь, за полпяди, за четверть пяди социалистического сектора, отступая там, где нужно было отступать, и проявляя непоколебимую решительность там, где отступать было нельзя, ведя жестокую борьбу со всяческими «прожеками», не приукрашивая суровую действительность, но не падая при этом духом, Ленин спокойно и твердо отвел свою армию на новые позиции, сохранив ее боевой дух и способность к наступательным действиям.

11

Мне в то время довелось слышать Ленина дважды: на собрании секретарей и ответственных представителей ячеек РКП(б) Москвы и Московской губернии — этот доклад его напечатан в Полном собрании сочинений — и еще на одном собрании, упоминаний о котором я нигде не нашла.

Что это было за собрание, я точно не помню. Помню, что присутствовало человек полтора-два. Помню, что основную массу присутствовавших составляла партийная молодежь — те, кого тогда нередко называли старинным русским словом «молодшая» часть партии. Возможно, что это было не особое собрание, а встреча Ленина с молодыми членами партии и участниками подавления Кронштадтского мятежа, устроенная после собрания секретарей и ответственных представителей ячеек РКП(б) Москвы и Московской губернии. Помню не особенно большую, тускло освещенную комнату, невысокий помост, на нем стол, за которым сидит человек с низким лбом и шапкой жестких смоляно-черных волос. Приподняв правую бровь, он скучающе смотрит куда-то мимо зала. На нем черная суконная гимнастерка и начищенные до блеска мягкие кавказские сапоги. Стол покрыт кумачом, кумача хватает лишь на то, чтоб покрыть его поверхность, и эти начищенные сапоги видны всем.

И отчетливо, очень отчетливо помню Ленина. Помню так отчетливо потому, что впервые слышала Ленина

после всего пережитого на кронштадтском льду. И потому, что после этого я слышала его еще только один раз. А также и потому, что Ленин на этом собрании не просто рассказывал о переходе к новой экономической политике, но ему пришлось убеждать многих из нас, помогая понять и осмыслить необходимость такого перехода.

Ох, как тогда было трудно! Если даже многие товарищи старшего поколения нелегко пережили этот переход — свидетельством тому прения на партийных съездах и конференциях, то особенно трудно дался он молодым, не знавшим будней подполья с его терпеливой повседневной работой «кротов революции». Тем, для кого революция явилась в образе великолепнейшей красногвардейской атаки на все в старом мире — на бога, черта, дьявола, на дворянские гнезда и банкирские конторы, на семь слонов и слоников мещанства — от первого до последнего. Кому если поэзия, так «Левый марш» или же «И пусть пространство Лобачевского летит с знамен ночного Невского», ежели любовь, так та, которая «и жжет и губит», если пушкинская годовщина, то прямые ассоциации: «Истлевают Дантесов скелет, но бароны пока еще живы. Не они ли теперь для поживы поднимают на нас пистолет?»

Нашими излюбленными словами были «абсолютно» и «принципиально». О чем бы ни шла речь, даже о том, чистить ли картошку или же сварить ее в мундире, говорили: «Я абсолютно согласен» или «Я принципиально не согласен». «Торговать» в наших глазах было почти равносильно тому, что воровать. Правда, случалось, что ранним утром, пока еще не развиднелось, кто-нибудь отправлялся на Сухаревку, засунув под мышку залатанную кофту или старые брюки, и возвращался оттуда с куском хлеба или ошметком сала, но операция протекала по формуле $T - T$, а не $T - D - T$ и уж, во всяком случае, не $D - T - D + d$, то самое проклятое $D + d$, которое вопило на Ильинке и Сухаревке: «Даю франки, беру доллары», рыгало в «Ампирах», гоготало в «Коробочках» и «Кривых Джимми» и о котором Ленин — подумать только — Ленин! — говорил сейчас, что нам надо у него учиться — и чему же? Учиться торговать!!!

Скажу «прямиком», «называя вещи своими именами»: мы, «младшее поколение», на первых порах перехода к нэпу, Ленина не понимали или же понимали

очень плохо. Во всяком случае, я не понимала и, думаю, не одна только я. И тут я говорю не о понимании или непонимании всех глубин ленинской мысли, далеко уходящих связей и опосредствований, огромного и сложного диалектического единства его замыслов. Нет, я говорю о том, что лежало на самой поверхности. Я говорю, что нам не была понятна необходимость поворота, а главное — **такого** поворота. **Такой** поворот был для нас даже не только непонятен, но попросту казался нам отказом от революционной борьбы, а потому — «абсолютно недопустимым» и «принципиально неприемлемым».

Мы видели в себе поколение, которому выпала на долю величайшая историческая задача: подорвать последние устои капиталистического строя и воздвигнуть на его обломках новый мир, мир коммунизма. И хотя мы жили и работали в самой гуще народа, порой мы плохо видели мир реальных фактов и, говоря словами Герцена, больше жили в алгебре идей с ее легкими и всеобщими формулами и выводами, чем в мастерской, где трение и температура, дурной закал и раковина меняют простоту механического закона и тормозят его быстрый ход.

Теперь Ленин звал нас в этот мир фактов, в котором в качестве измерителей действуют пуды, фунты, золотники или же аршины и вершки; где у крестьянина две души: одна — собственническая, другая — трудовая; где в лабиринт жизни ведут тысячи извилистых тропинок; где на каждом шагу подстерегают опасные пороги — и, чтобы не разбиться на них, надо брать «низкие истины», каковы они есть, и беспощадно изгонять «возвышающие обманы», трезво, без иллюзий, без самообольщения учитывать действительность, готовить себя не только к победам, но и к отступлениям, не впадать в панику, уныние, неверие и «левую» истерику, приучить себя к мысли, что в великой революционной войне, которая растянется не на одно десятилетие и которая неминуемо приведет нас к полной победе, неизбежны частичные и временные поражения, порой очень тяжелые, понимать, что в каждом таком поражении заложены элементы победы, не падать духом, но сохранять спокойствие, черпая в поражениях новые силы и новую уверенность в победе. Трудности необъятны. Но наша партия привыкла бороться с необъятными трудностями.

Обо всем этом и говорил нам Ленин. Говорил прямо, резко, без утайки, без поблажек, беспощадно показывая развертывающиеся под нами пропасти и расщелины, над которыми до сих пор мы шагали, не глядя под ноги, и готовы были шагать дальше. Все в нем дышало мыслью, волей, напором. Каждое движение его плотного, крепко сбитого, ладного тела было полно энергии и жизни.

Терпеливо вникая во все наши доводы и заблуждения, Ленин как бы разматывал нитку за ниткой в запутавшемся клубке и говорил нам о том, что нэп — это не конец революции, а переход ее с третьего на четвертый курс. Что нужно учиться торговать, но неверно думать, будто впереди нас ждет только торговля. Нет, впереди есть и будет борьба, строительство, новые подвиги. И хотя то, что нам предстоит пережить в ближайшие годы, не есть последний и решительный бой, но этот бой, если смотреть на события в историческом масштабе, а не с колокольни ближайших лет, близок. Мы должны знать и помнить, что путь к коммунизму длинен и длинен, что нам предстоит многие и долгие битвы. И именно нашему поколению и тем, что придут вслед за нами, предстоит осмыслить пережитое в наши дни и показать народам путь к свободе.

Но вот человек, сидевший за столом, взглянул на часы, написал записку и протянул ее Ленину.

Продолжая говорить, Ленин прочел записку, сокрушенно покачал головой, закончил мысль, посмотрел на нас — на сидевшего неподалеку от меня Дауда Розита — человека с прекрасным лицом взрослого мальчика, на подавшегося вперед всем телом худенького паренька с рукой, замотанной бинтом, на девушку с блестящими, как у белки, глазами.

Кончая свою речь, Ленин сделал небольшую паузу, обвел собрание глазами и мягко сказал:

— Мужайся, молодое племя!

Слова эти принадлежат поэту-шестидесятнику Василию Курочкину. Ими он заканчивает стихотворение «Тик-так! Тик-так!», обращенное к «молодому племени», под которым каждый угадывал «молодую Россию», чья прокламация незадолго до того взволновала самые широкие круги русского общества:

Мы слышим в звуках всем понятных
Закон явлений мировых:
В природе нет шагов попятных,

Нет остановок никаких!
Мужайся, молодое племя!..

Этими словами Ленин закончил свое выступление и пока мы samozабвенно аплодировали, бережно собрал записки, сложил их в свой портфель, накинул на плечи пальто. Его спутник, идя впереди, двинулся к выходу.

Как не похожи один на другого, как диаметрально не похожи были эти два человека, что шли сейчас через зал по среднему проходу между рядами. Быстрый, подвижный, словно искрящийся Ленин с его прекрасным широким лбом, высящимся как купол храма, с его великолепно вылепленной головой, каждая линия которой свидетельствовала об огромном уме, начитанности и необыкновеннейшей даровитости ее обладателя. И тот другой — со скучающим взглядом, угрюмой походкой, с словно присыпанным пеплом серым, рябым, замкнутым, отчужденным лицом.

Обычно, как только заканчивалось собрание, тишина сменялась шумом голосов, все говорили зараз, яростно спорили, возбужденно переговаривались.

На этот раз было иначе. Слишком сильны были впечатления. За час-полтора мы повзрослели и впервые по-настоящему испытали, что это такое — глубокое проникновение в суть явлений.

Мы шли молча. Говорить не хотелось. Хотелось думать, думать, думать.

Молчание прервал чей-то вопрос: кто тот человек, что сидел за столом и ушел с собрания, идя впереди Ленина?

— Это Сталин,— сказала я.

— Сталин? «Вождь угнетенных народов»?

— Он самый,— сказала я. И все засмеялись.

Современный читатель не поймет эту сцену, да и я сама не поверила себе, когда она, выплыв из глубин небытия, возникла в моей памяти. Рассказываю я о ней только потому, что нашла неоспоримое документальное доказательство, что такой разговор действительно мог иметь место...

Доказательство это — приветствие Сталину, направленное ему совещанием представителей автономных республик, областей и губернских отделов по работе среди национальностей и напечатанное, как это я установила сейчас, в «Правде» 19 декабря двадцатого года.

В приветствии этом черным по белому было сказано: «...Наше совещание шлет Вам свой привет и уверенность, что, твердо идя по пути, *намеченному Вами*, в разрешении национального вопроса,— мы скоро придем к полному изживанию всякой национальной розни, создадим во всем мире единую братскую коммунистическую семью, которую научим ценить те *великие заслуги, которые принадлежат Вам* — *вождю угнетенных наций*».

Надо вспомнить весь дух и стиль той эпохи, чтобы понять, насколько чудовищно и нелепо прозвучали тогда подчеркнутые мною слова приветствия. И на ближайшем же районном партийном собрании (тогда Московская партийная организация была столь невелика, что два раза в месяц в помещении какого-нибудь театра или цирка собирались коммунисты целого района города) выступил товарищ, который, с негодованием потрясая напечатанным в газете приветствием, рассказал о том, что Сталин, бывший тогда наркомом по национальным делам, не только не выгнал тех, кто состряпал это приветствие, но сам распорядился послать его для напечатания в «Правде»!

Слушая его, собрание возмущенно гудело и постановило обратить на эту историю внимание Центрального Комитета партии, ибо «культ личности чужд марксизму».

Но вскоре вспыхнула профсоюзная дискуссия и этот эпизод как-то забылся, никто никогда о нем не вспоминал. Однако тогда, в начале двадцать первого года, он был еще свеж в памяти — и к имени Сталина нередко иронически добавляли: «Тот самый, «вождь угнетенных народов».

Посмеявшись, мы снова ушли в свои мысли.

Охваченные своими мыслями, мы не сразу обратили внимание на то странное, что происходило вокруг нас: по небу, как дым, быстро неслись низкие серо-желтые тучи. Было не по времени темно и как-то смутно и тревожно жарко. Словно невидимое огромное чудовище, распахнув пасть, дышало рядом с нами раскаленным жаром.

— Наверно, горят леса,— сказал кто-то.

Но это не горели леса. Это до Москвы донеслось из Поволжья дыхание суховея.



**ЧЕРНАЯ
ГОДИНА**

Уже в двадцатом году выпало мало дождей и, говоря языком летописей, «бысть жары велицы и сухмень через все лето». Снова Россия, как это столько раз бывало в ее истории, вступала в пору засухи, неурожая и голода.

Зима двадцатого --- двадцать первого года даже в северных губерниях выдалась малоснежная. С первых дней марта начались сильные пригревы. Недаром под Кронштадтом, у кромки льда Финского залива, нас обступали тревожные приметы ранней весны: все, все предвещало, что весна наступает раньше срока. На восемь --- десять --- двенадцать --- шестнадцать, а то и на двадцать четыре дня ранее, чем то положено, прилетели первые грачи, вылезли зеленовато-черные весенние мухи, вскрылись реки, зацвел подснежник, показались ящерицы, появились дикие пчелы, запел певчий дрозд, на осине запыхлили сережки, начался валовой пролет водяной и болотной птицы.

Возле Москвы к двадцатым числам марта полностью сошел снег и установилась теплая бездождная погода.

В низовых губерниях Поволжья — низовыми называли тогда Татарскую республику и Симбирскую, Самарскую, Саратовскую, Астраханскую губернии — весна пришла тоже рано, но в первое время тепла не было, дули сильные восточные ветры, а по утрам стояли сильные туманы. Крестьяне поначалу медлили с севом, ожидая потепления, но, не дождавшись, в половине апреля начали сеять.

И тут-то ударила жара — небывалая, непрерывно усиливающаяся. В апреле средняя температура вместо четырех градусов была выше семнадцати, а в мае — вместо четырнадцати около двадцати пяти. Старики не помнили такой жары, такой суши. Из-за жары и бездож-

дия крестьяне не смогли закончить весенний сев и почти не посадили картофеля.

Весь апрель, весь май беспощадно палило солнце, в небе не было ни облачка, ветер гнал раскаленную пыль. Напрасно заострившиеся былки ржи и скудные перья пшеницы молили о влаге.

К концу мая хлеба стали желтеть и быстро колоситься, но, выколосившись, колос сох, как в чахотке. Жара и отсутствие дождя превратили траву в сухие былки, уныло торчащие из выжженной растрескавшейся земли. Листья деревьев свернулись и побурели. Только горькая полынь и колючий мордвинник росли как ни в чем не бывало.

В июне жара усилилась: средняя температура месяца была такой, как в Каире. Сухость воздуха была необычайной. Начались пожары. В лесных губерниях горели леса, пламя перебрасывалось с ветки на ветку — и с быстротою ветра весь лес превращался в пылающий костер, в степях огонь бежал по сухой траве. Горели и выгорали целые села.

Беда беду приводит. Засуха привела с собою большеголовую саранчу-кобылку с круглыми, невидящими глазами. А вслед за саранчой вместе с юго-восточным ветром появились помохи — так называют в Поволжье пагубную для хлебов мглу и горькую росу, которая ведет к пустоколосью.

В июле жара не стала сильнее, но дождя все не было — и засуха добила и поздние культуры. Сенокосы сгорели дотла, редкие корявые кустики проса лежали на боку, выкинув обнаженные корешки, стелившиеся по иссохшей земле.

«В тысяча девятьсот двадцать первом году, — писали в своем коллективном письме поволжские крестьяне, — на наших полях выросло только одно растение — голод».

Едва обозначилась угроза голода в Поволжье, Ленин мобилизовал все и вся, чтоб предотвратить или хотя бы ослабить надвигающееся бедствие.

Еще в ноябре двадцатого года, получив присланные ему наркомом земледелия С. П. Середой статьи профессора В. А. Михельсона, в которых тот предсказывал грядущую засуху, он писал Середе, что считает эти статьи «архиважными», необходимо их напечатать

в «Известиях» и в «Правде», сопроводив написанным Середой послесловием о практических выводах, которые надо из них сделать.

Когда ранний приход весны подтвердил прогнозы профессора Михельсона, Ленин тотчас подумал о закупке хлеба и продовольствия за границей. «Улучшение положения рабочих и крестьян абсолютно необходимо», — телеграфировал он в Лондон ведущему там торговые переговоры Красину. Выражая опасение, что «мы зря проедим или проторгуем весь наш небольшой золотой фонд», он предупреждал Красина: «За бережливость отвечаете Вы». И давая директивы: закупить семенной картофель, немедленно произвести закупку двух миллионов пудов хлеба, «не стесняясь ценой».

Примерно в это время, весной двадцать первого года, на квартире Ленина в Кремле состоялось первое организационное собрание редакции журнала «Красная новь». Кроме Ленина на нем присутствовали Надежда Константиновна Крупская, Максим Горький и будущий редактор этого журнала Александр Константинович Воронский.

Сначала Воронский сделал краткий доклад о задачах и планах будущего журнала. Потом разговор перешел на пачку книг, которые принес с собой Горький.

Книги эти были изданы в Берлине известным в ту пору издателем Гржебиным при содействии Советского правительства. Ленин бегло их просмотрел, одобрил книгу о паровозах. Потом он взял в руки сборник древних индийских сказок, перелистал, сказал стоявшему рядом с ним Горькому:

- По-моему, это преждевременно.
- Это очень хорошие сказки, — ответил Горький.
- На это тратятся деньги, — сказал Ленин.
- Это же очень дешево, — возразил ему Горький.
- Да, — сказал Ленин, — но за это мы платим золотой валютой. В этом году у нас будет голод.

Вспоминая этот разговор, Воронский писал:

«Мне показалось тогда, что столкнулись две правды: один как бы говорил: «Не о хлебе едином жив будет человек», другой отвечал: «А если нет хлеба...» И после, находясь на стыке между художественным словом и практической работой Коммунистической партии и советских органов, я неоднократно вспоминал об этих

двух правдах, и всегда мне казалось, что вторая правда, правда Владимира Ильича, сильнее первой правды».

По рассказу М. И. Калинина, в тот год сводки о ходе весны, поступавшие Советскому правительству от Наркомзема и метеорологических станций, читались, как некогда читались сводки с фронтов гражданской войны. С каждым днем эти сводки рисовали все более безрадостную картину. К июлю окончательно выяснилось, что огромная часть Советской России, и притом наиболее хлебородные губернии, поражена небывалым неурожаем и голодом.

В июле считалось, что число голодающих составляет около десяти миллионов. Однако эта страшная цифра была далека от еще более страшной действительности. Каждый месяц она разрасталась, разбухала, становилась все огромнее, все страшнее. К концу года число голодающих определялось в двадцать два миллиона, а к весне двадцать второго года — в тридцать пять миллионов.

2

К концу весны хлеб во многих волостях подобрался до корочки, и люди перешли на подножный корм. Чуть свет коровы, овцы, лошади и сами крестьяне отправлялись в лес, там, где был лес, пока держался утренний холодок, все вместе паслись одним стадом, объедая кору с молодых деревьев и выдирая из земли коренья и старые былки пересохшей травы.

Народ теснился в сельсоветах, словно здесь хранились ключи от «хлябей небесных». Жгли свечи у икон «чудотворцев», служили молебны о «ниспослании влаги», поднимали иконы, устраивали крестные ходы. Подойдя к церковной ограде, кланялись земным поклоном, а потом глубоко откидывались назад, запрокидывали голову и подолгу молились, «нашептывая небо» молитвами о дожде. Но дождя все не было и не было.

Когда надежды на урожай окончательно рухнули, стали собирать все, что было возможно. Длиннен скорбный перечень того, что шло в пищу в выжженном Поволжье — неочищенные колосья, солома, лебеда, колючка, желуди, корни, опилки, глина, известь, вывет-

рившиеся кости. Все это перемалывалось или толклось в ступе и вместе с водой и добавленной «для связи» щепоткой ржаной муки вымешивалось в тесто, из которого пекли «бедовую еду» — то черные, как земля, то зеленые, как трава, горькие лепешки... У людей, которые ели эти лепешки, животы раздувались и становились багровыми.

А рядом с людьми бродила голодная скотина — с облезшей шкурой, отвислыми губами, с выступающими, как обручи на бочке, ребрами.

Пока был хоть какой-то подножный корм, скотину пытались сохранить. А потом стали забивать.

Это произошло в конце июля. С ужасом видя надвигающуюся голодную смерть, население голодных губерний, распродавая «почем зря» все, на что только нашлись покупатели, бросая то, чем никто не прельстился, целыми улицами заколачивая избы, сорвалось с насиженных мест и кинулось прочь, прочь от страшной своей судьбы. Одни бежали вверх по Волге, другие вниз, кто на запад, кто на восток. Бежали неизвестно куда, неизвестно к кому, лишь бы бежать, лишь бы найти кусок хлеба.

Среди черных, обглоданных до земли полей день и ночь непрерывной вереницей тянулись подводы, арбы, фургоны, обтянутые воловьими шкурами кибитки. Ехали со всем скарбом: тут и козленок, и собака, и новорожденный ребенок, и полуумирающие старики. Ехали на волах, на лошадях, на верблюдах, когда падала лошадь, впрягали жалких, изможденных коров или шли пешком, еле переступая распухшими ногами и отмечая пройденный путь безымянными людскими могилами и трупами павших животных.

3

В июле в Москву приехал из Лондона Леонид Борисович Красин. Главной причиной его приезда был голод в Поволжье, потребовавший полного пересмотра всех планов внешней торговли.

«Когда я... пришел к Владимиру Ильичу в его кабинет, — рассказывает Красин, — я застал его в тревожном настроении, он все время поглядывал на знойное,

раскаленное небо, очевидно, в ожидании, не появится ли наконец долгожданное дождевое облако, и много раз спрашивал меня: «А сможем ли мы закупить за границей хлеб? Пропустит ли в Россию хлеб Антанта?»

Весь наш импортный план был опрокинут, и по возвращении в Англию пришлось в больших размерах организовать закупку хлеба и семян, разумеется, за счет золотого запаса, так как вывоза у нас в то время еще почти никакого не было. Владимир Ильич лично следил чуть ли не за каждым отходящим из-за границы пароходом и буквально бомбардировал нас телеграммами и записками, настаивая сделать все возможное, чтобы скорее помочь голодающим районам.

К осени двадцать первого года Советская Россия оказалась перед огромным голодным фронтом, охватившим ее полукольцом с востока и юга. Именно фронтом.

Выражаясь военными терминами, говорил тогда М. И. Калинин, штурм для нападения на крестьянство и русский рабочий класс подготавливался долголетней осадой. Еще в империалистическую войну сельское хозяйство было подточено и этим подготовлено было то бедствие, которое мы сейчас переживаем. Потом наступила гражданская война. По губерниям, которые голодают, прошли белые и красные армии. От всего этого слабость крестьянского хозяйства и его неспособность к сопротивлению стихийным бедствиям невероятно выросли.

Для организации помощи голодающим Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет создал ЦК Помгол — Центральную комиссию помощи голодающим, возглавляемую М. И. Калининим. Ленин заявил: Советская власть делала, делает и будет делать для помощи голодающим «все возможное и кое-что невозможное».

В середине августа М. И. Калинин выехал в Самару. Он увидел там страшную картину. «Голод в Поволжье, — телеграфировал он в Москву, — тяжелее, чем можно себе представить».

Повсюду на пристанях, прямо на голой земле, в грязи, в пыли, среди остатков погасших костров целыми деревнями валялись беженцы — взрослые и дети, живые и мертвые, люди и животные. Лишь немногие еще рвали в богатую хлебом обетованную землю. Остальные уже ничего не ждали, ни на что не надеялись. Они все

потеряли. У них не осталось ничего, кроме отчаяния и ключев одежды на тощем теле.

В голодных деревнях завели обычай: когда родители чувствовали, что им пришла пора умирать, они «собирали» своих Грунь и Ваняток, доводили до детского приемника или исполкома и оставляли у дверей, наказав не признаваться в том, кто они, чьи они, из какой деревни.

Вот трое — два мальчика и девочка, мал мала меньше, тихие, покорные, с восковыми старческими лицами и провалившимися недетскими неморгающими глазами. Они смотрят, смотрят и молчат.

— Откуда вы, ребята?

Молчат.

— Фамилия ваша как?

Молчат.

— Из какой вы деревни?

Молчат.

— Мать, отец есть у вас?

Молчат.

— Да чего ж вы молчите?

Молчат.

— Ну, идите со мной, отведу вас в детский дом.

Ребятишки гуськом плетутся за провожающим. А позади, шагах в пятидесяти, прячась за стены, за выступы, за подъезды, крадется до жути худая женщина с почерневшим лицом, на котором живы одни только глаза, — мать этих детей, все время наблюдавшая за ними из-за угла и теперь провожающая их воспаленно-жадным взором. И когда за детьми закрывается дверь приемника, она ничком падает на землю и, протягивая нечеловечески тонкие руки, стонет: «Детушки мои... Сиротички».

4

Голод в Поволжье вновь возродил надежды тех, кто недавно потерпели поражение под Кронштадтом. Они решили использовать страшное бедствие, обрушившееся на Россию, в своих собственных далеко идущих политических целях.

Министр торговли Соединенных Штатов Америки

Герберт Гувер, выступая от имени так называемой «Американской администрации помощи» («American Relief Administration»), сокращенно именуемой АРА, через своего представителя У. Брауна предложил Советскому правительству хлеб при условии, что оно пойдет на политические уступки и допустит вмешательство США во внутренние дела Республики Советов. Американские бизнесмены, которые, чтобы сохранить высокие цены на зерно, жгли пшеницу в паровозных топках, вели гнусные торги и переторжки, оттягивая и затягивая посылку хлеба умирающим от голода, лишь бы выгоднее сбыть ту заваль, которую они решили отправить в Россию под видом помощи.

Во французских правительственных сферах разрабатывались планы создания специального эмиссионного банка, банкноты которого должны были заменить русскую денежную валюту. Председателем созданной по решению Верховного совета Антанты Международной комиссии помощи России по борьбе с голодом был назначен один из крупнейших организаторов контрреволюционных заговоров и иностранной интервенции в России, бывший французский посол Жорж Нуланс.

«Тут игра архисложная идет,— писал в те дни Ленин.— Подлость Америки, Гувера и Совета Лиги наций сугубая».

Оживились и русские антисоветские круги. Группа «общественных деятелей», состоявшая из кадетов и околкадетов, заверяя, что она действует «только во имя человеколюбия, без каких бы то ни было политических расчетов», создала, с разрешения Советского правительства, Всероссийский комитет помощи голодающим. Руководителями этого комитета были Прокопович, Кускова, Кишкин, будто нарочно подобранные так, чтобы начальные слоги их фамилий образовали выразительное слово «Прокукиш».

В особняке на Собачьей площадке, где обосновался этот самый «Кукиш», меньше всего думали о помощи голодающим. Там были озабочены другим: установлением связей с границей, превращением «Прокукиша» в ядро будущего правительства, которое займет место Советского.

Заграничная печать была уверена в близком падении большевиков. По страницам эмигрантских газет кочевало стихотворение Зинаиды Гиппиус: «Не нужно много шума и криков ликований, веревку уготовив,

повесим их в молчании». Белогвардейцы считали дело решенным: «А царь все-таки будет!» Лишь некоторые опасались, что одного голода не хватит, и возносили молитвы: «О, спаси нас, великая, единственная русская вошь!»

Когда вопрос о помощи голодающим был поставлен на заседании Лиги Наций, с места поднялся сербский делегат Сполайкович.

— Я предпочел бы, — сказал он, — чтоб вымер весь русский народ, чем рискнул бы оказать какую бы то ни было поддержку Советскому правительству...

Но были и иные люди. Такие, как Фритъоф Нансен.

Осенью двадцать первого года он совершил поездку по России и посетил голодные места. Он побывал в детских приемниках и в детских домах, на питательных пунктах и в детских больницах, заходил в деревенские избы, пробовал то, что служило единственной пищей крестьян, он видел целые семьи в агонии голода, а рядом с умирающими — уже застывших мертвецов. И когда он приехал в большое самарское волостное село Дубовый Омет и увидел, как со всех сторон к нему не идут, а ползут по земле матери с детьми и припадают к его ногам, моля о помощи, этот человек, который столько раз без страха глядел в глаза смерти, заплакал.

Обо всем виденном в Поволжье он рассказал заседанию Лиги Наций. Великий полярный исследователь выступал как председатель Международного комитета помощи детям.

«Во имя человечества, во имя всего, что для вас свято, я апеллирую к вам, имеющим жен и детей, — взывал Нансен. — Я хочу, чтобы вы поняли, что значит видеть миллионы гибнущих женщин и детей. С этого места я обращаюсь к правительствам, к народам, ко всему миру и зову на помощь. И я спрашиваю: неужели на этом собрании найдется человек, который посмел бы сказать, что пусть лучше погибнут двадцать миллионов человек, чем оказать помощь Советскому правительству? Я требую от этого собрания ответа на мой вопрос...»

Лига Наций постановила: в отпуске средств отказать...

Во всем мире создавались организации помощи голодающим Поволжья. В них входили лучшие умы и

сердца человечества: Альберт Эйнштейн, Анатолий Франс, Бернард Шоу, Линкольн Стеффенс. Вступил в действие великий закон пролетарской солидарности: рабочие отчисляли однодневный и двухдневный заработок, по фабрикам и заводам, рабочим поселкам и рабочим районам проводились сборы продуктов, вещей, денег для отправки голодающим.

Приговоренный к смерти югославский коммунист Алия-Алияш (возможно, что тогдашние газеты не вполне точно назвали его имя) перед казнью передал своему защитнику завещание, в котором просил продать оставшуюся после него одежду и книги и отправить полученные после продажи деньги русским голодающим детям.

5

Там, где дело шло о спасении умирающих с голоду, Ленин готов был лавировать, идти на уступки, вести переговоры с самим дьяволом, лишь бы получить хоть вагон, хоть полвагона хлеба.

Когда представители АРА стали затягивать посылку продовольствия в Поволжье под предлогом, что они не имеют, мол, достаточных гарантий, что Советское правительство оплатит это продовольствие, Ленин написал Г. В. Чичерину и Л. Б. Каменеву:

«Ввиду того, что подлые американские торгаши хотят создать видимость того, будто мы способны кого-то надуть,

предлагаю формально предложить им тотчас по телеграфу от имени правительства за подписью Каменева и Чичерина (а если надо, и моей и Калинина)

следующее:

мы депонируем золотом в нью-йоркском банке сумму, составляющую 120% того, что они в течение месяца дают на миллион голодных детей и больных...

Этим предложением мы утрем нос торгашам и впоследствии осраим их перед всем миром».

Ему был дорог каждый кусок хлеба, которым можно помочь голодающим. Поэтому когда АРА внесла проект соглашения об организации продовольственных посылок в Россию от американских граждан и Сталин,

ссылаясь на то, что, по его мнению, тут не благотворительность, а торговля, предложил взимать плату за провоз посылку от границы и за пользование складами, Ленин, возражая Сталину, написал:

«(если даже цель — *торговля*, то мы *должны* сделать этот опыт, ибо нам дают чистую прибыль голодающим... Посему брать плату за провоз и за склады *не* следует)».

Узнав же, что в Англии некоторые частные лица хотят отправлять в Россию посылки с продовольствием, он телеграфировал Красину и Довгалеvскому: «...мы должны, разумеется, облегчить и поощрить получение подобных посылок».

И даже тогда, когда французские ростовщики заявили, что они отпустят продовольствие для голодающих лишь при условии, что Советское правительство признает царские долги, Ленин предложил дать согласие на переговоры об этих проклятых долгах, хотя даже многие буржуазные газеты признавали чудовищность этого требования французских шейлоков.

Но уступки уступкам рознь. Одно дело отдать бандиту кошелек, другое — позволить ему хозяйничать в твоём доме.

Поэтому, когда заправилы «Прокукиша» отказались отправиться в охваченные голодом губернии, но потребовали, чтоб их немедленно пустили за границу, Советское правительство распустило этот комитет. А когда Нуланс направил Советскому правительству ноту, требуя, чтобы в Россию была допущена «комиссия экспертов» для расследования положения на месте и контроля над распределением продуктов, Ленин заявил, что Нуланс «нагл до безобразия», и предложил не впускать в Советскую Россию эту «комиссию шпииков под названием комиссии экспертов».

Были товарищи, считавшие линию Ленина излишне резкой. Один из них послал Ленину письмо, в котором высказывал сомнения в целесообразности роспуска Всероссийского комитета помощи голодающим и ареста его членов, считая, что это может отрицательно отразиться на отношениях с Францией.

Отвечая ему, Ленин писал:

«Прочел Ваше письмо. Вы ошибаетесь. Наша политика не сорвет отношения (торговые) с Францией, а ускорит их.

Мы уже выиграли, *отбив* Францию от планов интервенции, и выиграем еще больше.

Пути к торговым переговорам с Францией у нас есть.
С ком. приветом

Ленин».

Как-то — было это, вероятно, в начале октября, — проходя по Кремлю, я увидела Ленина. Он шел, глубоко задумавшись. У него было такое бледное, такое измученное лицо, что сколько лет уже прошло с тех пор, но и сейчас, как я вспомню об этом, хочется плакать.

6

Надо было спасти население голодных районов от смерти, от истощения и эпидемий; надо было доставить ему семена для осеннего посева и этим, как выразилась «Правда», «отодвинуть людей из области смерти за границу смерти», надо было остановить безумное, слепое бегство, ввести переселение в организованное русло, успокоить людей, положить конец слухам и панике.

«Дорогие товарищи! — писал Центральный Комитет партии, обращаясь ко всем членам партии, ко всем партийным организациям. — Громадное стихийное бедствие обрушилось на Советскую Республику... Бедствие имеет такие огромные размеры, что справиться с ним можно только при единодушном напряжении всех организованных сил Советской Республики...»

Что же должны делать коммунисты, чтобы по-настоящему организовать дело помощи?

Не сеять иллюзий о возможности массового переселения, а создавать уверенность в том, что путем крепчайшей организации, общими усилиями можно будет преодолеть бедствие на местах, которые им охвачены.

Вовлекать крестьянское и рабочее население в дело помощи голодающим. Пробуждать общественную инициативу, привлечь всех, кто своим опытом и энергией может помочь голодным.

Пробуждать у людей волю к жизни. Вести всю работу так, чтобы еще больше сблизиться с народными массами, еще сильнее укрепить в них сознание, что только Советская власть может вывести их из самого тяжелого положения.

Мы слишком мало знаем об одной из самых героических страниц в истории нашей партии и народа — о поистине потрясающей борьбе за спасение миллионов

умирающих с голоду. О продовольственных работниках, собиравших продналог зачастую под бандитскими пулями. О рабочих, давно уже забывших, что это такое быть сытым, но отчислявших для голодных часть своего скудного пайка, о самоотверженнейших усилиях, ценой которых к началу сентября двадцать первого года было собрано и отправлено в Поволжье около девяти миллионов пудов семенного зерна. И о людях, которые работали в голодающих районах, рискуя каждый день, каждый час, каждую минуту своей жизнью.

Мне выпало на долю горе и счастье узнать этих людей, когда в тот страшный год я побывала в Поволжье.

Было это в самой середине зимы — в декабре, в январе. Как-то, придя домой, я нашла письмо в самодельном конверте из оберточной бумаги. Письмо было от Флегонтыча, пожилого красноармейца, который был у меня ездовым, когда я была санитаркой под Кронштадтом. По окончании гражданской войны Флегонтыч демобилизовался и уехал домой, в Самарскую губернию. Оттуда прислал несколько писем, заполненных поклонами. Лишь раз-другой промелькнули в них короткие фразы, что дождя нет и хлеб повыжгло.

Когда начался голод, мы с мамой отправили ему несколько посылок. Он за них благодарил, но письма его совсем переменялись: стали короткими, поклоны исчезли. И вдруг пришло большое письмо, написанное, по-видимому, не в один присест. До ужаса просто он написал, что семья его «ушла в смертную дорогу», его час тоже близок, но, как коммунист, он не позволяет себе слечь, а работает и будет работать до последнего часа, письмо же это пишет прощальное.

Я тотчас решила к нему поехать. Отец мой был высоким военным начальником и устроил меня в штабной вагон, который шел в Ташкент и должен был потому вернуться в Москву.

Всю дорогу я со страхом думала о том, что ждет меня впереди. В Самару мы прибыли днем. Незадолго до того выпал снег. Чистой белой пеленой лежал он на земле, на крышах, на странных черных штабелях, из которых торчали желтые голые ноги.

По слышанным мной рассказам, я ждала, что к поезду сейчас же бросятся тысячи голодных людей. Но платформа была пуста, на ней было пугающе тихо, пах-

ло снегом и карболкой, посвистывала маневровая кукушка. Оказалось, что наш состав остановился на боковом пути.

Я вышла на привокзальную площадь — и тут увидела такое, что потрясло меня, пожалуй, не меньше, чем все то, что суждено было увидеть потом.

По всей длине и ширине площади, сплошными рядами, плотно прижавшись друг к другу, стояли столы, лари, кошелки, корзины, салазки, повозки, набитые всяческой снедью. Чего только здесь не было! Караван, расстегаи, пироги, пирожки, белые булки, колбасы, окорока, свиные и говяжьи туши, ломти стеариново-белого сала, роты кипящих самоваров, батальоны чугунных сковород, на которых шипела и наполняла воздух голубоватым чадом поджариваемая колбаса, — не базар, не рынок, не торг, а торжище, где властвовали налитые жиром толстобрюхие, краснорожие двуногие волки, одетые в романовские полушубки. Они потоптывали обувью в добротные казанские валенки ногами, похлопывали толстыми руками в теплых варежках, покрикивали звонкими на морозе голосами, помахивали сучковатыми палицами и зорко приглядывали за своим товаром, который не просто лежал на столах и ларях — корзины с булками были опутаны колючей проволокой, куски мяса и колбасы прибиты гвоздями, свиные окорока закреплены гремющими цепями, чтоб не схватили, не украли их, заступил господи и пресвятая владычица, вот эти еле обтянутые кожей скелеты, которые ползут по земле и шелестят запекшимися губами: «Хле-буш-ка!».

Не помню уж, как добралась я до города Пугачева, а оттуда до села Таволожка, в котором жил Флегонтыч. Кажется, ехала часть пути по узкоколейке, а потом шла пешком по снежной зимней дороге. По совету добрых людей продукты, которые были при мне, я вынула из вещевого мешка и привязала вокруг тела. На счастье, мне попались хорошие попутчики.

И вот я шла словно по снявшейся мне в длинном, запутанном сне беззвучной деревне, где не слышно ни человеческих голосов, ни собачьего лая, и на фоне бледного зимнего неба чернеют обглоданные ребра крыш. Шла, боясь постучаться в какую-нибудь из занесенных снегом изб, все надеясь встретить живого человека, но так никого и не встретив, пока слабо проторенная в снегу тропинка не привела меня к такой же избе, как и другие, но над входом в которую висел выцветший почти

добела красный флаг и была прибита вывеска «Вол-исполком».

Поднявшись на крыльцо, я толкнула дверь. Она не была заперта, но когда я вошла в избу, там никого не оказалось. Не зная, как быть, я снова вышла на крыльцо.

И тут я увидела шедшего посредине улицы человека — такого, каким должен был быть человек в этом словно сновидении мне, страшном, запутанном сне. Человек этот шел, тяжело переступая распухшими, негнущимися ногами и качаясь, как колос, раскачиваемый ветром. Но было в его шатающемся теле что-то от воинской выправки — быть может, прямизна спины, быть может, руки, слабо взмахивавшие в такт шагу и вытягивавшиеся по швам, когда он приостанавливался и переводил дыхание, не имея сил идти дальше.

Он подходил все ближе и ближе. Теперь я уже хорошо видела его будто налитое водой желто-серое лицо, сглаженное сплошным отеком в тугую, плоскую маску. Но даже когда он вплотную подошел ко мне, даже когда окликнул меня сиплым, сдавленным голосом, я не узнала Флегонтыча — до того он переменялся, до того стал непохож на себя.

А потом была долгая-долгая неделя — быть может, самая страшная в моей жизни неделя, которую я провела в Таволожке, Пугачеве и Самаре, слушая ровный, однотонный рассказ о лете, об осени и зиме, как ели сначала траву, потом суррогаты, а теперь и суррогатов нет, стали есть падаль, и слова, что голодающих в селе, почитай, нет, а остались только умершие и умирающие, как сперва крестьяне бросались к Совету, требовали хлеба, кричали, а потом, увидев, что в Совете хлеба нет и что «сама власть» тоже перешла на лист, «утишились». И я узнала веющее смертью слово «лег», которое означает, что человек лег и уже не встанет, и дикий крик помешавшейся с голода женщины: «Глядите! Глядите! Пироги идут! На ножках! В сапожках топают! Идите сюда, идите, пирожки милые!», и восковые, уже не бледные, а белые детские лица с глазами, в которых, как у кукол, нет взгляда.

А потом Пугачев и Самара. «Музей голода», где выставлена коллекция суррогатов хлеба — серые, бурые, красные, желтые комки с этикетками: глина, земля, навоз, стружка, щепки — даже с химическим анализом, в котором можно найти все, кроме белков, жиров и угле-

водов, фотографии похожих на тени людей, порой с надписью: «трупоед», «людоед». Пройдем мимо этих фотографий, не оглядываясь: большинство тех, что дошли до трупоедства и людоедства, погибли чуть ли не на следующий день, до того они были истощены.

И дети, дети, дети — подкинутые, подброшенные, убежавшие из дома от голода. В приемнике на пятьдесят мест их около пятисот. Они лежат вповалку на голом полу, оборваны до последней нитки, всюду светится голое тело, всех бьет частая дрожь.

А среди всего этого ужаса люди, о подвиге которых невозможно рассказать, для этого в человеческом языке нет слов.

Кто эти люди? Врачи, сестры, няни. Работники детских приемников и детских домов.

Флегонтыч, раздававший все, что мы с мамой ему посылали, и то, что я ему привезла: «Все равно я помру, а они, может, дотянут» — отказался, сколько я его ни уговаривала, уехать в Москву: «Разве ж я могу своих односельчан бросить? Ведь я ж один на наше село живой коммунист остался». Не уехал — и умер.

Доктор Фритьоф Хансен, который, невзирая на клевету, что он «продался» большевикам, просил, требовал, добивался средств, покупал продовольствие, отправлял его голодающим детям Поволжья, не жалел для этого ни сил, ни времени, ни здоровья, и которого трудящиеся Москвы избрали почетным членом Московского Совета.

Помощник Хансена доктор Феррер, скончавшийся в январе двадцать второго года от сыпного тифа.

Коммунист Иоганн Юльевич Пальмер, погибший на посту при объезде голодающих мест.

Работники питательных пунктов, в том числе немало работников АРА, проявивших истинное человеколюбие и преданность людям.

Два человека, чьи имена знала вся Самара: один — Бергер, бывший австрийский военнопленный, коммунист, оставшийся в Советской России, худенький человек с огромными грустными еврейскими глазами, на протяжении многих месяцев не уходивший ни днем ни ночью со своего поста в губернской комиссии помощи голодающим. Второй — человек быстрый, стремительный, переносившийся из конца в конец губернии, чтобы ускорить, подтолкнуть, помочь, спасти; в Самаре вольно или невольно переименовывали его имя, называли его

Антон Осеянный или Антон-Весенний. Это был Владимир Александрович Антонов-Овсеенко.

Желая показать, что за человек он был, обычно говорит: «Он брал Зимний». Правильнее было бы говорить иначе: «Он брал Зимний и возглавлял борьбу с голодом в Самаре».

7

Весной двадцать второго года, выступая при открытии Одиннадцатого съезда партии, Владимир Ильич сказал:

«Бедствия, которые обрушились на нас в этом году, были едва ли еще не более тяжелыми, чем в предыдущие годы.

Точно все последствия войны империалистической и той войны, которую нам навязали капиталисты, точно все они собрались вместе и обрушились на нас голодом и самым отчаянным разорением».

Но Владимир Ильич не только собравшимся здесь товарищам, но и никому не сказал, сколько ночей провел он без сна, думая о голодающем Поволжье, как мучали его головные боли, как трудно было ему пережить всю эту зиму. Мы знаем об этом только по прорывавшимся у него порой коротким фразам, в которых он, такой сдержанный и замкнутый во всем, что касалось лично его, говорит о своей болезни.

«Взять перо в руки прямо-таки не под силу. Устаю», — пишет он двадцать восьмого октября двадцать первого года Замоскворецкому райкому партии, просившему его как члена районной партийной организации написать свои воспоминания.

«Устал дьявольски. Бессонница» — шестого декабря того же года Горькому:

«Устал и болен» — в этот же день Михе Цхакая.

«Лично видеться постараюсь, но не обещаю, ибо здоровье плохо» — Д. И. Курскому двадцать восьмого февраля двадцать второго года.

«Я болен. Совершенно *не в состоянии* взять на себя какую-либо работу» — Варге восьмого марта.

«Нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят» — седьмого апреля Серго Орджоникидзе.

Не случайно на исходе зимы этого года у Владимира Ильича произошел первый тяжелый приступ его болезни.



**ВСЕРЬЕЗ
И НАДОЛГО**

Из всех дошедших до нас ленинских фотографий больше всего я люблю те, что сделаны во время Третьего конгресса Коминтерна: мы видим Ленина в минуты, когда он сидит на ступеньках лестницы, ведущей в президиум, держит карандаш, что-то пишет, иногда, подняв голову, смотрит на оратора — и по лицу его, по выражению чуть прищуренных глаз чувствуешь внимание, с которым он слушает.

Конгресс этот собрался летом двадцать первого года. Задачей его было определить стратегию и тактику коммунистических партий в новой мировой обстановке, когда стало ясно, что революционная волна пошла на убыль и вместо прямого штурма крепостей противника коммунистические партии должны готовиться к затяжной осаде и повседневным боям, победы в которых можно добиться, лишь привлекиши на свою сторону большинство рабочего класса.

Основной спор на конгрессе шел с «левыми» — итальянскими, германскими, австрийскими, французскими, прочими. «Левые» проповедовали «теорию наступательной борьбы». Тактику, не направленную на немедленную схватку с буржуазией, считали оппортунизмом. Утверждали, что наступательные действия, «если даже они терпят поражения, являются предпосылкой будущей победы и единственно возможным средством для революционной партии завоевать массы...». Держались «левые» вызывающе, смотрели на себя как на единственных носителей идей рабочего класса.

«Нам, русским, эти левые фразы уже до тошноты надоели», — отвечал на это Ленин. Показывал «левым» авантюристичность их теории и тактики. Напоминая французскую поговорку: «Il faut reculer pour mieux sauter» — «Нужно отступить, чтобы лучше прыгнуть», говорил: «Чем правее сейчас, тем вернее завтра». «Über Nacht» möglich, aber auch 2—3 Jahre möglich». — Может быть, «завтра», но, может быть, также и через

два-три года. Рекомендовал не бояться по возвращении сказать своим партиям: *мы все вернулись из Москвы после Третьего конгресса Коммунистического Интернационала осторожнее, умнее, благоразумнее, «правее».* Это стратегически правильно.

Конгресс абсолютным большинством одобрил ленинские предложения и высказался за тактику терпеливого завоевания большинства рабочего класса.

Это было пятого июля. Председательствующий звонком колокольчика призвал к вниманию и объявил, что в этот день товарищу Кларе Цеткин исполняется шестьдесят пять лет. Слово было предоставлено члену германской делегации Ф. Геккерт:

— Для всего рабочего Интернационала имя Клары Цеткин — своего рода программа...

Ответом была бурная овация. Таким уважением и любовью, как Клара, в международном коммунистическом движении не пользовался никто, кроме Ленина.

Ко всему, что было сделано ею за сорок с лишним лет революционных битв, недавно она добавила новую блистательную страницу.

В конце двадцатого года в Туре собрался съезд французской социалистической партии. Большинство его составляли сторонники присоединения к Коммунистическому Интернационалу. Известно было, что в его работах должна принять участие Клара Цеткин. Об этом узнала французская полиция, и министр внутренних дел запретил Кларе въезд во Францию.

Каково же было всеобщее изумление, когда Клара появилась на трибуне съезда.

— Друзья мои! — начала свою речь Клара. — Хотя мне отказали в паспорте, я решила прийти к вам, чтобы своим примером старого борца пригласить вас презирать те преграды, которые ставит на нашем пути буржуазное государство...

Закончила она пламенным призывом:

— Да здравствует революция в России! Да здравствует пролетарская революция!

Как только она провозгласила эти слова, погас свет — и Клара исчезла так же таинственно, как явилась.

Ее появление, ее речь потрясли съезд. Но потрясли они и французскую полицию и правящие круги Фран-

ции. Как она смогла приехать? Ведь были приняты все меры предосторожности! Пробралась ли она на автомобиле? Или на пароходе? Быть может, на аэроплане? Переодевшись? Загримировавшись? По подложному паспорту? В мужской одежде?

А Клара, весело посмеиваясь, разослала по газетам письмо, в котором заявляла, что она не намерена помогать французской полиции в поисках разгадки, но сообщает, что она не маскировалась, не обзаводилась фальшивыми бумагами. «Пусть противники сочиняют роман о моем приезде во Францию, я же ставлю себе реальные задачи».

Монархист Вала потребовал от министра внутренних дел объяснений. Министр что-то лепетал, на правых скамьях шикали и свистели.

Тогда слово взял коммунист Марсель Кашен.

— Я преклоняюсь перед этой женщиной,— сказал он.

— Перед Лениным! — закричали справа.

— Да, и перед Лениным,— ответил Кашен. И продолжал, не скрывая иронии: — Я хочу оказать министру внутренних дел поддержку и заверяю палату депутатов, что как господин министр, так и его подчиненные сделали все, чтобы помешать въезду Клары Цеткин во Францию. Если им это не удалось, не их вина. И я пользуюсь случаем, чтоб еще раз выразить восхищение поступком старой женщины, доказавшей, что, когда душа полна горячей любви к человечеству, нет препятствий, которые невозможно преодолеть!

И вот сейчас в Москве бледная, растроганная, снежно-седая Клара стояла перед приветствующими ее товарищами по революционной борьбе.

— ...У меня есть только одно заветное желание,— сказала она,— ради исполнения которого можете трудиться вы все, а именно: работать за то, чтобы, прежде чем я сойду в могилу, мне удалось пережить революцию в Германии, а если возможно, то и в других странах.

Затем слово для доклада о тактике Российской Коммунистической партии было предоставлено Ленину. Выступая перед представителями революционного

пролетариата всего мира, он объяснял, как русские коммунисты приспособили свою тактику к зигзагообразной линии истории, почему они отступили, почему не только можно, но и необходимо «торговать и революцию делать».

Выступления Ленина на конгрессе напечатаны в Полном собрании его сочинений. Но это лишь сухая стенограмма. Только тот, кто, как это было с Кларой Цеткин, присутствовал на конгрессе, кто сам слышал Ленина, может передать всю силу звучания его слов.

Вспоминая встречу с Лениным в дни работы конгресса, Клара пишет: «Первая волна мировой революции спала, вторая же еще не поднялась,— говорил Ленин.— Было бы опасно, если бы мы на этот счет строили себе иллюзии. Мы не царь Ксеркс, который велел сечь море цепями. Но разве констатировать факты — значит оставаться бездеятельным, то есть отказаться от борьбы? Ничуть. Учиться, учиться, учиться! Действовать, действовать, действовать!»

Существует карандашный портрет Ленина, сделанный художником Леонидом Пастернаком во время Третьего конгресса, быть может, в ту минуту, когда он произносил слова, запечатленные Кларой. Ленин стоит на трибуне. Глаза его чуть прикрыты. Тело устремлено вперед. Весь он — сила, напор, воля к борьбе.

Среди присутствовавших в зале была Александра Михайловна Коллонтай — член русской делегации конгресса, один из лидеров так называемой «рабочей оппозиции».

Когда Десятый съезд партии признал пропаганду идей «рабочей оппозиции» несовместимой с принадлежностью к коммунистической партии, лидеры «рабочей оппозиции» заявили, что они опротестуют это решение перед лицом международного пролетариата. Сейчас Коллонтай по поручению своих соратников должна была выступить с этим протестом перед конгрессом Коминтерна.

«Я стояла и мучилась,— записывала в тот же день А. М. Коллонтай в своем дневнике.— Смолчать — не есть ли это просто трусость?»

Она подседа к Владимиру Ильичу.

— Владимир Ильич,— сказала она.— Я хочу нарушить партийную дисциплину и взять слово.

Ленин резко к ней повернулся.

— Нарушить партийную дисциплину? И вы на это спрашиваете моего благословения? Это делают, но об этом заранее не говорят.

— Ловлю вас на слове, Владимир Ильич,— попыталась свести дело к шутке Коллонтай.— Не спрашиваю и записываюсь...

На глазах у Ленина она вырвала из блокнота листок бумаги и написала: «Прошу слова. Александра Коллонтай».

Он попытался остановить ее, как не раз уже пытался останавливать участников «рабочей оппозиции». Слишком хорошо он знал, что если они не остановятся, то покатаются по наклонной плоскости ожесточения, остановиться на которой будет уже невозможно.

— Не надо, Александра Михайловна! Честное слово, не надо,— сказал он.— Поезжайте лучше, посмотрите, что мы делаем, как разворачиваем в Кашире. И все ваши сомнения отпадут.

Но Коллонтай не вняла его совету.

«...Выступления закончились,— писала она потом в своем дневнике.— Я иду через зал к выходу. Никто меня не замечает. Я знала, что это будет. Но это больно. Очень больно... На душе у меня темно и тяжело. Ничего нет страшнее, больнее, чем разлад с партией. И зачем я выступила?»

— Зачем? Зачем? — спрашивала она себя. И она нашла мужество понять, что выступать было незачем, и признала ошибочность платформы «рабочей оппозиции».

Конгресс в своем решении заявил, что он с восхищением взирает на борьбу российского пролетариата и единодушно одобряет политику Российской Коммунистической партии, которая с самого начала и во всяком положении правильно усматривала грозящие опасности и всегда находила средства предотвращать их, оставаясь верной принципам революционного марксизма.

2

Перенесемся снова в холодную, голодную зиму двадцать первого года. Москва, Кремль. Длинный зал засе-

даний Совета Народных Комиссаров, кажущийся еще более длинным потому, что во всю длину его стоит длинный-длинный стол. Заседание должно начаться. Часы бьют шесть ударов. Растворяется дверь, и входит Ленин.

Он приходит точно, без минуты опоздания. Садится в свое деревянное кресло с соломенным сиденьем. Открывает заседание.

Быстро течет река докладов. По выражению А. В. Луначарского, кажется, что самое время сделалось более плотным, — так много фактов, мыслей и решений вмещалось в каждую данную минуту.

Ленин внимательно слушает, записывает. Как только вопрос становится ясен, предлагает прекратить прения. Если кто-нибудь вносит целесообразное решение, быстро схватывает его и говорит: «Ну, диктуйте, это у вас хорошо сказано».

Сам он говорит сжато, короткими фразами. Речь его своей экспрессивностью напоминает его записки, написанные мельчайшим бисером на крохотных листках бумаги:

«Довольно *воркотни*, вносите в Цека *деловые* предложения».

«Обе прилагаемые вещи, явно, *х л а м*. Мы будем в дураках».

«Я не верю: одна склока; мы ее уладим».

«Прекратите саботаж и двиньте дело, как *с л е д у е т*, иначе я буду воевать в Цека».

«Если бы хлеб, то я бы»... Как не стыдно Вам повторять этот шаблон? Конечно, если Вам *дать*...

Нет, потрудитесь *сами* достать все: и соль *и н а с о л ь* хлеб и пр.

Инициатива, почин, местный оборот, а не попросайничать: если бы мне дали... Стыд!»

Его меткие, емкие слова обладают особой силой убеждения. А. З. Гольцману запомнилось, какое сильное впечатление произвело на него ленинское выражение «безрукие люди»: в записке на имя М. П. Томского Ленин возмущался бездеятельностью профсоюзных работников в вопросе, касающемся нужд рабочих-торфяников, и требовал прогнать этих безруких людей вон. И другой случай, который произошел при обсуждении порядка натурального премирования рабочих, перевыполнивших нормы. Думая, как добиться того, чтоб премия воспринималась не как простая прибавка к заработ-

ной плате, но чтоб человек чувствовал, что к ней надо подтянуться, Ленин нашел выразительную формулу: «Высота премий».

3

Несколько лет спустя после смерти Ленина Яков Аркадьевич Яковлев, который на протяжении ряда лет работал в непосредственной близости к Владимиру Ильичу, задумался над вопросом: почему, когда читаешь и перечитываешь Ленина и читаешь как будто бы давно знакомые слова, всегда открываешь бесконечно много нового? Ведь большая часть того, что писал и говорил Владимир Ильич, посвящена вопросам, давно отошедшим в область истории, людям, давно умершим или покинувшим арену государственной и партийной жизни, событиям, потерявшим для нынешнего дня свое прежнее значение. И все же каждое слово Ленина живет полноценной жизнью, каждая мысль его свежа и современна, будто в первый раз прочитана, будто только что высказана, будто отвечает на вопросы сегодняшнего дня.

Так было пять лет спустя после смерти Ленина. Так остается и сегодня — после того, как миновало еще четыре десятилетия.

Бесконечно далеко ушло от нас и кажется даже неправдоподобным время, когда главным видом топлива в нашей стране были дрова, и Ленин, взвешивая хозяйственные возможности ближайшего будущего, говорил: «Нужно поднятие промышленности, а для этого нужно топливо, а раз нужно топливо, нужно рассчитывать на дрова, а рассчитывать на дрова — значит рассчитывать на крестьянина и его лошадь».

Есть ли у нас сегодня хотя бы одно промышленное предприятие, которое работает на дровах? Кто помнит топливные «двухнедельники» и «трехнедельники»? Кто знает про такое учреждение Главлеском, ведавшее добычей и подвозом дров?

Но возьмите письмо Ленина к товарищам, мобилизованным на топливный трехнедельник. Он просит их, чтобы они обратили особое внимание на проверку отчетности по заготовке и вывозу дров, ибо, наблюдая снизу, на месте, тщательно изучив дело, они смогут помочь Совету Труда и Оборона, который видит, что

дело стоит плохо, но не знает, как его улучшить. Эти ленинские мысли живы по сегодня. Как живы и его слова, что бюрократы часто покрывают воровство и «артистически» его проводят, и, чтобы с этим покончить, крайне важно снизу и подетальнее изучить приемы обмана.

Давно позабыты электроплуги Фаулера, интересовавшие Ленина. Но разве не с прежней силой и убедительностью звучат слова Ленина о волоките, сопровождавшей изготовление этих электроплугов: «...с точки зрения принципа необходимо такие дела не оставлять в пределах бюрократических учреждений, а выносить на публичный суд, не столько ради строгого наказания (может быть, достаточно будет выговора), но ради публичной огласки и разрушения всеобщего убеждения в ненаказуемости виновных».

Так узкие, частные вопросы превращаются в общие и принципиальные.

Вот Анна Ильинична Ульянова-Елизарова спрашивает Ленина, как ей быть: она не сработалась со своей заместительницей. Ленин отвечает: «Основной принцип управления, по духу всех решений РКП и центральных советских учреждений,

— определенное лицо целиком отвечает за ведение определенной работы».

Вот Ленин пишет управляющему делами Совнаркома Николаю Петровичу Горбунову свои соображения по поводу работы Чрезвычайной комиссии по экспорту:

«По каждому «делу» надо от времени до времени... производить *проверку реального* выполнения. Это самое важное и самое необходимое».

Вот Ленин пишет письмо замнаркомзема Н. Осинскому, у которого сложились нездоровые отношения с коллегией наркомата: «...чтобы вести такой наркомат, как Наркомзем, в таких дьявольски трудных условиях, надо не видеть «интригу» или «противовес» в инакомыслящих или инакоподходящих к делу, а ценить самостоятельных людей».

Вот он отвечает Евгению Варге, которому поручено организовать Информационный институт для сбора материалов о современном империализме и международном рабочем движении. Варга обратился к Ленину с вопросом, для кого должен собираться этот материал?

«Я считаю постановку вопроса (информировать *ИККИ* или рабочую прессу или *обоих*?) неправильной,— отвечает на этот вопрос Ленин.— Нам нужна

полная и правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить».

4

Не следует представлять себе дело так, будто все происходило без трений и шероховатостей, будто Ленин никогда не оставался в меньшинстве, слово его всегда оказывалось решающим и, как писал Владимиру Ильичу в одном из своих писем А. А. Иоффе, «Цека» и «Ленин» представляли собой одно и то же.

«Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что «Цека, это я», — писал Ленин в письме к Иоффе. — Это можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления. Старый Цека (1919—1920) побил меня по одному из гигантски важных вопросов, что Вы знаете из дискуссии¹. По вопросам организационным и персональным несть числа случаям, когда я бывал в меньшинстве. Вы сами видели примеры тому много раз, когда были членом ЦК.

Зачем же так нервничать, что писать *совершенно невозможную, совершенно невозможную* фразу, будто Цека, это я».

Нет, ЦК это не был Ленин. ЦК (а также Совнарком, и Совет Труда и Оборона, и прочие советские и партийные органы) — все это были органы партии и Советской власти. В них работали люди, имевшие свои достоинства и недостатки, свои характеры, порой весьма норовистые, свои заблуждения, люди, которые глубочайшим образом уважали Ленина, но вели при этом самостоятельную работу, искали самостоятельных решений, нередко вступали с ним в спор. Помимо своих отношений с Лениным они находились во взаимных отношениях между собой — дурных, хороших, всяких. Эти отношения не были чисто личными, они определялись деловой и политической борьбой или же согласием. «Новый Цека только вчера конституировался и «вработается» *не сразу*», — писал, например, Ленин в том же письме Иоффе о ЦК, избранном на Десятом съезде партии. И сверх всей своей огромной работы Ленин должен был постоянно примирять, успокаивать, сглаживать

¹ Ленин, видимо, имеет в виду пленум ЦК РКП(б) 7 декабря 1920 года, на котором он остался в меньшинстве и была принята при поддержке Троцкого резолюция, внесенная Бухариным.

углы в отношениях между товарищами, помочь им преодолеть обиды и конфликты и найти общую почву для работы.

Порой это удавалось ему весьма нелегко.

«Помню, как сейчас, всю картину моего спора с В. А. Аванесовым и Н. П. Брюхановым...— рассказывает Сергей Малышев, вспоминая, как Владимир Ильич редактировал проект постановления об организации передвижных хлебозакупочных и товарных пунктов.— Под давлением Аванесова Владимир Ильич переписал один пункт этого постановления. Я видел, что из-за этого пункта возникнут большие затруднения, будет стеснена инициатива, и запротестовал.

— Ну, как же вам написать? — спросил меня Владимир Ильич.— А так выйдет?..

— Нет.

— Почему?

Доказываю...

— Ну, а так выйдет?

— И так не выйдет, Владимир Ильич. Напишите же так, как было.

— Надо же соблюдать интересы ведомств,— замечает мне Владимир Ильич.— Ведь они возражают. Ну, вот так давайте напишем, как указал Брюханов.

Я говорю:

— Нет, я не ручаюсь, что из этого что-нибудь выйдет.

— Ну, вот еще слово прибавим...

Наконец я не вытерпел и говорю:

— Да, господа, ведь ничего же не выйдет из этого...

Владимир Ильич полушутя-полусерьезно прикрикнул на меня:

— Ну, господа, господа... Как же вам написать? Ну, ладно, вот так напишем. Хорошо?

— Теперь вот хорошо, Владимир Ильич.

— Ну вот, господа, господа.

И, положив карандаш, сказал:

— Ну кончено... Кончено...»

Даже явная неправота по отношению к нему не вызывает со стороны Ленина грома и молний. Характерна приписка, сделанная им в письме начальнику Центрального статистического управления П. И. Попову.

«Р. С. Добавлю, что Ваше письмо слишком полемично,— пишет он.— Я не против полемики, но ее надо выделять особо. Вы спорите против того, чего я не гово-

рил и не думаю. Вы спорите так, будто я отрицаю пользу сделанного и т. п. Но я этого не говорил и не думаю».

Рядом с ним люди росли. Он не подавлял работников, а помогал им становиться умнее и деловитее, достигая этого прежде всего тем, что доверял им.

Людам, которые с ним общались, всегда было с ним интересно. Даже выслушав суровый разнос, человек не обижался, ибо знал, что за этим не стоит ничто личное, мелкое, мстительное, знал, что, как только он исправит свою ошибку, Ленин о ней не помянет и, во всяком случае, никогда ею не попрекнет.

Весь двадцать первый и большая часть двадцать второго года были заполнены выработкой начал новой экономической политики. Когда речь шла о деревне, Ленин требовал действовать «с величайшей, тройной осторожностью», «шаг за шагом, вершок за вершком», «по правилу: «Семь раз примерь, один — отрежь», подходя даже к самым деловым, сугубо практическим вопросам — таким, к примеру, как работа продовольственных агентов, — с тончайшим проникновением в условия крестьянской жизни.

«Чтобы свобода была на практике похожа на свободу, — говорил он, — надо, чтобы взимание налога произошло быстро, чтобы взыскатель налога недолго стоял над крестьянином...»

В письме Ленину крестьяне Урусовской волости Веневского уезда Тульской губернии писали, что, когда стало известно об отмене разверстки и переходе к налогу, «в деревне будто постом наступила пасха». «Иная старуха всю зиму не подходила к окну, а тут на радостях даже на крылечко вылезла».

Настроение деревни круто переменялось. «Голосов против Советской власти уже не слышно, — писали крестьяне в газету «Беднота». — Все заботы только об одном: как бы улучшить свое хозяйство и, узнавши наверняка о налоговом законе, посеять побольше, чтобы быть с излишками».

Разумеется, настроение это не было совсем уж всеобщим. Не говоря о тех, кто был заведомо враждебен к любому мероприятию, если только оно исходило от Советской власти, было немало «переживающих», смотревших искоса и недоверчиво, опасавшихся, «а

вдруг политика обманет», говоривших: «На посуле, как на стуле, далеко не уедешь».

Надо было переломить эти настроения. Надо было доказать крестьянину, что партия признает новую экономическую политику, как то говорил Ленин на Десятой партийной конференции в мае двадцать первого года, «установленной на долгий, рядом лет измеряемый, период времени», «всерьез и надолго».

В телеграммах, рассылаемых на места, в письмах к местным партийным организациям Ленин и Центральный Комитет ставили перед всей партией задачу: понести в деревни и села понимание того, что делает Советская власть для восстановления крестьянского хозяйства.

Для этого ЦК предлагал проводить беспартийные крестьянские конференции и деревенские сходы. Коммунист на сходе должен ставить вопросы практически, охватывая интересы данной деревни, села, волости. Он обязан найти с крестьянством общий язык и внимать не собственным резонам, а внимательно вслушиваться в то, о чем думают и что говорят крестьяне.

Вытравить «разверсточный азарт», как называли тогда въевшуюся привычку к командованию крестьянином, было нелегко.

«...С мест несутся жалобы на политику земельных отделов и других органов Советской власти,— писал Ленину заместитель наркома юстиции П. А. Красиков.— Ваше правило щадить середняка не соблюдается...»

«Знаю,— отвечал Ленин.— Безобразие. Что еще придумать? «Манифест»? Или особый «декрет»? Или *в суд?*»

Ленин, автор глубокого исследования капиталистического развития России, создавший совершенно новую методику изучения процессов расслоения деревни, как никто знал русского крестьянина, видел двойственность души середняка, понимал все опасности роста кулачества в условиях нэпа. И вместе с этим крестьянство, по удачному определению А. В. Луначарского, было для Ленина не только объектом его политики, но и ее субъектом, совершенно родной ему частью революции.

Ибо Ленин и знал, и любил крестьянство, крестьянский ум, крестьянский разговор, тех крестьян, что у него бывали. Без этой любви, одной лишь голой мыслью,

голой политикой, своим экономическим расчетом он не смог бы создать свое учение о крестьянстве, как союзнике пролетариата.

Только благодаря этой любви расслышал он в меканиях и гении Льва Толстого голос крестьянской революции, протест и отчаяние миллионов и миллионов крестьян.

В. Д. Бонч-Бруевич рассказывает, как он, проходя по Кремлю, встретил Ленина. Они остановились у памятника Александру II, залюбовались открывавшимся от него видом Замоскворечья.

Вдруг Ленин круто повернулся и, глядя в сторону Ивана Великого и Успенского собора, спросил:

— Толстого где предавали анафеме, когда отлучали от церкви?

— В Успенском соборе прежде всего, — сказал Бонч-Бруевич. — А потом, как полагается, во всех церквях.

— Вот тут-то бы и надо поставить ему памятник, — воскликнул Ленин. — Вот этого снести, — он указал на порфиноносную фигуру Александра II, — все это преобразить — и сюда Толстого! Толстого, обличающего церковь, громящего царей, бичующего богатства, ответственность, роскошь...

5

При выработке законов, отвечающих основам нэпа, чрезвычайно важно было, чтобы новые законы не напластовывались бы на старые, а представляли собой элементы действительно нового, притом стройного, ясного и единого законодательства. И, наверно, нигде это не было столь насущно, как в запутанном издревле, а после революции еще более запутавшемся крестьянском землеустройстве.

Вопрос о новом своде законов о земле в конце двадцать первого года был поставлен на обсуждение Девятого съезда Советов, но предварительно его обсуждали на совещании беспартийных делегатов, среди которых было два или три рабочих, остальные же — крестьяне от сохи. Именно «от сохи», от деревянной сохи, носившей почему-то прозвище «Андреевна».

Мне не пришлось быть на этом совещании, но существует его стенограмма. Сохранились живые и яркие

воспоминания участников, несколько репортерских отчетов.

Происходило оно в Кремле. Поначалу все так шумели, так перебивали друг друга, что кто-то даже закричал: «Товарищи, да на волостном сходе не бывает такого беспорядка». И когда появился Калинин, упростили его взять на себя председательство.

Калинин произнес короткое вводное слово. Сказал: — Рабочий и крестьянин стоят друг против друга. Один говорит: «Дай хлеба!» Другой говорит: «Дай товаров!» Но каждый крестьянин знает, что прежде, чем ехать, надо кормить лошадь. Рабочему нужно дать хлеб — тогда производительность поднимется. Крестьянское хозяйство тоже нуждается в восстановлении, укреплении и улучшении. Об этом и пойдет речь на съезде...

Если за год до того крестьянских делегатов волновала разверстка, то теперь больше всего нареканий вызывала гужевая повинность. Поэтому первое слово на совещании беспартийных делегатов было представителю Наркомтруда товарищу Лембергу.

— С волнением в душе от выпавшей на мою долю великой чести докладывать хозяевам земли приступил я к докладу,— писал Лемберг под свежим впечатлением только что закончившегося совещания.— Кратко рассказал о повинностях в царское время, об усилении повинностей в годы гражданской войны, о бессистемности трудовой разверстки и круговой разрухе, о том, что повинность в течение шести дней в году необходима и необременительна.

В середине доклада Лемберга вошел Ленин. Зал сразу его узнал, заплодировал. Старик с бородой до пояса громко сказал:

— Уж тут мы поговорим, все выложим.

Когда дошло до прений, посыпались бесконечные жалобы на действия местных властей. Деревню, мол, замучили, как Варвару-великомученицу, комтруды¹ безобразят, не выполняют законы центра,— так что ж с того, что законы хороши?

— Разве нам жалко работать? — говорил делегат из Смоленской губернии.— Работали на царя, работали на помещика, ужели для своего государства пожалеем

¹ Комтруды и желескомы — органы, ведавшие гужевой, дровяной и прочими трудовыми повинностями.

шесть дней? Лишь бы мы знали, что только это и нужно и что не вовремя от своей работы нас не оторвут.

Ленин выступал на совещании трижды: два раза при обсуждении вопроса о трудгужналоге и раз в конце прений по земельному вопросу.

— Мое дело здесь,— сказал он,— как я понимаю, больше слушать и записывать.

Он сидел не в президиуме, а в переднем ряду. Хмуро и сосредоточенно слушал, иногда переспрашивал. Быстро заполнял мелким бисерным почерком листки блокнота.

«Бумажная волокита; от нее избавиться... Желескомы тяжелы, мучают людей, не дают того, что полагается. Обманывают. В рабочую пору зря требуют работу, которую нельзя сделать иначе, как в другую пору... 100 лошадей убились. Кто вознаградит?.. (Избавиться от круговой поруки. Каждый за себя отвечает)... Налог путь правильный... Буржуев уничтожать нетрудно и хорошо. Но у нас кабала: труд превратился в кабалу... Объявляют дезертиром, когда сбежит мокрый, голодный, не получивший ни одежды, ни платы. Работу в праздник заставляют делать, а соль не выдают «из-за праздника»!! («Мутокаются, дела не делают»). Укомтруд не нравится. Надо трудналог... Отменить трудповинность, чтобы был вольный труд».

Прения затягивались. М. И. Калинин внес предложение их прекратить. Собрание взбунтовалось, послышались возгласы: «Нет уж! Добрались, так надо выложить до конца», «Мир уполномочил, надо будет ответ держать!», «Привел господь бог товарища Ленина увидеть, хотим все ему высказать».

Делегаты просили Ленина ответить на их вопросы.

— ...Все вопросы, которые здесь заданы, я записываю... но без точной справки соответственного учреждения... я сейчас ответить не могу...— сказал он.— Сможем ли мы помочь и насколько помочь? Повторяю, что я сейчас ответа дать не могу. Указания на неправильности и злоупотребления желескомов я считаю в общем, несомненно, правильными... Я все указания, которые здесь делаются, записываю и о каждом из них в соответственный наркомат или совнархоз напишу, для того чтобы можно было принять меры.

Эти меры были приняты — и несколько времени спустя после съезда трудгужналог заменен денежным обложением.

Не менее страстны были прения о едином земельном законодательстве, но тон и содержание их были уже иными: не жалобы на тяжелую крестьянскую долю, а раздумья, как эту долю улучшить.

Снова полились крестьянские речи. Кто говорил, что землеустройство ведется еще со времени Екатерины, но больше похоже на землерасстройство. Кто вспоминал, как при Столыпине создавались хутора и отруба, на которых устраивались кулаки, теперь же каждый имеет право получить равную долю, какую полагается на душу. Крестьянин Гусев из Тверской губернии сказал, что закон о новых формах землепользования он считает фундаментом возрождения хозяйства, государство должно только вести агитацию за лучшие способы землепользования, а выбор предоставить крестьянам. Крестьянин Фомин из Рязанской губернии говорил, что без знания ничего не делается, крестьяне рвутся работать,— «дайте нам дело», дайте правильную форму землепользования.

Особое внимание привлекло выступление делегата Московской губернии Головкина, седобородого старика в дубленом желтом полушубке и теплых катанках.

Пережил я трех царей, сказал Головкин, и Александра Освободителя, и Александра Миротворца, и Николая Виноторговца, и говорю, что, слава богу, этих помазанников больше нет. Пока они были, я сидел за печкой с тараканами, ни земли, ни хлеба у меня не было, а теперь гляди, где я сижу — в президиуме Всероссийского съезда. И говорю я вам: наше советское хозяйство мы наладим обязательно. Построим мы скромно, честно, чисто, только не забывайте Карла Маркса. Дело это простое: вот у человека две руки, и он обязан одной работать для государства, а другой для себя, и тогда все пойдет очень хорошо благодаря новой экономической политике. При старой разверстке я сам зарывал в землю хлеб, а теперь все держу открыто, не боюсь, так как продналог уплатил. Надо крестьянина больше удовлетворить, а он все даст своему государству. Крестьянство — это основа. Вот как в этом театре: стены — это крестьяне, крыша — рабочий, а окна и двери — интеллигенция. Подкопайте стены — рухнет все здание, сломается крыша, лопнут окна и двери. Погибнет крестьянин — все погибнет.

В своем постановлении Девятый съезд Советов поручил Наркомзему срочно пересмотреть земельное законодательство, согласовав его с основами нэпа и превратив в ясный, доступный пониманию каждого крестьянина свод законов о земле.

Проект единого кодекса законов о земле, которому суждено было заменить все действовавшие законы, был утвержден в конце октября двадцать второго года четвертой сессией ВЦИК, а затем принят Десятым съездом Советов.

Основную концепцию земельного закона составляло признание государства верховным собственником и распорядителем земли, а отдельных хозяйств и сельских общин — лишь пользователями государственной земель.

Частная собственность на землю отменялась навсегда. Каждому трудящемуся без различия пола, национальности и вероисповедания предоставлялось право на землю, если он хочет обрабатывать ее своим трудом. Право на землю бессрочно и может быть прекращено только по основаниям, указанным в законе: добровольного отказа от земли всех членов двора, выморочности двора, лишения права пользования землей по суду, занятия земли в установленном порядке для государственных надобностей.

Крестьянину предоставлялась свобода выбора форм землепользования и свобода выхода из общины во время общих переделов. Чтоб создать условия для устойчивого трудового землепользования, закон указывал, что общие переделы должны происходить не чаще трехкратного чередования севооборота, чтоб каждый землепользователь мог в течение девяти лет спокойно пользоваться предоставленной ему землей.

Так, содействуя развитию товарищеского кооперативного землепользования, закон предоставлял крестьянину свободно выбирать ту форму пользования землей, которую он пожелает.

Разумеется, при условии, что он будет хозяйственно ее обрабатывать. И не утаивать пашню. И честно вносить натуральный хлебный налог. И не превратит землю в средство кабалы и эксплуатации.

«Вопрос о земле,— говорил Ленин о новом земельном кодексе на сессии ВЦИК,— вопрос об устройстве быта громадного большинства населения — крестьянского населения — для нас вопрос коренной».

Его увлекала мысль о преобразовании земли. Вследствие своей болезни он не смог ее развить и изложить на бумаге, но Н. П. Горбунов запомнил, как Владимир Ильич несколько раз возвращался к идее обновления земли, при котором человек, вооруженный научными знаниями, извлечет из земли максимум пользы, все более и более повышая ее производительность.

7

Для этого необходимо, говорил Ленин, прочно обеспечить «дальнейший переход» крестьянского хозяйства, который состоит в том, чтобы «наименее выгодное и наиболее отсталое, мелкое, обособленное крестьянское хозяйство, постепенно объединяясь, организовало общественное, крупное земледельческое хозяйство».

Только таким путем миллионные массы крестьянства могут быть избавлены от нищеты и разорения.

Всячески поощряя объединение крестьянских хозяйств в общественные крупные хозяйства, представители Советской власти, подчеркивал Ленин, не должны при этом допускать ни малейшего принуждения. «Лишь те объединения ценны,— говорил он,— которые проведены самими крестьянами по их свободному почину и выгоды коих проверены ими на практике. Чрезмерная торопливость в этом деле вредна, ибо способна лишь усиливать предубеждения среднего крестьянства против новшеств».

8

Есть у Ленина образ, навеянный словами первого из плеяды великих ученых прошлого: «...Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»

Это не простая перефразировка изречения Архимеда: идея, что малая действующая сила, будучи верно приложена, способна преодолеть несоизмеримо большую силу сопротивления, пронизывает и учение Ленина о партии и ее роли в революции, и его постановку вопроса об отношениях рабочего класса и крестьянства, о значении крупной промышленности, об электрификации и многом другом.

Сегодня мысль, что крупная машинная индустрия — основа социализма, выглядит как школьная истина. Тогда Ленину приходилось ее формулировать, доказывать, отстаивать.

Искони на Россию смотрели как на страну аграрную, самое большое — аграрно-индустриальную. Да так оно и было. Достаточно вспомнить, что, по данным переписи двадцатого года, из 137-миллионного населения страны в городах жило немногим более двадцати миллионов, а сто пятнадцать миллионов — в деревне.

Большинству экономистов, сидевших в наших плановых органах, представлялось, что так всему суждено остаться и впредь. Если России и нужна промышленность, то чтоб обслуживать нужды деревни — ткать ситцы, выдувать бутылки, выпузывать самовары, изготавливать гвозди, косы, серпы, плуги. Именно такую промышленность увидел в будущей России известный экономист народнического толка, совершивший в своих мечтаниях путешествие в «Страну Крестьянской Утопии».

Сторонники этой точки зрения изъяснялись, цитируя чужие стихи:

Не пойдет наш поезд,
Как идет немецкий...

То прибегали к такому простонародному говору: — Да разве нашу жизнь железными карьями перекарябаешь?

Когда подумаешь, с чего и как мы начинали нашу крупную индустрию, прямо оторопь берет. Словами об этом не расскажешь. Рассказать об этом можно только фактами.

Вот несколько фактов, выхваченных из газет того времени.

В Екатеринбург (нынешний Свердловск) из-за границы (!!!) прибыло три рядовых сеялки из числа сельскохозяйственных машин и орудий, закупленных для Урала Внешторгом. Событие это столь значительно, что собственный корреспондент извещает о нем «Правду», а «Правда» печатает это сообщение.

Весь коммунальный транспорт Петрограда состоит из 4462 лошадей и 402 автомашин «на ходу», грузоподъемностью в 772 тонны. Этим хозяйством заправляют четыреста (!) транспортных подотделов, каждый из

которых действует сам по себе. Автогужевой инвентарь распылен: там, где есть лошади, нет орудий, где есть сбури, нет качек; где есть качки, нет дуг, где есть грузовики, нет шин.

На Мытищинском вагоностроительном заводе нет ни одной автомашины и лишь десять лошадей.

Обуховский завод выпустил за 1920 год три трактора, в 1921 году собирался выполнить программу, которую газетный корреспондент называет «грандиозной»: тридцать шесть тракторов!

Ленин лучше, чем кто бы то ни было, знает все трудности и болезни нашего хозяйства. Но уже в августе двадцать первого года он со спокойной уверенностью пишет: «Нужда и бедствия велики.

Голод 1921 года их *усилил* дьявольски.

Вылезем с трудом чертовским, но вылезем. И начали уже вылезать».

Так «трудно чертовски» было не только из-за сокращения объема производства. Дело было сложнее.

В годы «военного коммунизма» разорвались хозяйственные и финансовые связи предприятий, товарные фонды превратились в случайное сборище самых разнообразных фабрикатов, полуфабрикатов и сырья — нужных и никуда не годных, — в самых фантастических пропорциях и самых парадоксальных assortиментах.

Хуже всего обстояло с топливом, запасы его приближались к нулю. Фабричные здания по большей части сохранились, но были совершенно запущены. Паросиловое хозяйство дошло до полного развала.

Вдобавок к материальным трудностям промышленность унаследовала от времен «военного коммунизма» бюрократическую систему управления, в которой — совсем как в учении средневековых схоластов — реальным бытием обладали лишь общие понятия — «универсалии», а индивидуальные, конкретные вещи являлись не более как их «атрибутами» или «акциденциями»: вместо рыбы царила лишенная субстанции Главрыба, вместо соли — Главсоль, вместо стекла и спичек — Главстекло и Главспичка. В заработной плате преобладала натуральная часть, в учете — цифровая тьма, хозяйственного расчета не существовало, хозяйственные нули числились хозяйственными единицами.

И все это — посреди половодья первых лет нэпа, в условиях всеобщей нищеты и катастрофического падения ценности бумажных денег.

Когда промышленность начерно подсчитала свои ресурсы, обнаружилось неожиданное обстоятельство: фабричное и заводское оборудование сохранилось сравнительно неплохо.

Сберегли его рабочие — те, что звали себя «чистыми пролетариями» и в самое тяжелое время не распозлились по деревням, не покинули свои предприятия, охраняли их, подчас не получая ни пайка, ни заработной платы. Чем они жили? Что ели их дети?

Бывало и так. На Катав-Ивановском заводе белые, уходя, пытались увезти заводское оборудование. Но рабочие вместо станков стали набивать ящики камнями, тряпьем, песком, всякой дрянью. Не одного из них белые на этом поймали и расстреляли.

Единственный путь к тому, чтоб восстановить промышленное производство и добиться развития производительных сил, Ленин видел в перестройке промышленности на началах новой экономической политики.

На протяжении весны и лета двадцать первого года он уделяет этому огромное внимание. Не раз встречается с хозяйственными и партийными работниками. Пишет проекты правительственных постановлений. Изучает предложения других товарищей. Подвергает разрабатываемые документы новой и новой правке. Вносит их для тщательного обсуждения в ЦК партии, в Совнарком, в ВСНХ, проводит совещания с профсоюзами.

Итогом этой работы являются «Наказ СТО», «Постановление о местных экономических совещаниях».

Каковы идеи этих документов? Чего требуют они от тех, к кому обращены?

Прежде всего, понять, что поворот в экономической политике является не шагом назад, а шагом вперед, что он соответствует и объективному положению страны, и интересам мировой революции. Помнить, что косность и нерешительность в проведении новой политики являются нашими злейшими врагами.

Быстро и решительно перестроить хозяйство.

Покончить с распылением сил и средств, с выбрасыванием их на ветер. В кратчайший срок отобрать основные жизнеспособные предприятия и отдельные отрасли промышленности, добиться их максимального

производственного уплотнения, работоспособности, рационального ведения хозяйства.

Сосредоточить общегосударственные ресурсы на важнейших предприятиях и отраслях промышленности, в первую очередь обеспечив восстановление крупной промышленности — основы социализма.

Оставить на государственном снабжении только минимум наилучше оборудованных, имеющих запасы сырья и топлива фабрик, заводов, рудников, переведа их на точный хозяйственный расчет.

Хилые и безнадежные предприятия снять со снабжения и либо сдать в аренду кооперативам, товариществам, частным лицам, либо законсервировать.

Расширить права государственных предприятий, предоставив им право самостоятельной заготовки сырья и топлива, а также право расходования по собственному усмотрению, под их ответственность, отпускаемых им средств по различным статьям в пределах общей сметы.

Покончить с мертвящей казенщиной в управлении промышленностью, избавить промышленность от пут переписки и волокиты, а равно от мелочной опеки над отдельными сторонами ее повседневной деятельности.

Объявить войну безответственности за ведение хозяйства, сделать невозможным, чтоб управляющие тем или иным заводом могли находить тысячи отговорок для оправдания своего бездействия. Возложить на них всю полноту ответственности за правильное ведение дела.

Предельно расширить инициативу мест. Довести до наибольшей степени простоту и ясность управления. Как можно лучше приспособить это управление к тому, чтобы быстрее путем восстановить крупную государственную промышленность.

Путем разумно продуманной системы заработной платы и снабжения добиться повышения интенсивности и производительности труда, а также — самооблилизации пролетариата вокруг ведущих предприятий государственной промышленности.

Как великолепно найдено и сформулировано это понятие — самооблизация пролетариата!

Именно самооблизация! Не полумилитаризованные формы труда, задуманные Троцким в его плане соз-

дания «Трудармий», не стихийный «наем рабсилы», не приказ, не указ, не прикрепление, а глубокий процесс самомобилизации рабочего класса вокруг заводов, на которых создана такая обстановка, что завод становится для рабочего его домом, его жизнью, его счастьем!

Товарищи, участвовавшие в разработке документов о перестройке промышленности на новый лад, отмечают увлеченность, с которой работал над ними Владимир Ильич. «Он звонил мне по нескольку раз в день, а то и среди ночи,— рассказывает В. И. Милютин, который был членом комиссии по разработке «Наказа».— Спрашивал: «А что, ежели нам сделать так? А если повернуть вот этак?»

«В обсуждении проекта «Наказа» принимали участие работники с мест,— вспоминает Г. В. Циперович.— По существу возражений ни у кого не было, но зато много спорили о том, можно ли при отсутствии необходимых средств «на местах» и при слабости плановых аппаратов справиться с изучением экономической жизни с такой обстоятельностью, какую требовал проект «Наказа». Владимир Ильич заметно волновался, так как придавал «Наказу» большое значение, уговаривал «Наказ» не сокращать, и, когда голосовали по пунктам и разделам, стремительно выбрасывал руку вверх, словно боясь, что миг промедления может повредить «Наказу»...»

9

Центральной фигурой восстановления промышленности являлся русский рабочий. Тот рабочий, о котором А. В. Луначарский так хорошо сказал, что им «строится русская земля».

Питерский, московский, ивановский, донецкий. Слесарь с Путиловца и токарь с киевского «Арсенала», орехово-зубовский ткач и черемховский шахтер, железнодорожник, плотник, каменщик, металлист...

Нет и не было в истории класса, который проявил бы столько мужества, бесстрашия, такой способности вопреки неслыханным трудностям вести до конца бой во имя великих целей — и из глубин нищеты и отсталости подняться до положения авангарда человечества.

И нет в мире класса, который обладал бы таким чувством международного братства.

Перелистайте газеты тех лет. Выберите самые трудные дни — те, в которые выдавали осьмушку хлеба или только горсть овса. И в каждой из этих газет вы встретите скупые сообщения о субботниках, денежных отчислениях, о сборах теплых вещей и продуктов, проводимых рабочими в пользу бастующих английских, болгарских, итальянских, германских, испанских рабочих.

Выступая на съезде профсоюза текстильщиков с приветствием от имени Центрального Комитета партии, М. И. Калинин напомнил, что в 1855 году, при осаде Севастополя, каждому солдату месяц осады засчитывался за год службы.

— Та осада, те тяжести и подвиги, которые вынесли русские рабочие, — сказал Калинин, — не меньше, а значительно больше, чем выпавшие на долю севастопольских солдат.

Теперь, после полной героизма гражданской войны, российский пролетариат оказался на аванпостах фронта хозяйственного. Он должен был построить основу социализма — крупную индустрию.

Каким огромным трудом давался каждый шаг! Какой огромной радостью был даже ничтожно малый успех!

Помню завод в Филях, к партийной организации которого я была одно время прикреплена. К моменту национализации в восемнадцатом году он был недостроен и представлял собой неостекленную каменную коробку. Заводские рабочие свезли в Москву с разных концов страны оборудование, которое было закуплено еще старыми хозяевами до революции, но застряло в портах и на железнодорожных путях. Потом перевезли его на лошадях, а то просто перетащили волоком за пять верст от станции до завода — ни много ни мало, а около четырехсот тысяч пудов. Сами сконструировали трансмиссии, установили и наладили станки, пустили завод. И когда первый автомобиль — этакое трясущееся, подпрыгивающее, тархтящее маленькое чудовище — был готов, на торжества, устроенные по этому случаю, приехали М. И. Калинин, главком С. С. Каменев и представители многочисленных хозяйственных и рабочих организаций. Был устроен митинг, а после него рабочие завода и прибывшие на праздне-

ства гости — с этим автомобилем впереди — отправились через весь город на Красную площадь.

Была у подвига российского пролетариата еще одна сторона: именно он выдвинул из своих рядов людей, которые в тяжелейших условиях первых лет нэпа, осуществляя принципы, сформулированные ленинским «Наказом» и «Основными положениями», взвалили на свои плечи дело управления промышленностью и добились ее возрождения.

В те годы «Правда» широко предоставляла свои страницы письмам рабочих, печатала их обычно без правки. Большое место в этих письмах занимают «красные директора».

Разные это люди, с разным опытом, разным характером, разным жизненным путем.

Такие, как бывший рабочий Саввинской мануфактуры, ставший ее директором, С. М. Максимов, о котором рабочие фабрики пишут в «Правду», что «действительно настал час освобождения рабочего класса, если во главе нас стоят такие люди. Пусть весь рабочий класс знает, что недаром была пролита наша кровь, и рабочие достигли своих долгожданных целей». Или тульский рабочий, старый большевик, делегат Второго съезда партии Сергей Иванович Степанов — директор Тульского оружейного завода: «Он нам и друг, и отец, и учитель, и воспитатель, и советник,— пишут о нем рабочие,— жизнь его — пример честной трудовой доли рабочего». Или крестьянка из деревни Оголаховки Аграфена Кожанова: в 1904 году, разорившись после деревенского пожара, она отправилась искать счастья в Иваново-Вознесенск, поступила на фабрику Щербаковых в Кохме, после революции сделалась председателем фабричного комитета, а с переходом к нэпу — директором фабрики. Но и когда она стала директором, рабочие по-старому звали ее Груней.

Наряду с такими директорами были и другие — те, о ком рабочие говорили: «Отогрели змейку на свою шейку». Среди них наиболее прославился Фирсов — директор ситценабивной фабрики (бывшей Цинделя). Спевшись с бандой хапуг, Фирсов возглавил травлю против рабочего-корреспондента Спиридонова. Травля эта привела к убийству Спиридонова, а имя Фирсова на долгие годы стало нарицательным для явления, прозванного «фирсовщина».

«Если рабочий пришел к нашему директору даже

по делу, директор глух и нем,— пишут рабочие об одном из таких директоров.— Чтобы дожидаться ответа, к нему нужно ходить поевши», «Электричество себе в свиной хлев провел, а в рабочей бане нет света», «Наш директор, кроме своего отдельного кабинета, нигде не бывает и не знает, где хорошо и где плохо в его хозяйстве. На все отвечает: «Пошли к чертовой бабушке!»

И так далее в том же роде — опостылевшие всем черты бюрократа, хама, а то и подлеца.

Зато сколь богаты новыми живыми чертами портреты тех, кого рабочие считают лучшими директорами: подлинных хозяйственников ленинской школы!

«Чем завоевал наш директор любовь рабочих? Тем, что с головой ушел в работу. Везде и всегда он первый. Только еще рабочие собираются на работу, а он уже тут — обходит корпуса, наблюдает за работой». «Никогда не забуду, как наш директор при первом появлении у нас на фабрике объяснил, что я пришел к вам работать не для того, чтобы вы, рабочие, были голодны, а накормить вас и ваших детей, а раз накормим, то я спрошу работу. Его первые слова оказались справедливыми, и все слова, какие бы он ни говорил, встав на тяжелый пост директора, были верны». «Сам дрова таскал с рабочими из вагонов. Всю неправду усматривал и разбирал». «Поднял на ноги спящую фабрику». «Это заслуга Коммунистической партии иметь таких товарищей, как он». «Чистый, без примеси коммунист».

Определяя роль и задачи профессиональных союзов в новых условиях, созданных переходом к нэпу, Ленин подчеркивал, что успех в восстановлении крупной промышленности требует сосредоточения всей полноты власти в руках заводоуправления. Поэтому «самым существенным является то, чтобы профсоюзы сознательно и решительно перешли от причинившего немало вреда непосредственного, неподготовленного, некомпетентного, безответственного вмешательства в управление к упорной, деловой, рассчитанной на долгий ряд лет работе *практического обучения* рабочих и всех трудящихся *управлять* нархозхозяйством целой страны».

Теперь стало особенно отчетливо видно, как далеко заглядывал Ленин, когда, формулируя свою позицию

во время профсоюзной дискуссии, говорил о профсоюзах как о школе коммунизма.

Возвращаясь вновь к этому вопросу после года нэпа, Ленин с еще большей силой подтвердил прежнюю формулу и записал в плане тезисов о роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики часто цитируемые слова:

«Связь с массой.

Жить в гуще.

Знать настроения.

Знать все.

Понимать массу.

Уметь подойти.

Завоевать ее абсолютное доверие.

Не оторваться руководителям от руководимой массы, авангарду от всей армии труда».

Эти ленинские слова относятся не только к профсоюзам и не только к первым годам нэпа.

10

Как рассказывают товарищи, работавшие вместе с Лениным, встретившись с новым для него вопросом, Владимир Ильич любил говорить: «Надо вникнуть». Попробуем восстановить один из случаев такого ленинского «вникания».

Тридцатого мая двадцать первого года Малый Совнарком поручил Народному комиссариату юстиции обследовать деятельность Межкома (Межведомственной комиссии по ликвидации иностранного имущества при особом отделе Управления распределения Наркомпрода). Обследование вел следователь ВЧК Васильев.

Три месяца спустя Малый Совнарком, заслушав доклад ВЧК о ходе обследования, нашел, что Васильев отнесся к данному ему поручению недостаточно вдумчиво и внимательно и постановил: «Предложить ВЧК следователя Васильева от ведения дела устранить и заменить его другим лицом».

Решение это было принято после жарких прений. И ВЧК, и часть членов Малого Совнаркома резко против него возражали, считая, что Малый Совнарком превысил свои права.

Ввиду этого дело перешло в Большой Совнарком. Для представителей ВЧК и членов Малого Совнаркома — как для тех, что были за это решение, так и для тех, что — против, — вопрос сводился к одному: правомочен или же не правомочен Малый Совнарком принимать подобные решения?

Под таким углом зрения ведет свой рассказ об этом случае председатель Малого Совнаркома Г. М. Леплевский, с чьих слов мы знаем об этом эпизоде. Он вспоминает, какой огромный интерес проявил к этому делу Ленин. Рассказывает, что вопрос рассматривался в Большом Совнаркоме три раза (случай редчайший!), что страсти накалились до предела. И до самого конца своего рассказа он видит на первом плане все ту же проблему: «компетенция — не компетенция». Читаешь воспоминания Леплевского и не понимаешь, почему же эта бюрократическая канитель могла привлечь к себе столь напряженное внимание Ленина.

Попробуем разобраться.

Когда Большой Совнарком приступил к рассмотрению дела, Ленин предложил представителям ВЧК изложить мотивы, по которым они с такой решительностью протестовали против решения Малого Совнаркома. Выслушав их объяснения, тут же подверг допросу «с пристрастием» члена коллегии Наркомата юстиции Саврасова, который входил в коллегию ВЧК для установления контакта между Наркомюстом и ВЧК. Ленин добивался от Саврасова, чтоб тот ясно и точно ответил, когда и по каким делам он, как представитель Наркомюста, опротестовывал действия ВЧК? Оказалось, что таких протестов не было.

— Почему не было? Потому, что ВЧК не нарушала законы? — спрашивал Ленин.

— Нет, не поэтому, — отвечал Саврасов. И утверждал, что по своему положению он не мог опротестовывать действия следственного аппарата.

Как же это «не мог»? Ведь это было его прямой обязанностью!

Ленин подверг объяснения Саврасова жестокому обстрелу и предложил наркому юстиции Д. И. Курскому подготовить к следующему заседанию Совнаркома общий доклад о том:

1. Какие нормы в советском законодательстве регулируют надзор за следственным аппаратом в общих судах и за следственным аппаратом ВЧК?

2. Не нуждаются ли эти нормы в дополнениях и изменениях?

3. В случае необходимости этих изменений представить проект.

Что же до следствия по делу Межкома, Ленин поручил заместителю председателя ВЧК И. С. Уншлихту его продолжать, взяв под личное наблюдение, а Д. И. Курскому — сделать доклад о заключении следствия.

Но тут возник новый вопрос, быть может, разбуженный этим: вопрос о взаимоотношениях между партийными и судебно-следственными органами.

На этот раз инициатива принадлежала Наркомюсту, опротестовавшему два параграфа циркуляра Центрального Комитета партии об отношениях партийных и судебно-следственных учреждений.

Народный комиссариат юстиции просил исключить из циркуляра параграф четвертый, который обязывал судебные власти освобождать на поруки привлеченных к суду коммунистов под персональное поручительство лиц, уполномоченных на то партийными комитетами, а также параграф пятый, предоставлявший партийным комитетам право знакомиться с делами привлеченных к судебной ответственности коммунистов и выносить по ним решения, которые являлись бы партийной директивой для суда и предопределяли судебный приговор.

Узнав об этом, Ленин написал В. М. Молотову: «Как стоит это дело?

§§ 4 и 5, по-моему, *вредны*».

В ответ на свою записку Владимир Ильич получил постановление Оргбюро об утверждении циркуляра и письмо Молотова, в котором говорилось, что циркуляр изменен и вопрос можно считать исчерпанным.

Однако «изменения», внесенные в циркуляр, не коснулись главного. И Владимир Ильич написал Молотову новое письмо.

«Я переносу этот вопрос в Политбюро.

Вообще неправильно такие вопросы решать в Оргбюро: это **чисто** политический, всецело политический вопрос.

И решить его надо иначе.

Прошу заказать секретарше на 1 листе *старую* и *новую* редакцию.

(1) Надо, по-моему, отменить § 4.

(2) — усилить *судебную* ответственность коммунистов.

(3) «суждения» парткома допустить *только* с направлением в центр и с проверкой Ц К К».

Вопрос был перенесен в Политбюро и рассматривался на заседании, на котором присутствовал Ленин.

Политбюро постановило: пересмотреть циркуляр в целом, устранив всякую возможность использования положения господствующей партии для ослабления ответственности. Более того, усилить ответственность членов партии в случае совершения ими проступков, подлежащих ведению судов и трибуналов.

Тем временем следствие по делу Межкома подошло к концу. Как рассказывает Г. М. Леплевский, вопрос приобрел такую остроту, что, когда он рассматривался в последний — третий! — раз, на заседание Большого Совнаркома был приглашен Ф. Э. Дзержинский, а к началу обсуждения на заседание явились Калинин, Каменев, Сталин.

Прения были весьма бурными. Сначала был рассмотрен вопрос о следователе Васильеве и постановлении Малого Совнаркома. Семью голосами против шести постановление Малого Совнаркома было отменено, так что Ленин оказался в меньшинстве.

Затем на обсуждение был поставлен общий вопрос — о надзоре за деятельностью следственного аппарата и за соблюдением революционной законности. После доклада Д. И. Курского существовавший к тому времени порядок был признан неудовлетворительным и было принято предложение Ленина создать комиссию для разработки вопроса по существу.

Пока работала эта комиссия, всплыл еще один вопрос, непосредственно связанный с работой следственных органов, о наказаниях за ложные доносы.

Проект декрета был разработан Наркомюстом. Познакомившись с ним, Ленин предложил дополнить его «мерой усиления наказания», изменив формулировку лишения свободы на такой-то срок другой: лишение свободы «не меньше стольких-то лет».

Совнарком согласился с поправками Ленина и постановил ввести кару по суду за ложные доносы и за ложные показания.

Специальное примечание оговаривает, что мера наказания усиливается в случаях:

- а) ложного обвинения в тяжком преступлении,
- б) корыстных мотивов доноса или показаний на следствии,
- в) искусственного создания доказательств обвинения.

Декрет этот был подписан В. И. Лениным и опубликован в «Известиях ВЦИК» первого декабря двадцать первого года.

Интересно применение, которое нашел этот декрет полгода спустя, во время крупнейшего политического процесса тех лет — суда над правыми эсерами.

Допрошенный в качестве свидетеля бывший военный министр Временного правительства Верховский заявил суду, что во время предварительного следствия допрашивавший его следователь ГПУ Агранов сказал ему, что он, Агранов, уполномочен Центральным Комитетом партии и коллегией ГПУ сообщить свидетелю, что процесс правых эсеров не преследует карательных целей и те показания, которые даст свидетель об известной ему контрреволюционной деятельности правых эсеров, нужны как бы для того, чтоб нарисовать широкое политическое полотно. Это и побудило свидетеля дать чистосердечные показания.

Верховный трибунал придал заявлению Верховского большое значение. Он запросил ЦК партии и коллегию ГПУ и на оба свои запроса получил ответ, что никаких постановлений подобного рода или близких к нему они не выносили и никаких поручений, которые могли бы быть истолкованы в подобном смысле, ни следователю Агранову, ни кому бы то ни было другому не давались и не могли быть даны.

Параллельно этому трибунал проверил материалы предварительного следствия и установил по протоколам, скрепленным подписями Верховского и Агранова, что Агранов действительно заявил Верховскому, будто его показания должны служить исключительно целям политического освещения и выяснения тактики и методов борьбы партии правых эсеров.

Действия следователя Агранова трибунал признал неправильными и постановил довести о них до сведения Народного комиссариата юстиции для принятия надлежащих мер в порядке надзора за следственными действиями ГПУ.

Вместе с тем трибунал неправомерным считал поведение свидетеля Верховского, который, будучи советским гражданином и служащим Красной Армии, считал своим правом давать или не давать соответствующим органам рабоче-крестьянской республики сведения о ее врагах в зависимости от того, послужат ли эти сведения для прямой борьбы с врагами или только для политического осведомления.

Но вернемся к основной линии нашего рассказа.

В тот же день, первого декабря двадцать первого года, когда был опубликован декрет об ответственности за ложные доносы и создание ложных доказательств обвинения, Ленин внес в Политбюро предложение преобразовать ВЧК, сузить круг ее деятельности и ее компетенции, сузить право ареста, повысить роль судов, усилить начала революционной законности, провести через ВЦИК общее положение об изменении «в смысле серьезных смягчений».

Насколько Ленина волновал этот вопрос, видно по набросанному им плану доклада о внутренней и внешней политике на Девятом съезде Советов. Вопрос о ВЧК в этом плане занимает только три строки — но какие это строки! Чтобы выделить их, составители соответствующего тома Сочинений Ленина должны были прибегнуть к самому жирному курсиву, к самой отчетливой разрядке:

«N В. В В Ч К:

25 bis Повышение законности ВЧК и ее реформа».

ВЧК была создана в конце семнадцатого года. В протоколе Совнаркома об ее образовании было сказано: «Комиссия ведет только предварительное расследование...»

Вплоть до двадцать четвертого февраля восемнадцатого года ВЧК строго придерживалась рамок этого постановления и проводила только предварительное расследование, судебные же функции осуществляли суды и трибуналы. В этот день она вынесла свой первый приговор: решением ВЧК бывший князь Эболи, который, выдавая себя за сотрудника ВЧК, занимался шантажом и вымогательствами, был приговорен к расстрелу, и приговор в тот же день приведен в исполнение.

Это был лишь единичный приговор. Когда сейчас знакомишься с карательной политикой Советской власти в первые месяцы после Октября, мягкость ее пора-

жает: кому только не дали уйти на Дон — и Савинкову, и Корнилову, и Краснову, и Деникину! Кого только не отпустили на свободу — достаточно назвать для примера одно только имя: ярого черносотенца Пуришкевича.

«Мы не хотим гражданской войны...— говорил Ленин 4 ноября 1917 года,— мы против гражданской войны... Террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять».

Но контрреволюция переходила ко все более активным действиям. Чуть ли не каждый день приносил сообщения о поджогах, взрывах, заговорах, контрреволюционных мятежах. И все же лишь после убийства Володарского ВЧК вынесла первые приговоры по политическим делам, и лишь после убийства Урицкого и покушения на Ленина взялась ВЧК за оружие.

Однако, едва положение в стране стало легче, в январе двадцатого года Совнарком постановил по предложению Ф. Э. Дзержинского отменить смертную казнь. Это решение было сорвано польской войной и войной с Врангелем.

Так вынужденно, силой обстоятельств, необходимо дать отпор все более и более активной контрреволюции ВЧК из органа предварительного следствия превратилась в чрезвычайный орган чрезвычайного времени и объединила в себе функции и следственного, и судебно-карательного аппарата.

Самым высоким образом оценивая роль, сыгранную ВЧК в борьбе с контрреволюцией, Ленин всегда видел опасности, порождаемые подобным объединением. В момент самой обостренной гражданской войны он предупреждал работников ЧК о том, чтоб из законного политического недоверия к буржуазии они не делали выводов, что им, чекистам, дозволено нарушать революционную законность, как это сделал журнал «Красный террор», договорившийся до явной нелепости: «Не ищите (!!?) — восклицательные и вопросительные знаки Ленина.— Е. Д.) в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом».

И сейчас, с переходом к нэпу, Ленин со всей остротой поставил вопрос о преобразовании ВЧК, о резком сужении ее прав и установлении контроля за ее деятельностью. Как писал он в одном из писем, он стремил-

ся отстоять тахітис из максимумов и возложить на Наркомат юстиции «ответственность за *недоносение* Политбюро (или Совнаркому) дефектов и неправильностей ВЧК».

Выступая на одном из партийных собраний с докладом о преобразовании ВЧК в ГПУ, Ф. Э. Дзержинский сказал:

— Раньше мы ловили контрреволюцию неводом, а теперь будем ловить...

— Удочкой! — крикнул голос с места.

— Нет, — сказал Дзержинский. — Острогбй...

11

Если б Ленину предложили ответить на шуточные вопросы, подобные тем, какие задали своему отцу дочери Маркса, то на вопрос: «Что вы больше всего ненавидите?», он почти наверняка ответил бы: «Бюрократизм!» Во всяком случае, ничто не вызвало такого его гнева, как проявления этого бюрократизма, который нас душит, который «в нашем государственном строе получил значение такой болячки, что о нем говорит наша партийная программа...».

Без пощады обрушивается он на тех, кто предается «комвранью», «сладенькому чиновно-коммунистическому вранью». Требует: «открытыми глазами через все комвранье смотреть на эту правду», «искать и... находить (сто раз испытывая и проверяя) людей», закрывать бюрократически-коммунистические... «потемкинские деревни». Иначе вся работа «нуль, хуже нуля, самообольщение новой бюрократической погрешкой».

Подходя к решению новых хозяйственных и политических задач, он более всего опасается того, чтоб оно не приняло административно-бюрократический характер.

«Ужасно боюсь, — пишет он Г. Я. Сокольникову, — что мы околеем от переорганизаций, не доводя до конца ни одной практической работы...»

Я смертельно боюсь переорганизаций. Мы все время переорганизуем, а практического дела не делаем...

Ей-ей, боюсь смертельно: не впадите Вы в эту слабость, а то мы крахнем».

Особенное негодование его вызывает волокита с ответами на письма и запросы трудящихся. От этого, подчеркивает он, «не только страдают интересы частных лиц, но и все дело управления принимает характер мнимый, призрачный».

Он требует «тащить волокиту на суд гласности: только так мы эту болезнь всерьез вылечим». Считает, что в делах, связанных с волокитой и бюрократизмом, общественное значение открытого суда «в 1000 раз большее, чем келейно-партийно-цеккистски-идиотское притушение поганого дела о поганой волоките без гласности». Решительно отменяет доводы сторонников закрытого рассмотрения подобных дел. «Мы не умеем,— пишет он,— гласно судить за поганую волокиту: за это нас всех и Наркомюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это *поделом* повесят».

Будучи непримиримо резок ко всем и всяческим проявлениям бюрократизма, он видел, однако, решение связанных с ним проблем не просто в том, чтоб «сбросить главки», как предлагали некоторые «левые» товарищи.

«Бюрократы — ловкачи, многие мерзавцы из них — архипроидохи. Их голыми руками не возьмешь...— отвечал он на предложение такого товарища.— «Главки» *сбросить*? Пустяки. Что вы поставите *вместо* них? Вы этого не знаете. Не *сбрасывать*, а чистить, лечить, лечить и чистить десять и сто раз. И не падать духом».

С законным возмущением работающего, думающего, болеющего душой за дело человека относился он к тем, кто подвергал всю советскую работу вселенской смази и, стоя в сторонке, ничего практически не делая, принимал позу критически-мыслящих личностей.

Обращаясь к одному такому критику, Ленин спрашивал:

«Где вы указали Центральному Комитету **такое-то** злоупотребление? и такое-то *средство* его исправить, искоренить?»

Ни разу.

Ни единого разу.

Вы увидели кучу бедствий и болезней, впали в отчаяние и бросились в чужие объятия... А мой совет в отчаяние и в панику не впадать».

12

Как ни трудна была зима двадцать первого — двадцать второго года, однако подошел ее конец. Но если старая народная пословица говорит: «Весна красна, да голодна», то для весны двадцать второго года эта истина была верна, как никогда.

Голод в Поволжье достиг предела, а с приближением весны надвинулась новая задача: в кратчайшие сроки обеспечить голодающие губернии семенным зерном.

Государство уже отправило туда около пятнадцати миллионов пудов для сева озимых, теперь надо было собрать, подвезти и раздать почти сорок миллионов пудов для ярового сева.

Где было их взять? В Сибири?

Но тоненькая ниточка заметаемой снежными заносами железной дороги не справлялась с перевозками. Чтобы наладить бесперебойную работу транспорта, нужен был человек исключительной энергии и воли. Партия послала в Сибирь Феликса Эдмундовича Дзержинского.

На Украине?

Но убедить украинских крестьян, по земле которых столько раз, сметая все на своем пути, прокатывались волны гражданской войны, чтоб они поделились с голодающими Поволжья своим тоже ведь последним куском хлеба, мог только человек, пользующийся доверием народа. Партия послала туда Михаила Ивановича Калинина.

Когда Михаила Ивановича спрашивали, в чем состоит секрет его умения разговаривать с людьми, он отвечал: «В том, чтоб подразумевать в собеседнике не меньшее количество ума, сообразительности и понимания своих интересов, чем в нас самих». Именно этим достиг он успеха в поездке на Украину за зерном для Поволжья.

Наконец, можно было закупить зерно за границей. Но добиться того, чтобы это зерно не было расхищено, заражено, испорчено, чтоб оно было немедленно разгру-

жено и немедленно же отправлено по назначению, способен был только человек редкой честности и преданности этому делу. Ленин доверил его питерскому рабочему Николаю Александровичу Емельянову, у которого он скрывался в семнадцатом году в Разливе и к которому относился с особой любовью и уважением.

Разумеется, и Дзержинский, и Калинин, и Емельянов действовали не в одиночку.

Дзержинский взял с собой группу сильных работников. Вместе с Калининным поехали крестьяне из голодающих деревень, выступали на митингах, рассказывали об ужасах голода. Емельянов подобрал себе помощников из петроградских рабочих.

Как ни напряженно все они работали, зерна не хватало. Необходимо было расширить закупки за границей. Но где взять на это средства? Золотой запас республики подходил к концу, экспорт был ничтожен. Между тем в стране имелось огромное количество золота, серебра, драгоценных камней, накопленных веками за счет грошей и копеек, собиравшихся с народа.

Это были церковные ценности.

Первые решения, требовавшие передать церковные ценности на покупку хлеба голодающим, были вынесены прихожанами сельских церквей. Вслед за этим волость за волостью стали выносить такие же решения. Со всех концов советской земли в Москву потянулись ходоки, посыпались телеграммы и резолюции, к которым присоединилась и часть низового священства.

Советское правительство приняло декрет об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих. В ответ на это патриарх Тихон разослал воззвание к духовенству и верующим, в котором объявил изъятие и даже добровольное пожертвование церковного имущества святотатством, которое карается для мирян отлучением от церкви, а для священнослужителей — извержением из церкви и анафемой, и призвал подняться против «миродержателей тьмы», чтоб «с помощью божьей иссеци сей лукавый и прелюбодейный род, дерзновенно восставший на неотъемлемое достоинство наше».

Помню, солнечным весенним днем я проходила по Пятницкой. Пахло талым снегом, лужи отсвечивали голубизной — и от этого света и блеска особенно дико было видеть вылезавших из кривых переулков Замоскворечья сморщенных, сгорбленных старух, одинаково повязанных черными глухими платками, одинаково одетых в черные глухие платья до пят. Крестьясь мелким дробным крестом, они сползались к церкви, а там на паперти черный поп накликал проклятия на работавшую в церкви комиссию по изъятию ценностей, и старухи стоном вздыхали и вскрикивали: «Разрази их, господи!», «Пригвозди охульников, о господи!», «Пошли на них дождь смертоносный, о господи!», «Пролей грозу огненную, иссуши им руки, отыми у них ноги, вырви им глаза, о господи!»

Но вот одна из старух, зайдясь криком, упала на землю и забилась в припадке, за ней — другая. И уже все они катались по земле, изгибаясь в судорогах. На колокольне набатом ударил колокол, а черный поп, дрожа и раскачиваясь, выкрикивал: «Анафема! Анафема! Анафема!»

По стране прокатилась волна беспорядков. В Москве до открытого сопротивления не дошло, но положение порой создавалось тревожное.

Надо же было, чтоб именно в эти дни произошло нелепейшее событие, которое...

Впрочем, расскажу все по порядку.

В один из первых дней апреля мой отец был у Ленина. Кажется, это было после заседания Политбюро ЦК. Зазвонил телефон.

Ленин поднял трубку.

— Слушаю,— сказал он.

— Что? — сказал он.

— Повторите,— сказал он.

— Да не может быть,— сказал он.

— Да, да, слышу,— сказал он и прижал руку ко лбу, как это делает человек, внезапно почувствовавший острую боль.

И не глядя положив трубку, он сказал отцу, что на Театральной площади происходит что-то дикое: какая-то женщина схватила какого-то старика-еврея, несшего мешок. В мешке оказался детский труп. Собралась толпа. Она кричит, что это евреи убили христиан-

ского мальчика, так как приближается еврейская пасха и евреям нужна христианская кровь для приготовления мацы. Старика чуть не растерзали. Лишь с трудом удалось уговорить толпу отвести его в милицию. Сейчас его ведут по улице, а за ним идет все растущая толпа, выкрикивающая погромные лозунги.

Вспомним, с каким омерзением относился Ленин к антисемитизму, с какой ненавистью звучали его слова о подонках, ведущих травлю евреев, и мы поймем, каково было ему выслушать такое сообщение. Буквально за мгновение лицо его посерело и осунулось.

Проклиная в душе тех, кто так растревожил Владимира Ильича, отец тут же отправился в милицию, пообещав все точно узнать и принять необходимые меры.

Что же произошло?

Примерно за неделю до описываемого нами дня на трамвайной остановке у Лубянской площади среди ожидающих трамвая стоял старый еврей, державший в руках какой-то сверток, завернутый в одеяло. Когда подошел трамвай, старик пытался сесть, но была сильная давка, старик упал, выронил сверток, сверток развернулся и из него вывалился труп мальчика. Труп был голый, обглоданный и исколотый чем-то острым.

Все это, конечно, обратило на себя внимание ждущих трамвая, и они отвели старика в милицию. Там старик рассказал, что ребенок этот — еврейский мальчик, который умер на приемно-пропускном пункте от крупозного воспаления легких, о чем у него, старика, есть удостоверение врача. Родители мальчика не имели средств, чтобы его похоронить, и труп около недели лежал в подвале, кишевшем крысами. Потом родители через Таганскую еврейскую общину разыскали этого старика-нищего, жившего тем, что он помогал хоронить бедняков. Отец ребенка дал ему труп, завернутый в старое одеяло, и старик понес его на Дорогомиловское еврейское кладбище. По дороге он устал, решил сесть на трамвай. Остальное известно.

Было сделано вскрытие, установлено, что мальчик умер естественной смертью. На тот раз дело на этом кончилось. Но прошла примерно неделя — и трамвайная стрелочница, на глазах которой разыгралась та история, увидела на Театральной площади этого самого старика Меера Гиндина с мешком, в котором лежал какой-то длинный предмет. Она потребовала,

чтоб он раскрыл мешок и показал, что он в нем несет. Когда старик спросил, какое ей до этого дело, она закричала на всю площадь, собирая прохожих, что старик-еврей несет в мешке зарезанного христианского ребенка.

Мигом собралась огромная толпа и потребовала, чтоб старик развязал мешок. И когда он его развязал, в нем оказался трупик годовалого мальчика.

Тут словно из-под земли в толпе появились какие-то личности, выкрикивавшие: «Жиды ребенка зарезали!», «Бей его, старого черта!», «Бей жидов, спасай Россию от хриstopродавцев, от бандитов, что грабят церкви и иконы!»

Нашлись все же люди, которые уговорили толпу пойти со стариком в милицию. История повторилась: ребенок-еврей, бедняки родители, только не приезжие, а москвичи; смерть от воспаления легких. Но на этот раз, так как события приняли острый оборот, был вызван судебно-медицинский врач и приглашены понятые из толпы, а также священник из церкви в Столешниковом переулке.

Однако по городу уже успели расползтись зловещие слухи. Чтоб положить им конец, решено было провести по этому делу открытый судебный процесс.

Суд был назначен на следующий же день в Большой аудитории Политехнического музея. На скамье подсудимых сидели Меер Гиндин, заведующий Дорогомиловским еврейским кладбищем и комендант пропускного пункта, обвиняемые в нарушении санитарных правил захоронения умерших, а рядом с ними — три человека, призывавшие к расправе над Гиндиным.

Зал судебного заседания был так полон, что с трудом удалось поставить скамью подсудимых. Наконец раздалось «Суд идет!» Судили председатель Московского горсуда Смирнов и два присяжных заседателя.

— Обвиняемый Гиндин!

Со скамьи подсудимых поднимается согбенный в три погибели старик, одетый в лохмотья.

— Признаете себя виновным?

— Мне давали, так я нес...

— С какой целью вы это делали?

— Цель? Какая цель? Кусок хлеба моя цель...

— Обвиняемая Романова! Кем вы работаете?

— Стрелочницы мы, трамвайные стрелочницы.

— Что можете показать...

— Чего мне показывать, господин мировой? Ничего не видала, слухом не слыхала...

— Но вы были на Театральной площади?

— Была... Пропустила это я на стрелке шестой номер трамвая. Смотрю: толпа кричит «Жид ребенка тащит». Все бегут, ну и я побежала...

— Вы били обвиняемого Гиндина?

— Ничего я не била, только за бороду таскала...

— Обвиняемый Серафимов, чем вы занимаетесь?

— Да вот так вот... Ну, значит, занимаюсь...

— Чем же занимаетесь?

— Да вот так вот, гражданин судья, денег вот так вот не хватает... Ну и купишь билетик в театр...

— Почему ж, если вам не хватает денег, вы покупаете билеты в театр?

— Так что купишь, а потом билетик этот продашь...

— Значит, вы театральный барышник?

— Барышнику капитал нужен, а у меня еле для оборота хватает.

— Вы призывали избивать евреев?

— Нет, гражданин судья. Я только спросил у своего приятеля, возможно ли, что евреи пьют христианскую кровь? А когда он сказал, что да, пьют, я вот так вот вполне интеллигентно высказался, что жидов...

— Обвиняемый Ефременков, как было дело?

— А вот как было. Аккурат иду это я пообедавши. Гляжу: толпа-толпища! Спрашиваю у этой вот тетеньки, у стрелочницы-та: «Зарезали кого али што?» А тут сзади кричат: «Бейте их!» Аккурат и я тут. Ну, меня и забрали. А больше ничего не было.

— А вы-то сами что-нибудь крикнули?

— Ну, конечно, она — мне, я — другому болтнул,

от человека к человеку и пошло. А потом милиционер-та говорит мне, что я кричал: «Бей жидов»...

— А вы это кричали?

— Да кто его знает? Аккурат шел это я пообедавши. Гляжу: толпа-толпища. Эти вот тетенька стоят, стрелочница-та...

И пошла сказка про белого бычка!

Свидетели показали: родители — что они дали Гиндину отнести труп ребенка потому, что они бедны; священник — что никаких признаков насильственной смерти на трупе не было. Судебно-медицинские эксперты подтвердили факт естественной смерти. Допрошенный в качестве эксперта раввин Мазе разъяснил, что по еврейскому обычаю обряду похорон не придается большого значения, чем и объясняются действия родителей и обвиняемого Гиндина.

Суд выслушал общественного обвинителя Иннокентия Стукова, считавшего, что комендант пропускника и заведующий кладбищем, зная о напряженности атмосферы в связи с проводимым изъятием церковных ценностей, проявили преступную небрежность и этим привели к событиям, которые могли закончиться трагически, а посему они должны понести наказание. Что до Романовой, Серафимова и Ефременкова, в них общественный обвинитель видел лишь слепое оружие контрреволюционной агитации.

Защитники заведующего кладбищем и коменданта пропускника считали, что их подзащитные не могли предусмотреть того, что случилось. Это не их вина, а несчастный случай. Защитник Романовой, Серафимова, Ефременкова говорил, что его подзащитные — жертвы духовной слепоты. Не их вина, что они невежественны. Невежество нельзя искоренить тюрьмой...

Суд удалился на совещание...

Он совещался шесть часов, но в зале не редело, а наоборот, с улицы, несмотря на все усилия охраны, просачивалась новая и новая публика, в жарких спорах толпилась в зале и в коридорах. Тут были и свои прокуроры, и свои защитники.

Уже за полночь раздался возглас: «Суд идет!»

С глухим шумом все поднялись с мест. В полной тишине председатель суда Смирнов огласил приговор.

Считая безусловно доказанным, что оба мальчика умерли естественной смертью, суд в то же время признал виновными в преступной халатности коменданта пропускника и заведующего кладбищем и приговорил их к принудительным работам по месту службы.

Романову, Ефременкову и Серафимову суд признал виновными в ведении черносотенно-антисемитской агитации. Учитывая их невежество и считая их слепым орудием в руках опытных черносотенцев и врагов Советской власти, суд счел возможным ограничиться строгим общественным порицанием.

В отношении старика Гиндина, вина которого в нарушении санитарных правил доказана, суд, считая, что нельзя карать дряхлого и голодного человека, таскающего на кладбище трупы за кусок хлеба, постановил: 1) от наказания Гиндина освободить; 2) предложить Собесу обеспечить его необходимым для существования.

Огласив приговор, председатель суда Смирнов обратился к присутствующим в зале с напутствием:

— Пусть каждый честный и сознательный гражданин, уходящий отсюда, считает своим долгом, своей добровольной и святой обязанностью разъяснить всем этим Романовым, Ефременковым и Серафимовым настоящую сущность этого процесса; пусть каждый уйдет отсюда не только со смехом, но и со скорбью в душе; пусть каждый поможет нам победить темноту и средневековье — это наследие царско-церковного мракобесия...

Как-то странно встает в памяти та зима.

Словно долгий запутанный сон, в котором идешь-идешь по длинной улице посреди сплошных деревянных заборов, сверху донизу залепленных налезающими друг на друга, пестрыми афишами. Кино сулит любовные трагедии: «Молчи, грусть, молчи!», «Позабудь про камин» или же обещает «Комический боевик длиной две тысячи метров», «Дамы курорта не боятся даже черта!» Кабаре и варьете зазывают то на «Вечер непрерывного смеха», то на «Флирт богов». Рестораны приглашают на бли-

ны, пироги, расстегаи, водки, вина, коньяки, уху стерляжью, уху белужью, лучшие артистические силы, отдельные кабинеты, радостные настроения, танцы до утра.

А над этим блудом, над свиными рылами вместо лиц бьет по сердцу плакат: черный фон, белый, иссохший от голода старик, воздетые в мольбе руки: «ПОМОГИТЕ!»

К середине мая Советская власть доставила в Поволжье двадцать пять миллионов пудов семенного зерна. Сто пять процентов задания!

И произошло чудо: лежавшая пластом деревня собрала остаток своих сил и поднялась, готовая к новому напряжению, к новой схватке со смертью.

На пункты раздачи семян потянулись не люди, а тени с мешками за спиной. Редко у кого была — тоже похожая на тень — лошаденка.

Семена тащили на себе. Пахали на себе, впрягаясь в соху по десять человек. Падали, лежали на земле, поднимались, снова пахали. Если не могли тянуть соху, ковыряли землю лопатами. Ели курай, помет, падаль, но высеяли все семена до единого зернышка. Те, которые получили, и те, что нашли в изголовьях умерших голодной смертью.

Это был необыкновенный подвиг, перед которым тогда же преклонялась страна, назвавшая этот сев «Великим севом», «Героическим севом».

Весна в тот год выдалась не ранняя и не поздняя. Перед самым севом прошли обильные дожди. Зерно ложилось во влажную молодую пашню. Быстро зазеленели густые всходы. К концу мая выколосилась яровая рожь. Пшеница пошла в трубку. Все обещало хороший урожай. И те, кто буквально кровью своей засеяли эти поля, мечтали теперь об одном: дожить до нового хлеба!

Когда в Поволжье посылали семенное зерно, кое-кто предполагал, что не меньше третьей его части, а то и половину крестьяне съедят: «Это неизбежно, инстинкт жизни заставит».

Эти люди не знали русского крестьянина, его чувства к земле: человек может умереть, но земля должна быть засеяна, в ней — жизнь...

13

Хотя в ту зиму Владимир Ильич и сказал в одной из своих речей, что его болезнь несколько месяцев не давала ему возможности непосредственно участвовать в политических делах и вовсе не позволяла исполнять советскую должность, на которую он поставлен, но когда пытаешься охватить взглядом все, что сделано им за это время, то — в который уже раз! — потрясает огромность и неисчерпаемое богатство того, что им написано, сказано и претворено в жизнь за столь короткий срок.

Ровно за год — с двадцать седьмого марта 1921 года (дата первого большого выступления Ленина после Десятого съезда партии) по двадцать седьмое марта 1922 года (день открытия Одиннадцатого партийного съезда) — статьи Ленина, планы к ним, важнейшие письма и стенограммы его речей занимают в пятом издании Собрания его сочинений около тысячи страниц убористого печатного текста.

Но дело не только в количестве страниц. Это особенные статьи и особенные речи: в них Ленин обогащает учение о построении социализма разработкой положений, которые получили наименование новой экономической политики.

В конце марта в Москве открылся Одиннадцатый съезд партии. Последний съезд, в работе которого принимал участие Ленин.

Каждое историческое событие происходит в свой месяц и час. В тот же месяц и час происходят иные положенные этому месяцу и времени года явления в мире природы. Было бы глупостью устанавливать между этими двумя рядами событий и явлений причинную или иную связь. И в то же время порой невозможно отделаться от какого-то подсознательного ощущения, что природа с чутьем истинного художника подбирает наиболее выразительные фоны и обрамление для деяний человеческой истории: вспомним хотя бы бурные порывы октябрьского ветра в незабываемую осень семнадцатого года, вспомним

ливни и летние грозы в дни, когда в Москве заседал Пятый съезд Советов и левые эсеры подняли свой мятеж, вспомним неверную белизну и полынью кронштадтского ледового поля во время Десятого съезда партии, вспомним мороз, сковавший землю в дни, когда Россия прощалась с Лениным.

Одиннадцатый съезд партии связан в моей памяти с приходом весны — русской весны, которая долго подступает тихими шагами, а потом словно в одну ночь наполняет мир пением птиц и шумом вешних вод.

Откуда же пришло чувство внутренней связи между поэтическим расцветом русской весны и, казалось бы, сугубой прозой вопросов, которые обсуждал Одиннадцатый съезд партии? Быть может, оно возникло потому, что съезд этот происходил весной? Нет! Десятый съезд тоже ведь происходил весной.

Причина в том, что зимний перевал был преодолен. Впереди — весна.

И таким же весенним был доклад Ленина.

«Речь товарища Ленина,— писал в отчетной корреспонденции сотрудник «Известий»,— дышала его обычным оптимизмом, несмотря на ряд упреков, которые он бросал по адресу нашей неумелости, несуразности и бестолковщины. Ряд остроумных шуток, характерных интонаций и жестов способствовали установлению внимательной и товарищеской связи между докладчиком и аудиторией. Съезд проводил товарища Ленина дружными аплодисментами».

Так вспоминал эту речь человек, который только что ее слышал. Такое же чувство вызывает она, когда перечитываешь ее сейчас, четыре десятилетия спустя.

Между тем Владимир Ильич в эти дни писал товарищам: «Я болен. Совершенно *не в состоянии* взять на себя какую-либо работу», «Нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят». Он чувствовал себя настолько плохо, что даже просил пленум Центрального Комитета партии назначить на съезд дополнительного докладчика, ибо не был уверен, что у него хватит сил сделать этот доклад.

Ни врачи, ни он сам еще не поняли истинного характера его болезни и относили ее на счет крайнего

переутомления. Но он словно предчувствовал, что ему недолго осталось жить, и торопился сказать и сделать как можно больше. Казалось, мозг его работает неустанно. Владимир Ильич набрасывал краткие заметки, планы, зачины и фрагменты будущих статей, иногда один лишь намек, одно указание из нескольких фраз, содержавших новые повороты, новые оттенки мысли, новые вехи на еще не исследованной тропе.

И выступил на съезде. Выступил так, что никто из присутствующих не мог и подумать, что он болен.

Его выступление трудно даже назвать речью, скорее это была свободная, непринужденно разворачивающаяся беседа в доверительном, разговорном тоне. Ленин тщательно продумал свой доклад, до нас дошло четыре варианта составленного им плана, но кости этого плана нигде не торчали наружу. Ленин говорил без бумажки. У слушателей создавалось ощущение вольной импровизации, в которой идеи и мысли рождаются у них на глазах.

В такие минуты Ленин — позволим себе применить к нему образ, заимствованный нами из одной его речи,— напоминал строителя, который проводит нитку, помогающую найти правильное место для кладки, указывающую на конечную цель общей работы, дающую возможность пустить в ход не только каждый камень, но и каждый кусок камня, который, смыкаясь с предыдущим и последующим, возводит законченную и всеобъемлющую линию.

Ленин щедро прибегал в своей речи к столь любимому им сталкиванию, казалось бы, далеких понятий — пример: «О вреде уныния, о пользе торговли», — добиваясь этим постижения явлений во всем их охвате и взаимосвязанности. Сопоставлял коммуниста, сделавшего величайшую революцию, «на которого смотрят если не сорок пирамид, то сорок европейских стран с надеждой на избавление от капитализма»; и до того святого, что в рай живым просится, с рядовым приказчиком, который бегал в лабаз десять лет, остался беспартийным, а может быть, и даже наверно белогвардейцем, — и после этого спрашивал коммуниста: «А дело делать умеете?» И отве-

чал, что в отличие от приказчика, который это дело знает, «он, ответственный коммунист и преданный революционер, не только этого не знает, но даже не знает и того, что этого не знает».

С естественной простотой, источником которой была его постоянная близость к народу, Ленин пересыпал свою речь обыденными словами, оборотами, выражениями, что делало ее особенно впечатляющей: «плохенький», «малюсенький», «загвоздка», «навоз», «шумиха», «трескотня», «бестолковщина и безалаберщина», «сутолока, суматоха и ерунда», «деляги и мошенники», «пересол», «гвоздь вопроса», «у нас направо и налево махают приказами и декретами, и выходит совсем не то, чего хотят», «погрязнем, потонем в мелких интригах», «откуда это вытекает? Это ниоткуда не вытекает», «либо мы это докажем, либо он нас пошлет ко всем чертям»... А рядом с этими словами и оборотами, почерпнутыми из обиходной русской речи, прибегал к словечкам, которые придумывал сам, подтрунивая при этом над тем, до чего довели всяческие сокращения великий русский язык.

Если попытаться свести к сжатою пересказу все богатство поставленных Лениным вопросов и выплывавших из них обобщений и выводов, то он говорил в этом своем докладе о Генуэзской конференции («Мы себя в обиду не дадим. Нас не побили — и не побьют, и не обманут») и об итогах первого года новой экономической политики. Снова и снова подчеркивал, что новая экономическая политика важна нам прежде всего как проверка того, что мы действительно достигли смычки между социалистической работой по крупной промышленности и сельскому хозяйству с той работой, которой занят каждый крестьянин.

«Надо показать эту смычку, чтобы мы ее ясно видели, — подчеркивал он, — чтобы весь народ ее видел и чтобы вся крестьянская масса видела, что между ее тяжелой, неслыханно разоренной, неслыханно нищенской, мучительной жизнью теперь и той работой, которую ведут во имя отдаленных социалистических идеалов, есть связь... Наша цель — восстановить смычку, доказать крестьянину делами, что

мы умеем ему помочь, что коммунисты... ему сейчас помогают на деле... Вот какой экзамен на нас неминуемо надвигается, и он, этот экзамен, все решит в последнем счете: и судьбу нэпа и судьбу коммунистической власти в России.

Но достичь этого, напоминал Ленин, можно, лишь умея хозяйничать. А мы хозяйничать умеем? Нет, отвечал Ленин, мы хозяйничать не умеем.

Не страшась самой горькой правды, он обрушивался на обломовщину, с одной стороны, а с другой — на тягу к администрированию и реорганизациям, при которых «все суетятся, получается кутерьма; практического дела никто не делает, а все рассуждают...».

Вот тут-то и рождались его бичующие словечки о «комкуклах», «комчванстве», «комспеси», «сладеньком комвранье», от которого «тошнит».

— ...В новом, необыкновенно трудном деле надо уметь начинать сначала несколько раз,— говорил он,— начали, уперлись в тупик — начинай снова,— и так десять раз передельвай, но добейся своего, не важничай, не чванься, что ты коммунист...

Требовал от партии бережного отношения к людям, к их труду и творческим возможностям. Ко всем, даже к бывшим буржуям.

— Это еще полдела, если мы ударим эксплуататора по рукам, обезвредим и доконаем,— говорил он.— А у нас, в Москве, из ответственных работников около 90 человек из 100 воображают, что в этом все дело, т. е. в том, чтобы доконать, обезвредить, ударить по рукам.

И ставил всем в пример замечательного весьегонского коммуниста Александра Ивановича Тодорского, рассказавшего в своей книге «Год — с винтовкой и плугом», как он в восемнадцатом году, приступая к оборудованию двух советских заводов, привлек к работе бывших буржуев.

Среди представителей печати, присутствовавших на Одиннадцатом съезде партии, находился Максимилиан Гарден, которого звали «великаном» германской публицистики. Не коммунист, не социал-демократ, но левый радикал, он прославился смелыми разоблачениями германской придворной среды и верхов буржуазии и был

героем нескольких судебных процессов. Германские фашисты не могли ему этого простить и в середине двадцатых годов пытались убить его.

По духу, по темпераменту, по мировоззрению он принадлежал к породе обличителей. Статьи его исполнены насмешкой, гневом, сарказмом. То, что он пишет о Ленине,— это в его деятельности редкое, может быть, даже единственное исключение.

«Тот самый Ленин,— пишет он,— который немилосердно высмеял призыв Струве «идти на выучку к капитализму», произнес, при совершенно другой обстановке, можно сказать, под другим небом, знаменитые слова: у каждого дюжинного приказчика мы можем и должны учиться. Он никогда не был более великим, чем в этой своей речи на Одиннадцатом съезде партии, в этой величественно-жестокой откровенности своего признания... Червь болезни уже подтачивал его тогда, но, прежде чем закатилось солнце его мысли, небо еще раз засияло под его лучами,— и не было еще утра, не было еще полдня с таким ослепительным блеском...»

Снова и снова повторял Ленин мысль, что построить коммунистическое общество руками одних только коммунистов невозможно. С презрением отзывался о тех, кто думают о народе свысока,— неразвитой, мол, народ, не учился, мол, коммунизму.

— Нет, извините,— отвечал на это Ленин,— не в том дело, что крестьянин, беспартийный рабочий не учились коммунизму, а в том дело, что миновали времена, когда нужно было развить программу и призвать народ к выполнению этой великой программы. Это время прошло, теперь нужно доказать, что вы при нынешнем трудном положении умеете практически помочь хозяйству рабочего и мужика...

Несколько раз возникает в его речи любимый им образ цепи и ее звеньев:

— Политические события всегда очень запутанны и сложны,— говорил он.— Их можно сравнить с цепью. Чтобы удержать всю цепь, надо уцепиться за основное звено.

Но чем-то этот образ его не удовлетворяет. Он ищет другой. Находит. Записывает в план речи: «Гвоздь момента» (звено цепи)...

В различной связи, поворачивая то так, то этак, возвращается он к этому образу, чтоб в речи при закрытии съезда сказать:

— Весь гвоздь теперь в том, чтобы авангард не боялся поработать над самим собой, переделать самого себя, признать открыто свою недостаточную подготовленность, недостаточное умение. Весь гвоздь в том, чтобы двигаться теперь вперед несравненно более широкой и мощной массой, не иначе как вместе с крестьянством, доказывая ему делом, практикой, опытом, что мы учимся и научимся ему помогать, его вести вперед. Такую задачу при данном международном положении, при данном состоянии производительных сил России можно решить, лишь решая ее очень медленно, осторожно, деловито, тысячу раз проверяя практически каждый свой шаг...

Партия в целом поняла и делами теперь докажет, что поняла необходимость построить в данный момент свою работу именно так и только так. А раз мы это поняли, мы сумеем добиться своей цели!

Газета, в которой был напечатан отчет о речи Ленина на Одиннадцатом съезде, дошла до села Гладкие Выселки Михайловского уезда Рязанской губернии. Там ее прочел крестьянин И. Перепухов. Первой мыслью его было: «Достукались коммунисты! И возрадуются же кулаки и попы, когда узнают, как Ле́нин их начистил...» А потом поразмыслил и решил: так и надо, правильно. Правильно поступает Ленин, когда открыто, честно признает, что за первый год хозяйствования коммунисты не научились вести хозяйство хотя бы не хуже, чем вели его капиталисты. Ну а мы, крестьяне, которые хозяйствуем на земле не один год, а многие века, мы-то научились вести хозяйство как следует?

Все эти мысли и вопросы так взволновали И. Перепухова, что он решил написать о них в «Бедноту».

— Пусть Владимир Ильич ругает коммунистов,— писал он.— Пусть учит. На то у него право. Был бы от этой учебы прок!

Я пытаюсь вспомнить Ленина, каким он был на этом съезде,— я видела его тогда в последний раз. Свидетельствовало ли хоть что-нибудь о его болезни? Нет, решительно нет!

Он был такой же, как всегда, быстрый, подвижный, веселый.

И съезд был веселый, хотя кругом еще стоял густой частокोल опасностей и трудностей.

Почему ж так было? Думается мне, потому, что как ни полна была речь Владимира Ильича суровой, хлещущей правды, но ее «подпочвой», говоря словами Ленина, была мысль, которую он уже высказал незадолго до того и снова повторил на съезде и которая для всех нас была так же радостна, как победа в боях гражданской войны: отступление окончено!

Та цель, которая преследовалась отступлением, была достигнута. Маневр отступления для будущего наступления — отступить, чтоб получить разбег для нового прыжка, — завершен.

Подводя итог этому отступлению, Ленин писал: «Вполне достаточно у нас средств для победы в *нэпе*: и политических и экономических. Вопрос *только* в *культуристности!*»

И отсюда следовало:

«...Наше экономическое отступление мы теперь можем остановить. Достаточно. Дальше назад мы не пойдём...»

В самом ритме этих слов заложен веселый звон: *«Дальше назад мы не пойдём».*

Мне вспоминается теплый синий вечер, полный многоголосого шума. Любимое место Москвы, которое на тогдашнем «телеграфном» языке молодежи называлось: «Твербуль у Пампуша» (Тверской бульвар у памятника Пушкину). Церковный благовест. Слабый запах весны.

Только что мы устроили у себя в студенческом общезитии роскошный пир: в складчину купили на два миллиона рублей селедок, на миллион заварку чая, на три миллиона белого хлеба. Пир на весь мир в честь того, что отступление окончено и дальше назад мы не пойдём!

Счастливые и сытые сидим на Твербуле у Пампуша. С добродушным презрением посмеиваемся над проплывающими мимо нас нэпманами. Раскачиваемся в такт перезвону колоколов ближней церкви. Не стесняясь Пушкина, который глядит на нас с высоты своего вели-

чия, складываем строфы чего-то, что, как и «все церковное», именуем «акафистом»:

Радуйся диалектике Гегеля, тобой углубленной,
с головы на ноги установленной,
Радуйся, о Марксе, чудотворец великий!
Радуйся, Энгельс, брадатого Маркса вернейший сподвижник.
Радуйся ты, о Ильич, великий и мудрый,
к Октябрю нас победно приведший.
Нэп породивший, но нэпову скверну аду предавший.

Политически и поэтически весьма малограмотно. Но нашим чувствам вполне соответствует...



**РАЗДУМЬЯ
В ГОРКАХ**

Врачи требовали, чтобы Владимир Ильич немедленно прекратил работу и уехал отдыхать. Он соглашался, но откладывал отъезд «на денек», «еще на денек», «еще на два денька» — вот только распределит обязанности между своими заместителями и договорится о том, как они будут работать, да напишет телеграмму Чичерину, который ведет переговоры в Генуе, и письмо Сокольникову по вопросам финансовой политики, и дополнения к проекту «Вводного закона к Уголовному кодексу РСФСР», и подготовит решения о мерах для развития радиотехники, и приведет в порядок свои бумаги, и даст последние распоряжения секретарям. О чем? Да о присылке ему в Горки книг и газет. «Но вы же обещали, что совершенно не будете работать!» — «А разве чтение — работа?»

Уже миновала середина мая, а Владимир Ильич все еще был в городе. Настал, однако, день, когда откладывать дальше было невозможно, — и он уехал в Горки.

Впервые он провел около трех недель в Горках осенью восемнадцатого года, после совершенного на его жизнь покушения.

Близкие товарищи считали, что только начинавшего оправляться от ран Владимира Ильича следует увезти из Москвы. Но куда?

Сначала предполагали поступить примерно так же, как за год до того, когда Владимиру Ильичу угрожала расправа со стороны Временного правительства: поселить под видом приезжего родственника в деревне у какого-нибудь надежного крестьянина или же в семье рабочего в одном из подмосковных рабочих поселков. Зная спартанские привычки и неприхотливость Владимира Ильича, товарищи были уверены, что это ему понравится. Но беспокоил связанный с таким решением риск:

Владимир Ильич много раз выступал на массовых митингах, его знали в лицо и могли опознать. После долгих поисков и раздумий план был изменен: решено было подыскать бывшее помещичье имение, устроить в нем совхоз или сельскохозяйственную коммуну, обеспечить охрану и поселить там Владимира Ильича.

Выбор пал на Горки — бывшее имение царского генерала Рейнбота. Дом привели в порядок, убрали. Но когда Владимиру Ильичу предложили туда переехать, он наотрез отказался и заявил, что, во-первых, он вообще не собирается уезжать из Москвы, во-вторых, он не желает жить в барском доме, в-третьих...

Переубедить его стоило большого труда. Решил довод, к которому прибег Свердлов: в тысяча девятьсот пятом году в Горках, которые тогда принадлежали Савве Морозову, скрывался одно время Николай Эрнестович Бауман. Владимир Ильич дал согласие на переезд, но при условии, что будет жить не в самом доме, а в боковом флигеле. Только много времени спустя он уступил настояниям и стал жить в главном здании, которое было прозвано Большим домом.

Этот Большой дом он не любил, особенно невзлюбил он большие комнаты второго этажа с их купеческой претенциозной роскошью. А парк и окрестности ему полюбились.

Быть может, высокая гора, холмы и волнистая равнина, чувство пространства и открытого воздуха, развернутые дали, уходящие за край небес, запущенный парк, крутые, заросшие кустарником склоны — все это напоминало ему Симбирск, «Старый Венец», обрыв к Волге, широкие просторы Заволжья. Недаром в семье Ульяновых беседку у обрыва в Горках прозвали «Венцом».

Ленин привязался к Горкам. Много раз приезжал сюда поработать, побродить среди полей и лесов.

И нигде так не чувствуешь Ленина-человека, нигде так о нем не думается, как здесь, в Горках.

В тот год Владимир Ильич приехал в Горки на все лето. И едва приехал, его обступили воспоминания.

Обступили, не могли не обступить. Ибо его приезд в Горки совпал с тридцать пятой годовщиной со дня казни его старшего брата Александра Ильича Ульянова.

Сколько прошло уже лет, а рана не зарубцовывалась: слишком велика была утрата, трагичны обсто-

ятельства, невозвратен тот, кого потеряли. И когда прошло еще пять лет и настала сороковая годовщина гибели Александра Ильича, старшая в семье — Анна Ильинична писала, что и теперь ей все еще трудно глубоко ворошить прошлое, трудно запечатлеть его на бумаге, и если личные переживания придают обычно повествованию живость и наглядность, то острое и болезненное чувство, которое она испытывает при мысли об Александре Ильиче, сковывает язык и делает рассказ мучительным.

В ряду годовщин со дня казни Александра Ильича тридцать пятая была одной из самых тяжких, самых мучительных, так как в канун ее семья Ульяновых впервые познакомилась с подлинными судебными и жандармскими документами по делу погибшего брата.

Эти документы были доставлены в Москву, в только что созданный или только еще создававшийся Архив Октябрьской революции. Года три спустя я слышала рассказ Михаила Степановича Ольминского о том, как Владимир Ильич вместе с сестрами и с Надеждой Константиновной пришел в этот архив, помещавшийся в старинном доме, на месте которого высится теперь новое здание Библиотеки им. В. И. Ленина. Владимир Ильич вошел очень бледный, в каждом движении его чувствовалась сдерживаемая тревога. Заранее приготовленные документы лежали на столе. Хотя Владимир Ильич знал о том, что его ожидает, он вздрогнул, увидев переплетенный том, на котором писарским почерком с завитушками было выведено: «ДЕЛО 1 МАРТА 1887 ГОДА», и не мог сразу раскрыть этот том; помедлил, подержал в руках, видимо, сделав над собой усилие, чтоб подавить волнение, и лишь потом раскрыл его. И по мере того, как он вчитывался в страницы этого дела, он бледнел и бледнел, и, как выразился Ольминский, стоявшие рядом буквально физически чувствовали, как у него перехватывает дыхание.

В семье Ульяновых об Александре Ильиче старались не говорить. «Все мы держались после нашего несчастья тем, что щадили друг друга,— писала Анна Ильинична.— А потом я совсем не могла первые годы говорить о Саше, разве только с матерью». И даже несколько лет спустя в разговоре с И. Х. Лалаянцем, на его вопрос о деле Александра Ильича, Владимир Ильич сказал: «Для всех нас его участие в террористическом акте было совершенно неожиданным. Может быть,

сестра знала что-нибудь, — я ничего не знал...» Следовательно, Владимир Ильич даже не знал, что и сестру, жившую в то время в Петербурге и арестованную в связи с делом брата, Александр Ильич не посвятил в свой замысел.

Но как ни сдержанны были мать и сестра, кое-что они рассказали. Кроме того, Владимир Ильич знал о деле брата и не от них.

Еще до того как Мария Александровна вернулась в Симбирск после казни Александра Ильича, было опубликовано «Правительственное сообщение о деле 1 марта 1887 г.», в котором говорилось об «обнаруженном 1 марта злоумышлении на жизнь Священной Особы Государя Императора» и об арестованных по этому делу, кои, «принадлежа к преступному сообществу, стремящемуся ниспровергнуть, путем насильственного переворота, существующий государственный и общественный строй... согласились между собой посягнуть на жизнь Священной Особы... Ульянов принимал самое деятельное участие как в злоумышлении, так и в приготовительных действиях к его осуществлению...». И страшные заключительные строки: «Приговор Особого Присутствия Правительствующего Сената о смертной казни через повешение над осужденными... приведен в исполнение 8 сего мая 1887 года».

Несмотря на полицейские рогатки, в общество просочились подробности суда. Присутствовавшие на нем рассказывали про то, что видели. Рассказывали об Александре Ульянове, речь которого по силе приравнивали к речи Желябова на судебном процессе по делу первого марта тысяча восемьсот восемьдесят первого года. Потом с далекой сибирской каторги пришло несколько писем однодельцев Александра Ильича. А в тысяча девятьсот пятом году из Шлиссельбурга вышли узники, осужденные по этому делу, и рассказали новые его подробности.

Но все это — одно, а подлинные документы, подлинные протоколы допросов, подлинные, посмертно прочтенные, показания, написанные родной рукой, — иное. Одно дело знать об аресте брата, другое — увидеть воочию, каким образом чудовищное легкомыслие одного из участников тайного общества позволило полиции напасть на его след и обрекло на гибель самого виновника провала и его сотоварищей. Одно — сознавать умом, что брат прошел, должен был пройти следствие,

был судим, казнен, другое — читать страницу за страницей изложенные жандармским слогом бумаги и собственными глазами видеть, как пришла в действие полицейская машина, как захватила она любимого брата, втокнула его в каземат Петропавловской крепости, дотащила до эшафота и затянула петлю на его шею.

Все больше и больше бледнея, Владимир Ильич вчитывался в страницы, исписанные порыжевшими от времени чернилами. Департамент полиции перехватил подозрительное письмо... За участниками тайного общества установлено неусыпное наблюдение... Среди подозрительных лиц департамент полиции называет Александра Ульянова... На Невском проспекте арестованы металышники... При них обнаружены бомбы...

И показания двух трусов, в первый же день предающих всех, кого они знали, в том числе Александра Ульянова.

И протокол первого допроса Александра Ильича: «1887 года. Марта 3 дня, я, Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр Лютов... расспрашивал нижепоименованного, который показал:

Зовут меня Александр Ильич Ульянов, от роду имею 20 лет 11 месяцев... холост; отец мой умер; мать моя Мария Александровна Ульянова проживает в г. Симбирске; имею двух братьев: Владимира, ученика Симбирской классической гимназии VIII класса, Дмитрия, ученика той же гимназии...»

Таковы трагические обстоятельства, при которых имя Владимира Ильича впервые попало на страницы жандармских дел. (Заметим в скобках, что впоследствии, когда Владимир Ильич вступил на путь революционной борьбы, жандармы в течение нескольких лет сопровождали каждое упоминание его имени пояснением: «брат казненного» или «брат повешенного». Но в какой-то момент перестали: видать, до их понимания дошло, что Владимир Ильич самостоятельная революционная величина, притом преогромнейшая.)

Но вот «Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр Лютов» заполнил анкетные данные и приступил к самому допросу. Мы не знаем, что именно он спрашивал, в протокол занесены лишь записанные Лютовым слова Александра Ильича: «На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь Государя Императора я в настоящее время давать ответы не могу,

потому что чувствую себя нездоровым и прошу отложить допрос до следующего дня».

Владимиру Ильичу, разумеется, сразу стала ясна скрытая за этими скупыми строками трагедия, которую пережил на первом же допросе его брат: по вопросам жандармского ротмистра Александр Ульянов понял, что кто-то, находившийся близко к центру тайной организации, оказался предателем. И он решил оттянуть время, чтоб все обдумать и определить линию своего поведения.

А дальше лист за листом перед глазами Владимира Ильича разворачивалась эта трагедия: героическое поведение одних, предательство других, уклончивая осторожность третьих.

Александр Ульянов среди героев. О нем можно сказать словами его же речи на суде: он принадлежит к тем, для кого «не составляет жертвы умереть за свое дело».

Какую боль должен был испытать Владимир Ильич, когда, перелистывая страницы дела, он дошел до показаний, написанных знакомым почерком брата, когда прочел эти показания, в которых Александр Ильич, чтобы спасти тех, чье участие в подготовке покушения на царя вышло только благодаря показаниям двух предателей, взял на себя все, что им инкриминировалось. И непреклонные слова Александра Ильича: «Ни о каких лицах, а равно о называемых мне теперь Андреюшкине, Генералове, Осипанове и Лукашевиче никаких объяснений в настоящее время давать не желаю». И последние строки последних показаний на последнем допросе Александра Ильича, последние в его короткой жизни строки, в которых он, прекрасно понимая, что подписывает этим себе смертный приговор, твердым почерком написал:

«В заключение я хочу более точно определить мое участие во всем настоящем деле...

Мне, одному из первых, принадлежит мысль образовать террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации, в смысле доставления денег, подыскания людей, квартир и проч.

Что же касается до моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное, т. е. все то, которое доставляли мне мои способности и сила моих знаний и убеждений...»

А потом — суд, обвинительный акт, отказ Алек-

сандра Ульянова от защитника, его допрос, его речь на суде, слова, которые он шепнул сидевшему рядом с ним на скамье подсудимых Лукашевичу: «Если вам будет нужно, говорите на меня...» И приговор. И завершающая дело очередная казенная бумага, страшная и омерзительная, как все ей подобные:

«Сегодня в Шлиссельбургской тюрьме, согласно приговору Особого Присутствия Правительствующего Сената, 15/19 минувшего Апреля состоявшемуся, подвергнуты смертной казни государственные преступники...

При объявлении им за полчаса до совершения казни, а именно в 3¹/₂ часа утра о предстоящем приведении приговора в исполнение, все они сохранили полное спокойствие и отказались от исповеди и принятия св. таин...

Первоначально выведены для свершения казни Генералов, Андреюшкин и Осипанов... По снятии трупов вышеозначенных казенных преступников были выведены Шевырев и Ульянов, которые так же бодро и спокойно вошли на эшафот...»

В семье Ульяновых дети росли и дружили близкими по возрасту парами: Анна и Александр, Ольга и Владимир, Мария и Дмитрий. Естественно, что выполнение долга перед памятью брата взяла на себя старшая сестра. Анна Ильинична писала о нем и собирала воспоминания тех, кто его знал, первой в семье ознакомилась она со следственным и судебным делом, к тридцатипятилетию гибели брата она хотела выпустить в свет его биографию.

Сделать это не удалось. Поэтому в годовщину казни одна страница «Правды» была посвящена делу Первого марта тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года, Александру Ульянову, каким он запомнился встретившим его в последний раз Чеботареву и Бартеневу — с вдохновенным лицом, освещенным каким-то внутренним светом, лицом человека, обречшего себя на смерть. В ней рассказывалось о последней ночи, проведенной Александром Ульяновым в Петропавловской крепости, где чадила небольшая керосиновая лампа, с трудом разгонявшая мрак, и одноделец Александра Ульянова Новорусский, прислушиваясь к доносившемуся через стену лязгу железа, вдруг услышал гулко и глухо отозвавшиеся под сводами шаги и звон кандалов.

Провели первого закованного, за ним второго, затем третьего, четвертого и пятого. Их вели, вероятно, в том же порядке, в каком они были перечислены в смертном приговоре: первым — Шевырева, вторым — Ульянова...

Звон кандалов был последним звуком, донесшимся от Александра Ильича Ульянова до слуха его друзей. Когда осужденных на смерть доставили в Шлиссельбург, как ни вслушивались другие шлиссельбургские узники, они ничего не услышали: эшафот был сооружен за пределами тюремного двора и доставлен к месту казни в разобранном виде. Там, во дворе, у входа в старое здание, его установили без рубки и стука, и на рассвете, когда тюрьма спала, вывели осужденных и так же без звука лишили их жизни.

Все эти страшные подробности Владимир Ильич узнал накануне тридцать пятой годовщины казни старшего брата.

Годовщина эта была двадцатого мая.

В Горки Владимир Ильич переехал двадцать третьего мая.

А двадцать пятого мая у него произошел первый удар.

2

Больной оставался в тяжелом состоянии около недели. Врачи предписали ему абсолютный покой.

Он лежал на втором этаже северного флигеля в маленькой угловой комнате, одно окно которой выходит на запад, а второе — на север. Даже в солнечные дни в этой комнате полутемно: свет затемяют сетки от комаров и большие деревья, растущие под окнами. В ней очень тихо, лишь иногда тишину нарушают какие-то неопределенные звуки, чьи-то голоса, стук колес на дальней дороге, мычание коровы за лесом, кваканье лягушек над прудом. Какими длинными должны были быть бессонные ночи!

Постепенно Владимир Ильич стал чувствовать себя физически лучше. Но пришло понимание истинного характера болезни. Именно в эти дни он, постаравшись остаться наедине с приехавшим осмотреть его глаза профессором Авербахом, к которому испытывал особое доверие, задал столь мучивший его вопрос: паралич ли это, пойдет ли он дальше?

Вспоминая уже после смерти Владимира Ильича этот разговор, профессор Авербах говорил:

— Я уехал с тяжелым чувством, сопровождаемый всяческими проявлениями внимания к касающимся меня мелочам со стороны этого большого человека, который, чувствуя уже возможность своего конца, ясно уже ощущал с невыносимой болью невозможность видеть дальнейший рост своего великого дела, выстрадавшего всей жизнью.

Ночь, долгая ночь. Окно, слабо вырисовывающееся на фоне чуть подрумяненного закатом неба. Дежурящая ночи напролет Надежда Константиновна.

Если бы я умела писать о любви, я написала бы об этой любви. Любви, которая зародилась во время встреч на нелегальных собраниях, первые слова которой и решающее объяснение с предложением стать мужем и женой были написаны «химией» — невидимыми чернилами, проступающими, когда их нагревают над лампой или свечой, — и пересланы только что выпущенным из тюрьмы Владимиром Ильичем сидевшей в тюрьме Надежде Константиновне. Любви, озаренной романтикой поднимающейся рабочей революции, счастьем совместной борьбы, взаимным пониманием по одному слову, вздоху, молчанию.

Именно любви!

Как рассердилась Надежда Константиновна, когда некий бумагомаратель прислал ей свое сочинение, в котором, описывая ее приезд в Шушенское, изображал дело так, что, едва она приехала, они с Владимиром Ильичем уселись за перевод книги Веббов и все время только и делали, что корпели над этим переводом.

— Ведь мы же молодожены были, была поэзия, молодая страсть, а он заладил одно: «Вебб! Вебб!»...

Свой рассказ об этой любви я назвала бы «Зеленая лампа». В честь той лампы, которую Надежда Константиновна привезла Владимиру Ильичу в сибирскую ссылку.

Представьте себе Россию прошлого века, вымощенные булыжником улицы Петербурга, дребезжащую извозчичью пролетку, такие же дребезжащие, подпрыгивающие вагоны железной дороги, бесконечный путь в Сибирь по недостроенной еще Транссибирской магистрали, пересадки с поезда на поезд, с поезда на паром, с парома на поезд, на извозчичью пролетку, паромод, крестьянскую телегу — все это в пыли, бестолковщине,

сутолоке. И представьте себе молодую женщину, которая совершает этот многодневный путь, не выпуская почти ни на минуту из рук тяжелую медную лампу с зеленым стеклянным абажуром, и благополучно довозит эту лампу до далекого Шушенского!

И так вся жизнь: долгий путь, бесконечные препятствия, борьба за нелегальную партию, за революцию — и проходящая через всю жизнь любовь...

Мой друг Ваня Троицкий, который в восемнадцатом или в девятнадцатом году был курсантом Кремлевских курсов, рассказал мне, что однажды, когда он поздно вечером дежурил на посту у квартиры Ленина в Кремле, Владимир Ильич попросил его, как только он услышит внизу на лестнице шаги Надежды Константиновны, задержавшейся на каком-то заседании, постучать в дверь и позвать его.

Ваня вслушивался в ночную тишину. Все было тихо. Но вдруг растворилась дверь квартиры, и быстро вышел Владимир Ильич.

— Никого нет,— сказал Ваня.

Владимир Ильич сделал ему знак:

— Идет,— прошептал он заговорщическим шепотом и сбежал вниз по лестнице, чтоб встретить Надежду Константиновну. Она шла, ступая совсем тихо, но он все же услышал.

Бывают в человеческой жизни события, которые словно бы и необязательны, но, раз случившись, приобретают особый, глубокий смысл.

Так первым самостоятельным шагом той, которой суждено было пройти жизнь вместе с Лениным, было письмо к Льву Николаевичу Толстому.

Ей было тогда восемнадцать лет. Письмо ее было откликом на обращенный к молодежи призыв Толстого помочь исправлению и улучшению издания книг для народа.

Она подготовила для печати одну книгу, это был «Граф Монте-Кристо». На этом участие Надежды Константиновны в издательских начинаниях Толстого кончилось: ее влекли иные пути, иные формы действия, чем те, к которым звал яснополянский мудрец. Но даже в самый разгар напряженнейшей политической борьбы, в ноябре семнадцатого года, она писала Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову: «...теперь, когда

живешь с массой, часто переживаешь такое чувство, точно присутствуешь при тайне одухотворения, очеловечения жизни масс. И мне ужасно жаль, что нет художника настоящего, который мог бы в художественном произведении отразить этот процесс. И так жалеешь, что нет в живых Льва Николаевича!»

Не случайно после Октября Надежда Константиновна взялась за труднейшее и столь близкое идеалам Толстого дело: ликвидацию неграмотности. Плакаты ликбеза, которые издавались под ее руководством, учили народ читать языком революции: «Мы не бары. Мы не рабы... Заводы у бар — сила у бар. Заводы у нас — сила у нас». В букварях и азбуках для деревни вставала крестьянская Русь, какую она тогда была: «Соха — Тараса. Хомут — Пахома. Топор — Гаврилы. Сито — Параши... Параша сушит сухари. Параша, суши сухари. Сушу, сушу сухари... На телеге Гаврила. Телегу везет Гнедко... Купил бы Гаврила сала, да денег мало...»

По выражению, подслушанному ею у одной работницы, Надежда Константиновна «с великаторжественным аппетитом» вглядывалась, вслушивалась в жизнь, чтоб рассказать обо всем Владимиру Ильичу. Даже когда его уже не стало, она ловила себя на том, что мысленно формулирует то, что надо бы, хотелось бы рассказать ему.

Слушать ее всегда было наслаждением. О чем бы она ни говорила, ей присущи были собственные слова, мягкая ирония. Тут и неожиданные уменьшительные: «силешки», «дитюша», и переиначенные на свой лад слова: «пролетарий достоподлинный», и подтрунивание над самой собою: «вид у меня селедочный», «мечусь с караула на караул», «я тогда была совсем не пишущая».

Помню, как-то была я на заседании, на котором присутствовала Надежда Константиновна. Скучный и нудный докладчик долго жевал скучную и нудную канитель. Потом начались пустопорожние прения. Надежда Константиновна слушала-слушала, не выдержала и сказала:

— Товарищи, да ведь вопрос этот ясен даже титечному ребенку...

Более четверти века прожили они вместе, почти не расставаясь. «Я крепко любила Ильича,— писала Надежда Константиновна,— то, что его волновало, волновало и меня; я старалась в меру своих сил и умения помогать ему...»

Так было всегда, и в самое тяжкое для него время два самых близких ему человека — жена и сестра — неотступно были с ним. Надежда Константиновна дежурила у его постели, Мария Ильинична взяла на себя все хозяйственные заботы.

«Со стороны его близких, в лице Надежды Константиновны и Марии Ильиничны, как в периоды тяжелых осложнений, так и в периоды относительного благополучия, было отдано на служение Владимиру Ильичу все, что только у них было,— писал доктор Елистратов, лечивший Владимира Ильича.— Они предупреждали, угадывали все малейшие желания больного, старались всячески облегчить, скрасить и разнообразить его однообразную жизнь. И надо отдать им справедливость, они своим сердечным участием достигали этого и, несомненно, они много облегчили Владимиру Ильичу борьбу его с тяжелым недугом и с угнетавшим его сознанием вынужденного прекращения его деятельности».

3

Вскоре после того, как у Владимира Ильича произошел первый тяжелый приступ болезни, в его жизнь вошел новый человек — крупный ученый, врач, виднейший в то время специалист по болезням сосудов профессор Отфрид Ферстер.

Получив приглашение Советского правительства, которое просило его взять на себя руководство лечением Владимира Ильича, профессор Ферстер, возглавлявший клинику в Бреславле (нынешний Вроцлав), тотчас дал согласие приехать в Россию и около двух лет почти неотлучно находился при Владимире Ильиче, до самой его смерти.

Он познакомился с Владимиром Ильичем, когда тот был тяжело болен, но узнал его так интимно-близко, как может знать человека лечащий его врач. С наблюдательностью врача он следил за каждым его жестом, за каждой переменной настроения или выражения лица. Тем ценнее портрет Владимира Ильича, на-

рисованный Ферстером в его воспоминаниях, опубликованных год спустя после смерти Владимира Ильича.

«...Он стоит передо мной, как живой, со своей коренастой фигурой, со своими эластичными движениями, со своим великолепным, закругленным, как своды мощного здания, черепом; из его глаз, которые то широко раскрыты и глядят спокойно и ясно, то полуприщурены, как будто бы для того, чтобы лучше и точнее взять прицел на мир, всегда лился искрящийся поток ума... Его мимика отличалась сказочной живостью, всякая его черта выдавала постоянную и интенсивную умственную деятельность, а также глубочайшее внутреннее переживание».

Когда профессор Ферстер приехал в Горки, Владимир Ильич лежал в маленькой темной комнате северного флигеля. Ферстер решительно потребовал, чтоб он немедленно же перешел в Большой дом. Владимир Ильич упорно отказывался и дал согласие лишь тогда, когда профессор Ферстер убедил его, что в комнате, полной света и воздуха, выздоровление пойдет быстрее.

Сначала он лежал в большой комнате на втором этаже. Но, как рассказывала Надежда Константиновна, эту комнату он невзлюбил. Слишком чуждой она ему была, и он потребовал, чтоб его перевели в соседнюю, меньшую, но и в этой комнате ему было не по себе. Профессор Ферстер рассказывает, что несколько раз в особо серьезные периоды болезни, когда Владимир Ильич следовал глубоко скрытым бессознательным внутренним влечениям своей натуры, он уходил в северный флигель, мужественно преодолевая, несмотря на паралич, ступеньки его лестницы.

«...На первый взгляд мог бы показаться незначительным,— говорит Ферстер, анализируя поведение Владимира Ильича.— Однако он имеет глубокое психологическое значение. В последнее время выработано понятие коммунистической этики. Эта этика не только олицетворялась в Ленине, она была в нем автоматизирована. В те моменты его болезни, когда спокойный рассудок, противившийся этому вредному и нецелесообразному бегству в маленькую и темную комнату, молчал, аффект и инстинкт, на время освобожденные от его оков, брали верх в этой автоматической тяге к

простоте, соответствующей самому внутреннему существу Ленина, и определяли его поступки».

Одно из наиболее выраженных и характерных свойств Владимира Ильича профессор Ферстер видел в его беспримерной энергии и силе воли. Не считая себя вправе судить, в какой мере эти черты являлись важнейшим условием его политических успехов, Ферстер отмечал железную волю, с какой вел Владимир Ильич борьбу против своей болезни, против вызванных ею паралича, утери речи, способности писать: «Восстановление речи, чтения и письма в последние месяцы его жизни было его главной целью, и на пути к этой цели он достиг таких успехов, которые трудно согласовать с точки зрения всех до сих пор бывших научных исследований, с теми тяжелыми разрушениями, которые были обнаружены при вскрытии в его мозгу. Это было возможно только благодаря воле Ленина...»

Владимир Ильич и профессор Ферстер разговаривали между собой на немецком языке. Владимир Ильич говорил по-немецки бегло, и Ферстер часто удивлялся, с какою легкостью и меткостью он находил слова для выражения своих мыслей. В простоте и ясности, отличавших язык Владимира Ильича, Ферстер видел одну из ярких черт его внутренней сущности. Между тем сам Владимир Ильич в анкете Всероссийской переписи членов партии, которую он заполнил за три месяца до встречи с профессором Ферстером, на вопрос, на каких языках, кроме русского, он свободно говорит, ответил: «Свободно ни на одном».

С первого же мгновения своего знакомства с Владимиром Ильичем профессор Ферстер, по его собственному признанию, подпал под влияние его личности. Главным в Ленине он считал его гений, который «в противоположность рассудку, способному только повторять уже пройденное, повторяющему природу, возвышается над природой, обогащая в природе природу, непостижимый, свободный и неуловимый в своем творчестве».

В раскрытые окна врывался горячий запах земли и прогретой солнцем травы. Побывав в поле, Мария Ильинична рассказала, что рожь начала колоситься, и принесла букет белой ромашки и цветущего шиповника.

В начале июня в болезни Владимира Ильича наступило улучшение: восстановилась свобода движений, исчезла затрудненность речи.

Во второй половине июня врачи разрешили ему ходить и принимать близких товарищей, но поставили условие: никаких разговоров о политике и о делах.

— При таком условии не надо и разрешения, — сказал Владимир Ильич, помрачнев.

В эти дни в его настроении произошел глубокий перелом: раньше он примирялся с тем, что нужно устроить себе длительный отдых, теперь он хотел как можно скорее вернуться к работе. Уже восемнадцатого июня, то есть через три недели после того, как он заболел, в бюллетене о состоянии его здоровья говорилось, что он тяготится предписанным ему бездействием.

Неделю спустя состоялся врачебный консилиум. Владимир Ильич сильно волновался. Консилиум подтвердил необходимость длительного отдыха при соблюдении строгого режима и полном отказе от какой бы то ни было умственной работы и политических забот.

«Ильич режим подчинялся, — писала потом Н. К. Крупская, — но относился к требованию врачей скептически». «Не могут они сделать так, чтобы я не думал», — сказал он как-то.

Ухаживавшему за ним доктору А. М. Кожевникову он сказал:

— Надо, чтобы мне дали возможность чем-нибудь заняться, так как, если у меня не будет занятий, то я, конечно, буду думать о политике. Политика — вещь, захватывающая сильнее всего, отвлечь от нее могло бы только еще более захватывающее дело, а его нет.

Он покорно выполнял предписания врачей, лежал на террасе, бродил по парку. С течением времени прогулки становились все более дальними, он уходил в лес или на Пахру. И, разумеется, думал — и тогда, когда лежал, и когда гулял, и даже когда вел какой-нибудь житейский разговор.

Лето в тот год выдалось переменчивое, с частыми, но короткими дождями. В июле настала жара, пронеслись грозы и ливни. Прошел сенокос, поспела рожь, началась жатва.

Владимир Ильич уже свободно двигался, стал хорошо спать, головные боли почти исчезли. Тринад-

цатого июля он радостно писал своему секретарю Л. А. Фотиевой: «Можете поздравить меня с выздоровлением. Доказательство: почерк, который *начинает* становиться человеческим».

Письмо это действительно было написано твердым, четким почерком.

Тут же Владимир Ильич просил подготовить ему книги и составить списки того, что вышло: научной литературы, беллетристики, политической. И добавил в скобках: «... (последнюю позже всех, ибо она еще не разрешена)».

Но пришел черед и политике: восемнадцатого июля профессор Ферстер разрешил ему читать газеты — сперва старые, за май, июнь и первую половину июля, а потом и свежие.

Владимир Ильич этому бесконечно обрадовался. Надежда Константиновна рассказывала, что, когда он брал приготовленные для него газеты, у него дрожали руки. Хотел прочесть все залпом. Увидев ее встревоженный взгляд, пообещал растянуть чтение на три дня.

Предупреждая, что Ленин должен начать с чтения газет месячной и полуторамесячной давности, профессор Ферстер, вероятно, хотел оградить своего пациента от слишком острых, будоражащих впечатлений. Профессор не знал и не мог знать, что именно те газеты, на которые в первую очередь распространялось его разрешение, воскрешают из забвения и полужабвения самые напряженные, самые драматические события в жизни Ленина.

5

Отправимся же в библиотеку, выпишем из фонда старые газетные подшивки, раскроем их на страницах, которые с такой жадностью и нетерпением читал и перечитывал Владимир Ильич.

«1720 вопросов, или «социализм — это учет» — статья А. Гольцмана. Как это было тогда в обычае, ей предпослано краткое редакционное резюме:

«Северо-Западное Промбюро рассылает ежемесячную анкету на 1500 чисел минимум. Да здравствует

героическая производственная деятельность по заполнению анкет!»

Автор описывает одну из таких анкет: целая страница с 67 вертикальными и 30 горизонтальными рубриками. Сколько причиталось? Сколько получено?.. Боясь сами подсчитать, составители анкеты спрашивают: сколько недополучено?

«Поток бумажных дел! — восклицает автор. — Предприятие для статистики! Долой прогресс производства, да здравствует бюрократический каприз!»

Другая статья: Доклад председателя Межрабпомгола (Международной рабочей организации помощи голодающим) Мюценберга. Собрано у заграничного пролетариата 800 миллионов марок, закуплено 20 000 тонн продовольствия...

Далее:

Обвинительный акт по делу правых эсеров.

Гаагская конференция.

Новое предложение Советской России о сокращении вооружений.

Статья А. Гастева «Бьет час!».

«Пора перестать ждать, перестать надеяться на заморское счастье,— пишет Гастев.— Из той рухляди, какая осталась, надо начать делать все своими собственными силами. В разоренной, бедной стране мы ведем себя так, как будто земля стонет под тяжестью амбаров. Нам вовсе не некогда, мы не спешим.

Идемте же на приступ. Жизнь надо перевернуть... Идемте через пни, овраги, ржавые болота, спаленные поля с суровой решимостью новой культурной пахоты... Стройте организации, объединяйтесь — и не пишите длинных положений, инструкций, уставов. Называйте эти организации: «Грабли», «Сапог», «Сено», «Мостовая», «Пропеченный хлеб», «Здоровая книга», «Короткая фраза»... Организуйтесь, будьте портативны. В жизни, как в походе...»

Пленум Исполкома Коммунистического Интернационала...

Суд над эсерами...

Итоги изъятия церковных ценностей на 10 июня.

Всего поступило: золота 21 пуд 9 фунтов, серебра 17 961 пуд 11 фунтов, бриллиантов и алмазов 23 706 штук, жемчуга 3839 штук, прочих драгоценных камней 43 711 штук...

Убийство Ратенау! В то время когда германский

премьер-министр Вальтер Ратенау направлялся в свою резиденцию, его машину обогнал автомобиль, в котором находилось несколько хорошо одетых молодых людей. Сначала они бросили в Ратенау ручную гранату, а затем открыли стрельбу из автоматических пистолетов большого калибра. Ратенау убит наповал. Автомобиль со стрелявшими умчался, развив бешеную скорость.

Товарищ Урожай, укрепление финансов и экспорт...
Подписывайтесь на Хлебный Заем!!!

Каширская электростанция открыта. Митинг строителей и работников Каширской электростанции направил товарищу Ленину приветственную телеграмму: «Первый камень величественного здания электрификации заложен. Тысячи рабочих и крестьян шлют Вам, дорогой товарищ Ленин, горячий привет и желают скорейшего выздоровления и возвращения к работе...»

После убийства Ратенау. Возбуждение в Берлине. Рабочие требуют роспуска реакционных организаций, ареста Гинденбурга, Людендорфа, Гальфериха, образования рабочего правительства. Бесчинства националистических головорезов в Мюнхене. Столкновения между националистами и рабочими во многих городах Германии...

И наконец:

Июльские дни 1917 года. К пятилетию событий третьего — пятого июля в Петрограде...

Июльские события застали Владимира Ильича в деревне Нейвола неподалеку от станции Мустамяки. Поздней ночью с третьего на четвертое товарищ, приехавший из Питера, сообщил о волнении, которым охвачены рабочие районы. С первым же утренним поездом Владимир Ильич уехал в город и отправился во дворец Кшесинской. Площадь перед дворцом была запружена рабочими и матросами. Днем революционный Петроград вышел на полумиллионную демонстрацию под лозунгом «Вся власть Советам!». Потом прибыли контрреволюционные воинские части, артиллерия и казаки (с правого берега Невы, где находится дворец Кшесинской, было видно, как они, сверкая на солнце остриями пик, сплошной лавиной двигались от Троицкого моста мимо Летнего сада по направлению к Таврическому дворцу), потом произошел расстрел demonstra-

ции и была выпущена гнусная фальшивка, опубликованная предателем Алексинским в черносотенной газете «Живое слово».

Пробовали ли вы представить себе, что пережил тогда Ленин?

А дальше — ночное заседание Центрального и Петербургского комитетов партии. По настоянию Ленина было решено призвать массы мирно и организованно закончить демонстрацию и готовить силы для дальнейшей борьбы. После заседания он пошел в «Правду». Совсем поздно вернулся домой, на Широкую улицу. На заре постучали: это был Яков Михайлович Свердлов, который пришел сообщить, что тотчас после ухода Ленина редакция «Правды» была разгромлена ворвавшимися туда юнкерами и казаками. С минуты на минуту они могут явиться сюда, на Широкую. Надо немедленно же уходить.

Ленин переходит с квартиры на квартиру — от Марии Леонтьевны Сулимовой к Василию Николаевичу Каюрову; от Каюрова — к Николаю Гурьевичу Полетаеву, от Полетаева — к Сергею Яковлевичу Аллилуеву. С Петроградской стороны на Выборгскую, с Выборгской — на Пески. Чуть ли не каждую ночь ночует в другом месте.

На этот раз сила и победа оказались на стороне контрреволюции. Утренние выпуски буржуазных газет вышли с аршинными заголовками, кричавшими о «ликвидации большевистского заговора», «разгроме вооруженного восстания», «подавлении тысячеголовой и тысячерукой большевистской гидры». Тут же на все лады раздувалась клевета, сфабрикованная Алексинским и его подручными. Некоторые газеты поместили на первых полосах портреты Ленина, не скрывая, что они делают это специально для того, чтобы помочь напасть на его след.

Он прекрасно понимал всю меру грозившей ему опасности. Единственную дошедшую до нас записку, написанную в те дни, он начинает словами: «Если меня ужокошат...»

Это письмо — распоряжение, которое он сделал на случай своей гибели. Адресовано оно Л. Б. Каменеву.

«Entre nous ¹, — пишет Ленин, — если меня ужоко-

¹ Между нами (франц.).

шат, я Вас прошу издать мою тетрадку: «Марксизм о государстве» (застряла в Стокгольме). Синяя обложка, переплетенная. Собраны все цитаты из Маркса и Энгельса, равно из Каутского против Паннекука¹. Есть ряд замечаний и заметок, формулировок. Думаю, что в неделю работы можно издать. Считаю важным, ибо не только Плеханов, но и Каутский напутали. Условие: все сие абсолютно *entre nous!*»

Утром шестого июля Ленина, скрывавшегося в это время на квартире М. Л. Сулимовой, снова разбудил Свердлов. Он сказал, что правительственные войска захватили дворец Кшесинской — и возможно, что в их руки попали документы, в которых фигурирует имя Сулимовой. Оставаться у нее дольше опасно.

Вместе со Свердловым Ленин ушел на Выборгскую сторону. Провел несколько часов на квартире Каюрова, оттуда пошел на совещание Исполнительной Комиссии Петроградского Комитета партии, происходившее в сторожке завода «Русский Рено». Обсуждался вопрос, как действовать дальше. Некоторые товарищи считали, что на подлую клевету и инсинуации, распространяемые буржуазией о нашей партии и в первую очередь о Ленине, следует ответить призывом к всеобщей забастовке петроградского пролетариата. Ленин решительно с ними не согласился и предложил обратиться к рабочим с воззванием, призывающим их возобновить работу с завтрашнего же дня, то есть с седьмого июля. Предложение Ленина было принято.

Вечером Владимир Ильич пришел на квартиру Маргариты Васильевны Фофановой там же, на Выборгской стороне, провел узкое совещание членов ЦК партии по поводу июльских событий. Совещание подходило к концу, когда прибежали товарищи из Выборгского райкома партии, чтоб сказать, что на Выборгскую сторону стянуты казаки — более тысячи сабель. Ленину надо снова уходить.

Решено было переправить его в город. Но как это сделать? Все мосты через Неву, кроме Дворцового, были разведены, по улицам Выборгской стороны циркулировали казачьи патрули, задерживали прохожих, проверяли документы, не столько даже проверяли документы, сколько вглядывались в лица.

¹ Паннекук А. (Хорнер К.) (1873—1960) — голландский социал-демократ. — *Ред.*

Переправить Ленина было поручено И. С. Ашкенази, который сумел получить на этот день в свое распоряжение заводской автомобиль завода «Русский Рено». Около одиннадцати вечера он заехал за Владимиром Ильичем на квартиру М. В. Фофановой. Чтобы замести следы, машина долго кружила по улицам. Она наткнулась на казачий патруль, но он ее не задержал, так как у Ашкенази имелся надлежащий пропуск.

Еще далеко не доехав до Дворцового моста, они услышали ровный глухой шум. Все подъезды к мосту были запружены автомобилями, экипажами, пешеходами. Вооруженные заставы по нескольку раз проверяли пропуска и документы. Иногда патрульные, не удовлетворяясь проверкой пропуска, отворяли дверцы автомашин и, включив пронзительный свет карманного электрического фонаря, заглядывали внутрь, чтобы рассмотреть пассажиров.

Процессия двигалась очень медленно. Покамест машина оказалась на мосту, сидевшие в ней успели услышать от находившихся рядом, что два часа назад в Петроград вернулся с фронта Керенский, что он произнес перед встречавшими его у вокзала войсками речь, в которой призывал «в два счета покончить с анархией». В город продолжают прибывать воинские части. Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина. Ленин скрывается в Петрограде — и все, что творится здесь, на мосту, имеет целью поимку Ленина. Несколько большевиков уже арестовано, Ленина среди них нет, но раньше или позже он будет схвачен — и тогда уж ему не сносить головы.

В тот вечер, быть может, в тот самый час я вместе с двумя или тремя товарищами шла с Выборгской стороны через Дворцовый мост в город. Было тяжело, душно. Время от времени по низким тучам пробегали короткие отсветы далекой грозы. Под аркой Главного штаба чернели силуэты тяжелых броневиков. На всех углах заставы охраняли входы и выходы. Посреди Невского гарцевали казаки. На Дворцовой площади было полно войска, горели костры, дымились походные кухни, трещали мотоциклы самокатчиков. Все напоминало военный лагерь перед боем.

Несмотря на поздний час, на Невском было полно людей. С трудом пробираясь через толпу, машина, в которой ехал Владимир Ильич, совершила свой

нескончаемый путь. Как рассказывает Ашкенази, Владимир Ильич сидел все время молча и не проронил ни звука.

Владимир Ильич никому, быть может, кроме близких своих, не рассказывал о том, что он пережил в эти дни. И только однажды помянул, как скрывался после июльских событий, но сделал это лишь для того, чтоб с восхищением вспомнить, как рабочий, который укрыл его у себя, по качеству хлеба, отпускавшегося по карточкам, сделал своим пролетарским чутьем правильнейшие выводы о соотношении классовых сил в стране.

И вот теперь, пять лет спустя, когда все было еще так свежо в памяти, Владимир Ильич держал в руках газеты, в которых были напечатаны статьи и воспоминания участников июльских событий. Впервые наша печать так широко отмечала эту годовщину.

Основное из того, что рассказывали товарищи, Ленин знал. Но было в газетах и кое-что новое, ему неизвестное. К этому времени в архивах Временного правительства было разыскано «Дело о событиях 3—5 июля». Ему предпослана была докладная записка прокурора, в которой тот сообщал по начальству, что следственный аппарат и прокурорский надзор проводили расследование со всей энергией, и работали буквально не покладая рук по восемнадцать — двадцать часов в сутки.

А дальше шли показания так называемых свидетелей. И в их числе было названо имя, увидеть которое в такой связи Ленину было больнее всего.

6

Была у Ленина большая, горькая, прошедшая через всю его жизнь несчастливая любовь — любовь к Плеханову.

Размышляя о силе и характере человеческих чувств, один из героев Достоевского заметил: «Есть температура кипения воды и есть температура красного каленья железа». Ленину свойственно во всем именно это «красное каленье железа». И прежде всего в его отношении к людям: тех, кого он любил, он любил страст-

но, безоглядно и, если приходилось с ними рвать, переживал это неизмеримо тяжело. Недаром Надежда Константиновна Крупская говорила, что, если бы Владимир Ильич не был таким страстным в своих привязанностях человеком, не надорвался бы он так рано.

Георгий Валентинович Плеханов занимал в его душе совершенно особое место. Многое тут слилось: и преклонение перед ролью, сыгранной Плехановым в русском революционном движении и развитии марксизма в России, и благодарность Плеханову за то, что он помог ему, Ленину, найти правильный революционный путь, и восхищение блестящим умом Плеханова, и просто обаяние его личности.

«Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, *vénération*, ни перед кем я не держал себя с таким «смирением»...» — писал Ленин в трагическом своем письме, в котором рассказывал, «как чуть не потухла «Искра». И, снова и снова возвращаясь к своему чувству к Плеханову, говорил, как влюблен был он в Плеханова, относился к нему, как к «любимому человеку», смотрел на него глазами «влюбленной юности», видел в нем свой «идеал», был ослеплен своей влюбленностью, какой настоящей драмой был для него чуть не происшедший тогда, в период создания «Искры», разрыв с Плехановым, который означал для Ленина разрыв с тем, с чем он «носился, как с любимым детищем, долгие годы, с чем неразрывно связывал всю свою жизненную работу».

«Точно проклятье какое-то!» — восклицал Ленин, рассказывая, как после глубокого конфликта с Плехановым он и Потресов по настоянию П. Б. Аксельрода решили пойти все же еще раз к Плеханову. «...Никогда не забуду я того настроения духа, с которым выходили мы втроем: «мы точно за покойником идем», сказал я про себя. И действительно, мы шли, как за покойником, молча, опуская глаза, подавленные до последней степени нелепостью, дикостью, бессмысленностью утраты... Просто как-то не верилось самому себе [точь-в-точь как не веришь самому себе, когда находишься под свежим впечатлением смерти близкого человека] — неужели это я, ярый поклонник Плеханова, говорю о нем теперь с такой злобой и иду, с сжатыми губами и с чертовским холодом на душе, говорить ему холодные и резкие вещи, объявлять

ему почти что о «разрыве отношений»? Неужели это не дурной сон, а действительность?»

Сколько раз потом, на протяжении полутора десятилетий, то, о чем Ленину хотелось бы думать только как о дурном сне, оказывалось, увы, доподлинной действительностью! И уход Плеханова к меньшевикам после Второго съезда партии, и слова его «Не нужно было браться за оружие», сказанные после поражения декабрьского вооруженного восстания 1905 года, когда в Москве на снегу еще чернели лужи крови расстрелянных дружинников, и оборончество его во время первой мировой войны. Но даже в периоды самых острых расхождений Ленин хранил в душе глубокую любовь к Плеханову, внимательно прислушивался к каждому его слову, тщательно взвешивал его аргументы против своей позиции, напоминал товарищам о заслугах Плеханова, говорил им: в Плеханове живет подлинный якобинец, требовал, чтобы они штудировали философские работы Плеханова.

«С какой радостью он повторял слова Плеханова: «Не хочу умереть оппортунистом»,— вспоминала Н. К. Крупская.— Даже в 1914 году, когда разразилась война, Владимир Ильич страшно волновался, готовясь к выступлению против войны на митинге в Лозанне, где должен был говорить Плеханов. «Неужели он не поймет?» — говорил Владимир Ильич».

А сейчас, в Горках, он узнал, что Плеханов дал показания следователям Временного правительства, занимавшимся фабрикацией так называемого дела о связях Ленина с германским генеральным штабом.

С точки зрения холодного рассудка в этом не было, конечно, ничего особо неожиданного: Ленину известна была позиция издаваемой Плехановым газеты «Единство» вообще и после событий третьего — пятого июля в частности. Известно было, что Плеханов солидаризировался с кампанией лжи и клеветы, направленной против большевистской партии. Но есть какая-то трудно определяемая, но, безусловно, существующая разница между самыми крайними резкостями в пылу политической борьбы и показаниями, даваемыми судебному следователю, приобщаемыми к судебному делу, долженствующими служить основанием для обвинительного заключения и фигурировать на судебном процессе в качестве доказательств обвинения.

И такие показания дал Плеханов!

Как ни жестоки и неумолимы эти факты, слишком большими людьми были Ленин и Плеханов, чтоб на этом оборвались связывающие их невидимые нити.

Прежде всего это было невозможно для Ленина. Какую бы сильную боль ни причинял ему Плеханов, старое чувство — израненное, истоптанное, окровавленное — продолжало жить.

С. И. Гусев рассказывал, что вскоре после Октября в Петроградский военно-революционный комитет, секретарем которого он был, зашел Ленин. Он очень торопился, передал какие-то срочные распоряжения, подозвал Гусева, попросил, чтоб он его проводил, и на ходу сказал ему, что его крайне тревожит судьба Плеханова, как бы с ним чего не случилось, и он просит Гусева непременно его разыскать и принять меры к его охране.

Легкое ли было это дело — найти в те дни Плеханова! Попытаться разузнать о нем через меньшевиков? Но они тут же поднимут вой, что кровожадные большевики хотят арестовать Плеханова, заточить его в тюрьму, убить.

Помог Гусеву Николай Евгеньевич Буренин — человек, занимавший совершенно особое место в тогдашнем Петрограде; в пятом году он был руководителем большевистской Боевой организации, а в последующие годы продолжал оказывать партии услуги, не являясь формально ее членом. Известный музыкант, друг Горького, он имел широкие связи в самых широких кругах петербургского общества и сумел узнать, что Плеханов живет в Царском Селе.

Результатом всего этого была радиотелеграмма Царскосельскому Совету рабочих и солдатских депутатов, копия которой с собственноручными пометками Гусева хранится в архиве Военно-революционного комитета.

«№ 2363 от 2 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет Центрального и Петроградского Советов рабочих и солдатских депутатов предписывает Царскосельскому Совету р. и с. д. немедленно предпринять экстренные меры к полному охранению спокойствия и безопасности гражданина Георгия Валентиновича Плеханова».

А Плеханов? В эти самые дни Плеханов доказал, что все же не напрасно Ленин пронес через всю свою

жизнь любовь к нему, не напрасно называл он его подлинным якобинцем.

Плеханов, разумеется, не знал и не мог знать о радиотелеграмме в Царскосельский Совет, посланной по указанию Ленина. Но когда на следующий день после посылки этой радиограммы к нему явился Борис Савинков и предложил ему встать во главе правительства после того, как «победоносные казаки после битвы при Пулкове войдут в Петроград», Плеханов ясно и решительно сказал Савинкову:

— Я сорок лет своей жизни отдал пролетариату, и не я его буду расстреливать даже тогда, когда он идет по ложному пути.

Уже тогда Плеханов был тяжело болен. Весной восемнадцатого года он понял, что дни его сочтены. Он заговорил с женой о смерти. Она, все время поддерживавшая в нем мысль о выздоровлении, запротестовала против его слов.

Тогда он сказал ей:

— Ты обнаруживаешь признаки слабости. Мы оба, ты и я, старые революционеры, и нам нужно держаться вот как!

Он поднял руку и со всей сохранившейся у него силой и энергией сжал ее кулак.

— И затем,— продолжал он,— что такое смерть? Превращение материи. Посмотри,— сказал он, обращая свой взор к окну, выходящему в сад.— Видишь эту березу, которая так нежно прикила к сосне? Быть может, и я превращусь когда-нибудь в такую же березу. И разве это плохо?

Умирал он в полном сознании. Перед смертью попросил, чтоб на его могильном камне были начертаны слова из поэмы-элегии «Адонаис», написанной Шелли на смерть друга — поэта Джона Китса:

«He is made one with Nature!»¹

— Какая прекрасная смерть, смерть философа, пантеиста, смерть, достойная мужей античности, для которых смерть — это слияние воедино с природой,— скажут, быть может.

— Какая прекрасная смерть для философа античного мира, но какая горькая смерть для Плеханова,— скажем на это мы.— Сколько в ней трагического одиночества, ухода и отрешенности от всего, чему при-

¹ «Он слился с природой!» (англ.).

надлежала его жизнь. Ни к кому он не обращает слов прощания, никому не оставляет никаких заветов. Ему некому их оставить — у него не осталось ни партии, ни друзей, ни единомышленников. Один, совсем один...

И если б только такая смерть! Увы, все сложилось неизмеримо ужаснее.

Плеханов еще лежал на смертном одре, когда вокруг него уже закружило черное контрреволюционное воронье, нетерпеливо ожидавшее его смерти, чтобы использовать ее для антисоветской демонстрации. «Хоть день, да наш!», — каркало оно, устроив на свой лад похороны Плеханова. Кто только не вылез из подполья, кто только не шел за его гробом: кадеты и октябристы, барышники и спекулянты, подонки с Невского и всяческие «бывшие» — заводчики, банкиры, биржевые дельцы, землевладельцы, графы и графини, лейб-гвардейцы и казачьи офицеры. Все они изображали из себя безутешных «почитателей» Плеханова.

Кого только там не было. Но не было петроградских рабочих. И от кого только не несли венков — даже обвитый лиловыми лентами венок от видного монархиста, известного своими антисемитскими и хулиганскими выходками, Владимира Пуришкевича.

Но не было петроградских рабочих.

С. И. Гусев рассказывал:

— После того, как он установил, что Плеханов живет в Царском Селе, Ленин попросил его наладить (так, чтоб Плеханов этого не знал) передачу ему продуктов и теплых вещей. Делалось это при помощи Буренина. Когда Советское правительство переезжало в Москву, Ленин специально напомнил Гусеву, который оставался в Петрограде, чтоб тот продолжал заботиться о Плеханове.

Вскоре после смерти Плеханова Гусев был в Москве, виделся с Лениным. Ленин попросил рассказать ему все, что он знает о последних днях Плеханова. Слушал страшно бледный. Когда дошло до венка от Пуришкевича, на глазах Ленина выступили слезы.

И вот сейчас, когда я пишу эти строки, я думаю: кем же остался Плеханов в памяти и сознании Ленина? Революционером или оборонцем? Подлинным якобинцем или же социал-предателем?

Самый простой, услужливо обтекаемый ответ: «И то, и другое», «С одной стороны... С другой стороны...».

Нет, я не верю этому! Ленин не мог так рассудочно, так мертвенно думать о Плеханове. По моему глубокому убеждению, надо всем, что было в Плеханове ложным и неверным, над его ошибками и заблуждениями, для Ленина должно было возобладать то, что было в нем большим, настоящим, благородным, достойным великого человека и великого революционера. И мне кажется, что в памяти Ленина Плеханов сохранился таким, каким запечатлен он в великолепных гравюрах на дереве работы Ивана Павлова, помещенных в вышедшем тогда, летом двадцать второго года, номере журнала «Под знаменем марксизма», целиком посвященном Плеханову: на глубоком черном фоне выступает нанесенное белым штрихом лицо мыслителя с прекрасными задумчивыми темными глазами.

7

Просто удивительно, как все словно сошлось в эти дни для того, чтобы воскресить перед Лениным самые драматические моменты его жизни.

В каждом номере газет, которые разрешил ему читать Ферстер, были страницы, занятые отчетами о суде над партией правых эсеров. Это был не обычный суд, не обычный политический процесс. Перефразируя Клаузевица, о нем можно сказать, что это было продолжение гражданской войны, но только иными средствами.

На скамье подсудимых сидели активные деятели этой партии — члены ее Центрального Комитета, организаторы боевых дружин, боевики, непосредственно участвовавшие в подготовке убийства Володарского и Урицкого и в покушениях на жизнь Ленина. Ко времени суда часть обвиняемых признала свой политический путь ошибкой и перешла на сторону Советской власти. Другая часть стояла на прежних позициях и не скрывала своих убеждений.

«Ни для кого не секрет,— говорил один из главных обвиняемых, член ЦК [партии] эсеров Тимофеев,— что партия социалистов-революционеров вела и ведет борьбу с Советской властью с самого начала Октябрьского переворота, защищает ту организацию государственной власти, которая была установлена Фев-

ральской революцией. Партия в этом смысле взяла на свои плечи всю борьбу против Советской власти, и, поскольку обвинительный акт инкриминирует нам подобные деяния, все утверждения совершенно неоспоримы...»

На вопрос, признает ли он себя виновным, обвиняемый Либеров ответил: «Я считаю себя виновным в том, что я недостаточно работал для свержения Советской власти». Обвиняемый Берг заявил: «Я виновен в том, что не смог с достаточной силой бороться против большевиков, но надеюсь, что мое время еще не истекло».

Спор шел не о том, вела ли партия эсеров борьбу против Советской власти. Этого не отрицала ни одна из сторон. Спор шел о том, кто начал гражданскую войну? Обвинение утверждало, что это сделали правые эсеры вкупе с теми силами, которые действовали с ними единым контрреволюционным фронтом. Обвиняемые решительно оспаривали это утверждение.

«...Мы не открывали вооруженных действий против Советской власти до разгона Учредительного собрания,— говорил обвиняемый Тимофеев.— Только после этого для нас стало ясно, что других путей, как решительная борьба за нарушенные права народа, быть не может...»

Чтобы установить, на чьей стороне истина — на стороне обвиняемых или же обвинения, Верховный трибунал приступил к тщательному исследованию событий в день пятого января восемнадцатого года — день открытия и так называемого разгона Учредительного собрания.

В учебниках истории этому дню уделяется несколько строк, а то и несколько слов.

Большего он, пожалуй, и не стоит, если глядеть на него сегодня, из исторического далека. Тогда же было иначе. Тогда воздух был насыщен грозой и не было известно, чем кончится этот день, к каким, быть может самым неожиданным, последствиям он приведет.

Все говорило о том, что в этот день будет совершена попытка вооруженного восстания и государственного переворота. Еще с конца декабря контрреволюционные газеты, действуя по тщательно законспирированному плану, выработанному ЦК правых эсеров, стали призывать население Петрограда к тому, чтобы в день открытия Учредительного собрания оно пришло на Марсово поле и противопоставило большевикам свою решимость

отстоять Учредительное собрание. План предполагал, что в то время, когда безоружные толпы будут стягиваться к Марсову полю, вооруженные дружинники по совершенно другому маршруту, минуя Марсово поле, направятся по Литейному проспекту мимо расположенных там полков, увлекут эти полки за собой, создадут вооруженный кулак, займут плацдармы на площадях и возьмут под прицел и подвергнут обстрелу Смольный и прилегающие к нему улицы.

Апофеозом событий этого дня должен был стать момент, когда вооруженные и невооруженные толпы подойдут к стенам Таврического дворца и торжественно провозгласят передачу власти в руки Учредительного собрания и его правозэсеровского большинства. «Рано утром мы собрались в какой-то чайной, чтобы окончательно условиться относительно нашего поведения,— рассказывал депутат Учредительного собрания правый эсер Климушкин.— Было предусмотрено все до мельчайших подробностей, вплоть даже до того, где кто должен сидеть, что говорить и что делать...» В детально продуманный ритуал захвата власти входили даже свечи и булки, которые рекомендовалось припасти героям грядущего переворота на случай непредвиденной задержки победы...

Все эти и многие другие детали были раскрыты только во время суда над эсерами. Тогда, в день открытия Учредилки, известно было лишь то, что контрреволюция мобилизует свои силы. «Правда» вышла в этот день с шапкой: «Сегодня гиены капитала и их наемники хотят вырвать власть из рук Советов... Да здравствуют Советы! Да здравствует коммунистическая рабочая революция!» И когда в четвертом часу дня депутаты Учредилки — большевики и в их числе Ленин, выйдя из Смольного, направились в Таврический дворец, они прекрасно сознавали, что идут в логово зверя, в котором может случиться все.

Бой разгорелся сразу, с первой минуты. Эсер Швецов на правах старейшего члена собрания пытался захватить председательство. Яков Михайлович Свердлов не дал ему это сделать. Объявив от имени Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Учредительное собрание открытым, Свердлов огласил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатиру-

емого народа», выразил надежду, что Учредительное собрание к ней присоединится, и предложил избрать председателя. Двумястами сорока четыремья голосами против ста пятидесяти одного был избран эсеровский вождь Виктор Чернов.

Вспорхнув на председательское место, Чернов начал произносить речь. Он говорил, говорил, говорил. И снова говорил, говорил, говорил... Наконец поток его красноречия на мгновение иссяк. И тут большевики поставили перед Учредительным собранием в упор вопрос, как относится оно к Декларации, оглашенной Свердловым. Собрание заявило, что обсуждать эту Декларацию оно отказывается. Тогда большевики потребовали, чтоб был объявлен перерыв, и удалились на совещание.

Все это происходило под непрерывный шум, свист, топот, возгласы, стук пюпитров на правых и левых скамьях. И словно аккомпанируя этому шуму, с улицы время от времени доносились ружейные залпы и взрывы гранат. Напряжение все время нарастало. Казалось, что эсеры вот-вот кинутся на большевиков и начнется рукопашная. Но нет, они дали им удалиться.

Только во время процесса правых эсеров стали известны причины этой эсеровской нерешительности: как раз в эти минуты по плану эсеровского ЦК победившие дружинники и полки должны были подойти к Таврическому дворцу и вручить эсерам всю полноту власти. Но время шло, а победоносные толпы не подходили. Как рассказали на процессе свидетели Кононов и Наевский, «толп» вообще не оказалось, на улицы вышли лишь небольшие кучки, собравшиеся в жидкую демонстрацию, которая несла белые плакатики с лозунгами: «Все на защиту Учредительного собрания!» Даже кадровые эсеровские боевики уклонились от активных действий.

Эсеровские цекисты, сидевшие в зале Таврического дворца, растерялись. Как говорил на процессе Тимофеев, они «думали, что Учредительное собрание будет чувствовать себя тверже и прочнее». «Может быть,— говорил он,— мы сочли бы возможным не только защитить Учредительное собрание, но и пойти на штурм Смольного, но мы предпочли бы другое — чтобы вы, большевики, двинулись из Смольного».

Повторяю, все это стало известно лишь пять лет спустя. Но Ленин почувствовал это тогда же.

— Товарищи! — сказал он на совещании больше-

вистской фракции, о котором не сохранилось стенограмм и протоколов, но имеются подробные воспоминания Павла Мостовенко.— Я не стану скрывать, что ЦК нашей партии с кое-какой тревогой ожидал сегодняшнего дня. То, что мы видели сейчас в зале, показывает, что мы ошибались. Меншевики и эсеры оказались неспособны к тому, что на их месте предприняли бы, конечно, мы, и занялись своим обычным словоизвержением. Поскольку они не обнаруживают способности к какому-либо действию, их речи точно так же не опасны нам сейчас, как они оказались мало опасны за минувший период революции. Поэтому ЦК, обсудив создавшееся положение, постановил: предоставить меньшевикам и эсерам полную возможность использовать представившийся им случай «поговорить». Нам нет оснований ни подкреплять своим присутствием их болтовню, ни предпринимать какие-либо шаги в виде, скажем, их разгона. В последнем случае мы только совершенно напрасно создадим в кое-каких кругах для этих жалких болтунов авторитет «мучеников» или «пострадавших за свою идею». ЦК предлагает фракции большевиков ограничиться следующим: поручить одному из товарищей прочесть на собрании нашу Декларацию в том духе, как я говорю, и отказаться от дальнейшего участия в Учредилке.

— А если они сегодня всего не переболтают? — спросил кто-то.— Если они захотят «добалтывать» завтра, послезавтра и так далее, как мы тогда поступим?

— Пусть себе болтают, сколько влезет,— бросил в ответ Владимир Ильич.— Ясно одно: ожидать от них чего-нибудь, кроме болтовни, нет оснований...

Так и порешили. Фракция большевиков вернулась в зал. Федор Федорович Раскольников огласил заявление большевиков, в котором говорилось, что контрреволюционное большинство Учредительного собрания выражает вчерашний день революции и пытается встать поперек дороги рабочему и крестьянскому движению, а посему, не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, фракция большевиков покидает это Учредительное собрание,— и под снова поднявшийся шум, свист, крики и рукоплескания большевики поднялись со своих мест и направились к выходу. А контрреволюционное большинство, оставшееся в зале, пре-

далось, как и предвидел Ленин, безудержному болтанию, добалтыванию и перебалтыванию и занималось этим, пока не появился начальник караула матрос Железняков и предложил всем присутствующим разойтись, так как караул устал.

Так и кончился этот день, который правозсеровская печать провозгласила «Днем Веков».

На следующий день, как показал свидетель Кононов, эсеровские и меньшевистские депутаты Учредилки собрались в какой-то гимназии, чтоб решить, как быть дальше. Кое-кто предлагал перейти на Обуховский завод. Большинство с этим не согласилось и решило выехать из Петрограда.

В этот день по фабрикам, заводам и солдатским казармам проводились митинги. Павел Мостовенко, который вместе с двумя другими большевиками — депутатами Учредилки выступал в Семеновском полку, рассказывает в своих воспоминаниях, что они застали в казармах лишь небольшое количество солдат, вовсе не интересовавшихся тем, существует ли Учредительное собрание или уже нет. Такими же были впечатления свидетеля из противоположного лагеря — Бориса Соколова. «Выступали лишь большевики,— писал он.— Меня слушали небрежно и с досадой...»

Так умер естественной смертью этот жалкий призрак. «Разгон» Учредительного собрания — это легенда, никакого «разгона», по сути дела, не было.

Я не стала бы так подробно рассказывать эту историю, если б не один документ, который очень важен для обрисовки личности Ленина.

Выходя из Таврического дворца, Ленин почувствовал враждебность, с которой относился караул к остававшимся во дворце членам Учредилки. И последнее, что сделал Ленин в этот пресловутый «День Веков», было предписание, отданное им, чтоб уберечь от расправы исходивших злобой контрреволюционных болтунов:

«Предписывается товарищам солдатам и матросам, несущим караульную службу в стенах Таврического дворца, не допускать никаких насилий по отношению к контрреволюционной части Учредительного собрания и, свободно выпуская всех из Таврического дворца, никого не впускать в него без особых приказов.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)».

«Не впускать» относилось прежде всего к тем озлобленным против Учредительного собрания анархистским элементам, которые — как это случилось на следующий день в больнице, где лежали члены ЦК кадетов Шингарев и Кокошкин, — могли ворваться в Таврический дворец и самочинно расправиться со всеми, кто там был.

8

На который-то день процесса правых эсеров Верховный трибунал, скрупулезно исследовавший различные стороны антисоветской деятельности партии правых эсеров, подошел к подготовленным ее Центральным Комитетом и совершенным Боевой организацией партии террористическим актам: убийству Володарского и Урицкого и покушениям на Ленина.

В момент совершения этих преступлений — летом восемнадцатого года — следствию удалось установить лишь немного: убийца Володарского, эсеровский боевик Сергеев, бежал, и его имя стало известно лишь много времени спустя; убийца Урицкого Канегиссер был схвачен, но своих соучастников не назвал, совершившая покушение на Ленина Каплан, согласно партийной директиве, заявила, что это покушение является ее личным, индивидуальным актом, а ЦК эсеров, как и во всех других случаях, отрекся от своих боевиков.

Только во время судебного следствия раскрылось, насколько огромна была сеть заговора, какими богатыми средствами располагали эсеровские убийцы, щедро снабжаемые иностранными резидентами, как разветвленны и многочисленны были их боевые организации.

Решение о подготовке убийства Ленина было принято в середине мая восемнадцатого года, когда обвиняемый Семенов обратился к члену ЦК Донскому с предложением приступить к организации террористических актов и получил на это санкцию ЦК партии. После этого Семенов приступил к организации боевого отряда, в который вошли Федоров-Козлов, Сергеев, Усов, Коноплева, Иванова, а позднее, когда отряд перебазировался в Москву, Каплан.

Чтобы точнее установить, когда и куда выезжает Ленин, Москва была разделена на четыре района. В каждом была создана своя система пятерок, связей, явочных квартир, складов оружия, имелись запасы похожего на размолотый кофе яда кураре, которым

убийцы отравляли надрезанные пули. Для каждого района была установлена его сфера влияния, в которой он вел слежку, наблюдение и подготовку убийства.

Ленина было решено убить в одну из пятниц, когда он, как это было тогда в обычае, будет выступать на массовых митингах в рабочих районах Москвы. На всех более или менее крупных митингах дежурил кто-нибудь из боевиков. Будущий убийца — он именовался «районный исполнитель» — должен был находиться неподалеку от митинга. Как только Ленин приедет на митинг, дежурный боевик должен был сообщить об этом «районному исполнителю», а тот — явиться на митинг и совершить террористический акт. Но потом план был несколько изменен — и некоторые исполнители поджидали прямо на митингах.

Только теперь Владимир Ильич узнал, что эсеровские боевики следили за ним долго и что в пятницу двадцать третьего августа его подстерегали пять исполнителей: убийца Володарского Сергеев, Козлов, Усов — все вооруженные револьверами с отравленными пулями. Сложность для организаторов покушения состояла в том, что они, зная, что Ленин будет выступать в очередную пятницу, не могли проведать заранее, на каком именно митинге он будет.

В ту пятницу двадцать третьего августа Усов поджидал Ленина в Алексеевском Народном доме. Пришел он туда задолго до начала митинга и уселся во втором ряду. Народу собралось тысячи полторы, исключительно рабочие. Разгорелся разговор об Учредительном собрании. Хотя боевикам было запрещено вступать в политические разговоры, но Усов не стерпел и стал защищать Учредилку, однако почти не нашел поддержки.

Вдруг по залу пронеслось:

— Ленин! Ленин приехал! — и Ленин, встреченный общей овацией, поднялся на трибуну.

По своей привычке Ленин, выступая, не оставался за кафедрой, а прошел на авансцену, говорил, энергично жестикулируя, поворачиваясь всем корпусом, подставляя сидевшему в нескольких шагах от него Усову то открытую грудь, то левый бок. Весь дрожа и покрывшись холодным потом, Усов сжимал в кармане рукоятку револьвера, твердя себе, что он должен, должен, должен убить Ленина, что он сейчас это сделает, но дрожал все сильнее и сильнее и выстрелить не смог.

Неделю спустя, в роковой день тридцатого августа, Ленин выступал в двух местах: на Хлебной бирже и на заводе, бывшем Михельсона. И тут и там его поджидали эсеровские боевики: на Хлебной бирже — Козлов, на заводе Михельсона — Новиков, районная исполнительница Каплан дежурила неподалеку от завода Михельсона, на Серпуховской площади.

— У меня был с собой в этот день испанский браунинг,— рассказывал суду Козлов.— Получил я его на явочной квартире в Сыромятниках. Пули были надрезаны и отравлены...

Перед тем как Козлову уходить на убийство, эсеровские руководители, наученные горьким опытом с Усовым, заставили его поклясться, что если он встретит Ленина, то непременно его убьет. Он дал клятву... и не сдержал, не смог.

С Хлебной биржи Ленин поехал в Замоскворечье, на завод Михельсона. Как только он туда приехал, дежуривший там старый эсеровский боевик Новиков побежал на Серпуховку, сказать об этом Каплан. Когда Ленин после выступления выходил из цеха, Новиков нарочно упал на деревянной лесенке, чтоб задержать толпу. К Ленину подошла какая-то женщина, стала задавать ему вопросы. Он ей ответил, протянул руку к дверце машины, подбежавшая сзади Каплан почти в упор трижды выстрелила ему в спину. К нему бросился шофер Гиль, вместе с двумя или тремя михельсоновскими рабочими втащил его в машину и помчал в Кремль. Когда они подъехали, Ленин не позволил нести его на руках, сказал: «Я дойду сам. Снимите пиджак, мне так легче будет идти». Опираясь на Гиля, стал подниматься по лестнице. Навстречу им со страшным криком кинулась Мария Ильинична, а он проговорил немеющими губами: «Успокойтесь, ничего особенного... Немного ранен в руку».

Доктор Вейсброд рассказывал:

«Мы вместе с доктором Обухом были первыми приглашены к товарищу Ленину после его ранения... Товарищ Ленин был на грани между жизнью и смертью; из раненного легкого кровь заполняла плевру, пульса почти не было. У нас, врачей, есть большой опыт с такими

большими, и мы хорошо знаем, что в такие моменты мы можем ждать от них выражения только двух желаний...: «Оставьте меня в покое», или «Спасите меня». Между тем товарищ Ленин именно в таком состоянии попросил выйти из комнаты всех кроме меня и, оставшись со мной наедине, спросил: «Скоро ли конец? Если скоро, то скажите мне прямо, чтобы кое-какие делишки не оставить».

Когда читаешь все это, понимаешь, почему Надежда Константиновна, отвечая на вопрос, что она считает основным в характере Ленина, сказала:

— Смел и отважен...

9

Когда я задумываюсь об отношениях Ленина с людьми из народа, мне всегда вспоминается Надежда Николаевна Воронцова и ее рассказ о том, как она работала у Ленина в Смольном.

Сама я познакомилась с Надеждой Николаевной в восемнадцатом году, когда она была поварихой в кремлевской столовой, в которой варила знаменитую «кашу с ничем», а я работала секретарем Якова Михайловича Свердлова. Завелся у нас тогда такой обычай: по окончании рабочего дня, если время было свободное, мы, девчонки, работавшие в Кремле, забирались к ней на кухню, и она нас угощала кипятком (иногда даже с какой-нибудь заваркой), а больше — своими рассказами.

Рассказчица она была удивительная, историй знала массу, но самая ее любимая была о знакомстве ее с Лениным. После смерти Владимира Ильича кто-то из нас записал этот рассказ Надежды Николаевны, и, если мне не изменяет память, в этой записи он был опубликован в одном из журналов.

Состоял ее рассказ из двух частей: первая — нечто вроде введения, которое она импровизировала каждый раз наново, и вторая — главная, основная, ее Надежда Николаевна пересказывала без каких бы то ни было вариаций, слово в слово.

В первой части она обычно вспоминала свое детство, прошедшее в нишей деревеньке, кажется, Твер-

ской губернии: «Семья наша была семь душ одних детей, а избенка такая, что собака ляжет — хвост протянуть некуда». Вспоминала молодость, как была она в девушках. Обычно в этой части своего рассказа негромко пела деревенские девичьи песни: «У меня, у девушки, в думушках весна прошла; всю весну продумала; все лето проплакала: думаю-подумаю, кого полюбить бы мне?...» Как приехал на побывку из Питера, где он работал «в заводе», ее будущий муж — рассказывая об этой стадии их отношений, она называла его: «залетка». Как они друг друга полюбили — теперь уже она называла его «кровиночкой», — поженились, она поехала с ним в Питер. Как он ее любил да миловал, да пел песню: «За что ж мне жену бить, за что сердце крушить? Жена — дом, жена — стон, жена — радость моя, жена — радость моя и веселье мое, жена — житки мои и прожитки мои...»

А потом произошла революция, и муж — теперь она именовала его «он», «сам», — несмотря на слезы и мольбы Надежды Николаевны, ушел в Красную гвардию, брал Зимний, воевал под Красным селом, а потом находился в охране Ленина в Смольном. И когда узнал, что надо найти человека, который готовил бы Ленину еду и убирал его комнату, предложил взять на эту работу свою жену.

Вот тут и начиналась главная часть рассказа. Переход к ней Надежда Николаевна отмечала тем, что поправляла волосы и головной платок, обдергивала кофточку и усаживалась поплотнее на стуле.

— А ведь мой-то знал, что большевиков я считала за антихристов, — говорила она. — Боялась я их, как чертей, считала их за духов неведомых, а главным из них Ленина. Он даже в каком-то брондированном поезде примчался, а может, его бог с неба столкнул.

Вот сам приехал за мной, чтоб в Смольный взять. Жили мы на Васильевском острове. Сказал он это мне, а я стала его ругать. Говорю: ты душу продал антихристам, из-за тебя нам так тяжело и живется, а теперь и меня с дитем продать хочешь.

А он мне говорит:

— Дура ты. Ты посмотри, какой он, этот антихрист. Это он про Владимира Ильича.

Уговорил меня, уломал. Известно: муж! И поехали мы в Смольный. При мне была моя девочка. Больная:

туберкулез у нее был в кости, ножка в гипсе и девочка на костылях.

Сперва у меня знакомство состоялось с товарищем Горбуновым. Он объяснил мне, какая будет моя служба. А потом Владимир Ильич пришел. Обращается ко мне: «Вы жена товарища Воронцова?» Я ответила ему, не глядя в глаза. А он уже с девочкой: «Как зовут тебя? Что с твоей ножкой?»

Стала я видеться с Владимиром Ильичем по многу раз на день. Ни разу не пройдет так, чтоб не сказать ласковое ребенку, и то шлепнет да конфетку достанет, то из кармана вынет лепешку и скажет:

— Для тебя берег. Ешь, Таня, теперь хоть такую, а будет время, над таким гостинцем смеяться будут.

Мое сердце к нему вроде бы помягче стало, но все еще я думала, а не антихрист ли он?

И тут вышел тот самый случай.

Получила я хлеб на пятнадцать человек, по восьмой фунта на каждого. А барышня по ошибке дала мне не на пятнадцать человек, а на двадцать пять человек. Я это заметила и подумала: ладно, нам хлеба нужно побольше. Вон Владимир Ильич работает день и ночь, а есть почти нечего.

Вот подала я ему чай и хлеб, поболее против обыкновенного, а сама медлю, не ухожу. Думаю своей глупой головой, что он меня похвалит. Он быстро приметил хлеб и говорит:

— Товарищ Воронцова, почему вы подали много хлеба (а было-то его, хлеба, на пол-ладони уложится)? Должно быть все так же: по восьмушке. Где вы взяли?

И так поглядел на меня, что податься некуда. Я и сказала, что барышня ошиблась.

— Да вы не беспокойтесь,— говорю я.— У них много хлеба, все полки заложены. Кушайте себе,— говорю.

А он на это:

— Вы думаете, товарищ Воронцова, что у них только мы да те, о ком вы заботитесь?

И отрезал поданный ему лишек хлеба.

— Снесите,— говорит,— и больше так не делайте.

Как я от него вышла, не помню. Только заключила я теперь, что он святой. И как, бывало, пойду на улицу, так заверну в часовню и поставлю свечку.

— Господи, прости мне, что так думала я о святом,— скажу в часовне.

Когда белых разбили под Петроградом, Владимир Ильич по обыкновению заходит ко мне на кухню, чтоб приласкать Таню. Был он веселый, дал Тане немисливую лепешку и говорит:

— Теперь, детка, ты скоро поправишься. Мы тебя в санаторию поместим.

Я подумала, что вот хорошо-то! Набралась я духу и говорю:

— Вы меня извините, Владимир Ильич, не сердитесь: я о вас вот как думала...

И рассказала, как раньше посчитала его антихристом, а теперь почитаю его за святого и свечи за него ставлю.

...В этом месте Надежда Николаевна иногда прерывала свой рассказ и сердито говорила:

— Были бы там вы, так начали б своей партийностью на меня: «Гав! Гав!» Ну и я бы тоже не стерпела и вам бы свое «Гав-гав» ответила. Вот так бы и разговкались мы с вами...

И снова, возвращаясь к рассказу, продолжала:

— Тут Владимир Ильич горько улыбнулся, положил мне руку на плечо...

(Ах, это «горько»! Надо же уметь найти такое удивительное слово!)

— Вы в этом не виноваты. Мало ли вам чего вбивали в голову? Не вы, товарищ Воронцова, виноваты, на вас я не сержусь. Только на те деньги, что вы тратите на свечи, купите лучше что-нибудь вашей девочке. Ее надо получше кормить.

И так добро, внушительно на меня посмотрел. И рассказал мне, как свечами этими попы обманывают несозательных и с того живут...

Вот подлинный образец того, о чем Ленин говорил: «Понимать массу. Уметь подойти. Завоевать ее *АБСОЛЮТНОЕ* доверие» — и в то же время, как продолжал он дальше свою мысль, не потакать ей и не льстить массе, а поднимать ее...

Именно поднимать! Непременно поднимать! Всегда и во всем поднимать! Так, как он поднимал и поднял эту темную женщину, то проклинавшую его как антихриста, то ставившую за него свечи как за святого.

И здесь, повинуваясь движению глубоких ассоциаций, перед моим умственным взором возникают летняя ночь, гроза, Ленин...

Это было десятого июля восемнадцатого года. Только что закончился Пятый съезд Советов. Тот самый съезд, во время которого левые эсеры, задумав совершить государственный переворот и втянуть Советскую Россию в войну с Германией, убили германского посла графа Мирбаха и подняли мятеж, захватив ряд кварталов в центре Москвы и даже завладев на несколько часов Центральным почтамтом и телеграфом.

Мятеж был быстро подавлен. Меньше чем за сутки все позиции, захваченные мятежниками, оказались в наших руках.

Сейчас многим это покажется простым и само собой разумеющимся. Но тогда все было совсем не просто. Советская Россия была зажата в непрерывно сжимающемся кольце врагов. На севере и на юге, на западе и на востоке скапливались силы империалистических хищников, действовавших вкупе с русскими белогвардейцами. И в такой момент в Москве вспыхнул мятеж!

Понадобилось все самообладание, все умение поднимать массы и руководить их борьбой, что всегда составляло силу нашей партии, чтобы так быстро справиться с мятежниками. Делегаты съезда, действуя по плану, намеченному Лениным, покинули зал заседаний и отправились на фабрики, заводы, в казармы и совместно с московскими рабочими и красноармейцами восстановили революционный порядок.

Однако положение оставалось напряженным до предела. Тело Мирбаха было отправлено в Германию. Берлин пока молчал, и было неизвестно, чего потребует кайзеровское правительство. В Мурманске и Владивостоке продолжали высаживаться английские, американские, французские и японские десанты. Вдоль транссибирской магистрали разгоралось восстание белочехов.

Но съезд Советов с великолепной уверенностью в грядущем возобновил свою работу, чтобы принять первую в мире Конституцию социалистического государства. Ничто в зале не напоминало об опасности, только что пережитой всеми присутствующими. Спокойно,

деловито, пункт за пунктом зачитывался текст будущей Конституции. Порой вносились поправки и уточнения. Происходил краткий обмен мнениями — и работа шла дальше.

Но вот зачитан последний пункт. Вот проект Конституции поставлен на голосование и единогласно принят съездом. Вот Свердлов приступил к заключительной речи. Вот под аплодисменты всего съезда он провозгласил лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И тут...

Впрочем, предоставим слово стенограмме.

«*Свердлов*: ...Мы уверены, что наш лозунг... станет открытым, ярким лозунгом всего мирового пролетариата. Все зависит от нас, от той работы, которую мы проделываем. Каждый из вас должен употребить максимум усилий... чтобы Россия, не бывшая до настоящего времени социалистической, к следующему съезду была социалистической. Да здравствует мировая социалистическая революция!

Голос с места: Товарищи, вся русская революция доказала, что, несомненно, единственным гениальным человеком у нас является т. Ленин. Вся русская революция связана с именем т. Ленина, с его прозорливостью и умом. Да здравствует т. Ленин! (В зале поднимается гром аплодисментов, переходящих в шумную овацию.)»

Даже сухая стенографическая запись дает почувствовать необыкновенность этой минуты. Но стенограмма — лишь жалкий слепок с того, что было на деле. В ней нет ни зала Большого театра, слабо освещенного горящими вполнакала лампочками; ни лиц тысяч людей, заполнивших партер, ложи, ярусы, проходы, места в оркестре; ни дорогого всем Владимира Ильича, примостившегося с бумагами на уголке стола и спрятавшегося поглубже во время овации; ни легкой как дыхание паузы, наступившей после речи Свердлова. В ней нет звука этого удивительного голоса — сильного, теплого, прозвучавшего из глубины зала поистине подобно гласу народа и поднявшего всех на ноги, ни всеобъемлющего восторга и тысячекратных возгласов: «Да здравствует товарищ Ленин!», в которых слились и тревога, и надежда, и торжественная клятва выстоять, выдержать, победить, чего бы это ни стоило!

Как долго продолжалась эта овация? Не знаю, не помню.

Но вот делегаты начали выходить — и неожиданно послышался чей-то смех и веселые восклицания.

На улице бушевала гроза, сверкали молнии, неслись летучие облака, раскаты грома перекатывались от края до края небосвода. Хоронясь от шумного летнего дождя, все столпились под колоннадой Большого театра.

Вместе со всеми стоял и Владимир Ильич. Он разговаривал, смеялся, оживленно жестикулировал. Вспышки молний выхватывали из лилового полумрака то его могучую голову, то крепкие, широкие плечи, то руку, протянутую в энергичном броске.

Хороши бывают июльские грозы!

11

Сейчас тоже июль. Я прохожу по аллеям парка в Горках, который так любил Ленин. Я думаю о Ленине.

Здесь все полно воспоминаниями о нем. Под этим могучим дубом он подолгу сидел, читал, думал. Такие же рыжие белки прыгали в ветвях и трещали, переговариваясь и переругиваясь. Здесь он спускался к Пахре. Быть может, рука его касалась этой ивы, низко склонившей к реке ветви с узкой серебряной листвой. Быть может, и тогда от воды шел слабый холодный запах глины, смешанный со сладким ароматом цветущей таволги, и около берега, там, где солнце просвечивает до дна, играли мелкие рыбки, а порой, громко плеснув хвостом, по глубокой воде проплывала большая рыба. Отсюда, с этого высокого откоса вглядывался он в золото созревающих полей.

Словно не вчера даже, а «сегодня, здесь, сейчас» было это все. Но как давно, как бесконечно давно ушла от нас эта горячая минувшая жизнь. Голубые ели в Горках, что растут неподалеку от беседки над обрывом, были тогда небольшими деревьями, едва по пояс одинокой старой сосне; сейчас они поднялись почти вровень с нею. Да и они ль одни?

В парке тихо, тепло. Густые липы накрыли землю душистой зеленоватой тенью. Над Горками поют птицы. Тысячи птиц поют над Горками.

Уже миновал июль, наступил август. Овес поспел, крестьяне окрестных деревень приступили к его уборке и к севу озимой ржи. Дни стояли жаркие, знойные, но по ночам бывало прохладно и выпадала обильная роса, а над прудами по вечерам поднимался густой туман.

Владимир Ильич к этому времени окреп, чувствовал себя хорошо. Часто уходил на дальние прогулки — то вдоль капризной, петляющей Пахры к любимой им заводи, где у самой воды в зарослях тростника и осоки цвели большие желтые ирисы; то в сосновый бор, на можжевелевую поляну.

И все больше работал.

Тут врачи были бессильны. Все попытки заставить его отказаться от работы разбивались об упорное сопротивление. Приходилось мириться с компромиссом: работать не больше, чем столько-то часов, гулять и отдыхать не меньше, чем столько-то.

Но разве в количестве часов было дело? За два месяца еще не полностью оправившийся от болезни Владимир Ильич успел сделать столько, что один только перечень вопросов, которыми он занимался, оказал бы честь крепкому, здоровому человеку: тут и проблемы финансовой политики, и внешняя торговля, и работа советского аппарата, и положение дел в Наркомате рабоче-крестьянской инспекции, и отношение к буржуазным специалистам, и вопрос о концессионном договоре с крупным английским промышленником Уркартом, и проведение однодневной переписи советских служащих в Москве, и кооперативная торговля в деревне, и поднятие добычи каменного угля в Донбассе, и организация работы Госплана, и образование Союза Советских Социалистических Республик, и проблемы строительства новой культуры, и даже вопрос о течениях внутри сектантского движения.

Все это наряду с чтением множества книг — среди них два тома Маркса и Энгельса и «Феноменология духа» и «Наука логики» Гегеля, и около полутора ста названий русских, немецких, французских, английских и итальянских газет и журналов.

К Владимиру Ильичу приезжали товарищи по работе — иногда для чисто деловых разговоров, иногда

чтоб провести с ним часок-другой, посидеть, погулять, поговорить. В датах его жизни и деятельности, список которых приложен к последнему изданию его сочинений, последовательно названы следующие его посетители за время с одиннадцатого июля по двадцать девятое сентября: И. В. Сталин, Л. Б. Каменев, Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Д. Троцкий, Г. И. Петровский, Н. Н. Крестинский, Г. К. Орджоникидзе, С. А. Агамали-Оглы, А. С. Енукидзе, М. К. Владимиров, Л. Б. Красин, Н. Л. Мещеряков, Е. А. Преображенский, А. И. Рыков, Х. Г. Раковский, И. И. Скворцов-Степанов, А. И. Сви-дерский, Д. З. Мануильский, Ф. Э. Дзержинский, М. И. Калинин, Л. М. Хинчук, М. П. Томский, Я. Э. Рудзук, Г. Л. Пятаков, Г. Я. Сокольников, П. Г. Мдивани, М. С. Окуджава, Л. Е. Думбадзе, К. М. Цинцадзе, А. Ф. Мясников,— даже простое перечисление этих имен показывает, сколь разнообразен и многогранен был круг вопросов, которые должны были быть затронуты даже не в прямо деловых, а как бы в частных беседах. Но большинство этих бесед были именно деловыми.

Однако всего этого Ленину мало: он жаждет вернуться в Москву и с головой уйти в работу. Побывавшему у него пятого сентября М. И. Калинину он говорит, что надеется вернуться к работе в октябре, хотя опасается, как бы врачи не запретили. Вопрос должен решить консилиум, назначенный через неделю.

Консилиум состоялся одиннадцатого сентября. В нем участвовали профессора О. Ферстер, В. В. Крамер и Ф. А. Гетье. После тщательного осмотра больного и долгого обсуждения консилиум разрешил Ленину приступить с первого октября к работе.

Когда Владимира Ильича не стало, некоторые товарищи выражали сомнения в правильности этого решения консилиума и спрашивали профессора Ферстера, не привело ли возвращение Владимира Ильича к работе к ускорению хода его болезни.

«Нет,— отвечал им профессор Ферстер.— Болезнь Ленина была обусловлена в первую очередь внутренними причинами, она развивалась по внутренним законам независимо от внешних факторов, с беспощадной закономерностью... Если бы Ленина в октябре 1922 года и дальше оставляли в бездеятельности, он лишился бы последней большой радости, которую он получал в своей жизни.

Дальнейшим полным устранением от всякой деятельности нельзя было бы задержать ход его болезни. Работа для Владимира Ильича была жизнью, бездеятельность означала смерть».

Это мудрое мнение разделяла и Надежда Константиновна, которая считала, что врачи действовали неправильно, когда запрещали Владимиру Ильичу читать, работать, даже думать. И он сам часто говорил ей: «Ведь они же (и я сам) не могут запретить мне думать».

И все же возвращение к работе, вероятно, ускорило развитие болезни и смерть Владимира Ильича. Но виною тому была не сама работа, а, как мы увидим дальше, совсем иные обстоятельства.

Легко представить себе, с каким нетерпением ждал Ленин наступления заветной даты — первого октября, какую затаенную радость испытывал он, видя приметы приближающейся осени: первую позолоту берез; первый багрянец на вершинах кленов; ярко-красные пятна горящих на солнце осин и бересклета; лилово-бронзовые тона, подернувшие вяза; неприметный отлет трясогузок, ласточек, малиновок, пеночек; гомон суетно сбивающихся в стаи зябликов и чижей.

И вот уже лес и парк оделись в полное осеннее убранство, даже дубы стали червонно-золотыми. Над сжатыми полями закружились стаи галок и ворон, опадающая листва все обильнее покрывала землю и засохшую траву, утренники стали прохладными, а потом начались небольшие приморозки, по утрам трава, мостики и крыши покрывались легким инеем. А в солнечные дни было видно, как в высоком небе летят на юг стаи лебедей.

Осень, осень... И все ближе и ближе первое октября!

Живший в то время в Горках доктор А. М. Кожевников отмечал в своем дневнике, что во второй половине сентября Владимир Ильич чувствовал себя хорошо, бывал очень весел, много смеялся, шутил.

В последние дни перед возвращением в Москву он посылал работникам секретариата Совнаркома записку за запиской, просил их все подготовить так, чтоб он мог сразу полностью включиться в работу.

В воскресенье первого октября написал:

«Я завтра приеду, подготовьте все, протоколы, книги...»

Второго октября Владимир Ильич вернулся в Москву. Если б его спросили, какие чувства он испытывает, наверно, он мог бы ответить словами так любимого им Бетховена: «Я вновь зазеленел!»



«WEITER...
WEITER...»

1

На другой же день после возвращения Владимира Ильича в Москву состоялось заседание Совнаркома под его председательством.

Как рассказывает Л. А. Фотиева, «заседание было многолюдным, присутствовало 54 человека. Пришли не только члены Совнаркома, но все, кто имел хотя бы отдаленное право присутствовать на заседаниях СНК. Каждому хотелось поскорее и поближе увидеть дорогого Ильича.

Товарищи предполагали сделать это заседание особенно торжественным. Пригласили фотографа, заготовили приветственные речи. Но все вышло иначе. Владимир Ильич незаметно вошел в зал из своего кабинета, сел на председательское место, открыл заседание и приступил к деловому обсуждению повестки, не дав никому произнести заготовленных речей. Он согласился только сфотографироваться вместе со всеми и то лишь по окончании работы».

В перерыве (после первой болезни Владимира Ильича заседания Совнаркома проводились с обязательным перерывом) Владимир Ильич вышел в канцелярию и увидел там Ольгу Равич, которую знал еще по Женеве, подошел к ней, стал расспрашивать, как она живет, работает, еще что-то. От волнения она не могла говорить, да и плохо понимала, о чем он ее спрашивает, только радовалась, видя его здоровым и бодрым. Потом, справившись с собой, сказала:

— Владимир Ильич! Вы здоровы. Как это хорошо!

А он, наклонившись к ней, тихо, почти шепотом, заговорщически произнес:

— Назло врагам...

Четвертого октября 1922 года в «Правде» появилась небольшая заметка, напечатанная где-то посредине четвертой страницы:

«Тов. Ленин приступил к работе.

Вчерашнее заседание Большого Совнаркома происходило под непосредственным председательством Владимира Ильича Ленина.

В. И. Ленин фактически вернулся к исполнению обязанностей Председателя Совнаркома».

По Москве весть о возвращении Владимира Ильича разнослась мгновенно. Какой восторг она вызвала! С тех пор как он заболел, вся страна прислушивалась к тому, что происходит в Горках. На собраниях еще задолго до начала стол президиума бывал завален записками, в которых на разные лады задавался один и тот же вопрос: «Как здоровье товарища Ленина? Скоро ли Ильич вернется к работе?» Почта ежедневно в Совнарком приносила пачки писем, авторы которых посылали Владимиру Ильичу «пролетарское слово привет» и желали поскорее выздороветь и вернуться «на пост рулевого Советской России и грядущей мировой рабочей революции».

И вот он вернулся!

Никаких манифестаций по этому поводу не устраивали, но как-то само собой получилось, что к вечеру толпы народа заполнили Красную площадь. Никто не произносил речей, просто было всем очень радостно.

В тот же день четвертого октября в «Известиях» была напечатана снятая после заседания Совнаркома фотография Владимира Ильича: он сидит за письменным столом, держит в руках газету, слегка наклонив голову, глядит перед собой.

Даже сквозь грубую сетку газетного клише проступает затаившаяся в его взоре печаль. Чувствовал ли он, что уход его близок?

Как раз в эти дни его посетил приехавший из Баку А. Н. Серебровский. Он шел к нему уверенный, что Владимир Ильич совершенно здоров, но, едва взглянув в его лицо, понял правду.

Напрягая все силы, чтобы не выдать себя, А. Н. Серебровский старался быть поживее, рассказывал Владимиру Ильичу что-то вроде как веселое, но слезы были у него на глазах.

Это была последняя встреча А. Н. Серебровского с

Владимиром Ильичем. Когда он уходил, Владимир Ильич, прощаясь, поцеловал его в лоб. «Я был тогда крепким, здоровым парнем, но чуть не упал», — рассказывал потом Серебровский.

Кое-как, держась за стенку, добрался он до двери. Свои бумаги забыл в комнате. Их вынесла Мария Ильинична и толкнула его легонько в спину, чтобы он не рыдал тут, под дверью, а шел бы домой...

Я беру в руки тома Собрания сочинений Ленина, относящиеся к последним годам и в особенности к последним месяцам его жизни и деятельности и вышедшие в таком виде и в таком объеме лишь после Двадцатого съезда партии.

Ни об одном периоде жизни Ленина мы не знали раньше так мало и не узнали в последние годы так много, как об этом. Обнародованы статьи и письма, хранившиеся раньше под семью замками. Восстановлены целые фразы, а то и абзацы и даже страницы, опущенные в прежних изданиях.

Помимо основного ленинского текста иным стал справочный аппарат: примечания, указатели, даты жизни и деятельности В. И. Ленина. Гораздо шире показан круг людей, с которыми общался Ленин. Названы не упоминавшиеся ранее имена. Приведены неизвестные раньше документы. Впервые опубликован ценнейший исторический источник — «Дневник дежурных секретарей В. И. Ленина», который велся с двадцать первого ноября 1922 года по шестое марта 1923 года. Расшифрована стенограмма последней записи этого дневника, сделанная дежурившей шестого марта Марией Акимовной Володичевой и остававшаяся нерасшифрованной вплоть до 1956 года.

Вся эта сложная и ответственная работа, выполненная после Двадцатого съезда партии Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, дает нам возможность хотя и не полностью, с большими пропусками, но все же с относительно большой степенью точности восстановить картину жизни Владимира Ильича в этот трагический период, когда каждый день был полон предчувствием близкой разлуки.

О многом, конечно, мы можем только догадываться. Многое читатель должен понять и продумать сам. Справедливо говорил Бертольт Брехт: единственная форма, в которой мы можем выразить свое уважение к читателю, — вера в его ум и душевное благородство.

Пять месяцев, отделяющих возвращение Владимира Ильича в Москву от приступа болезни, окончательно оторвавшего его от работы, делятся на два равных периода.

Первый — со второго октября до шестнадцатого декабря — заполнен напряженнейшей работой, потоком дел. По подсчету, сделанному секретарями, за это так быстро пролетевшее время Владимир Ильич написал двести двадцать четыре деловых письма и записки, принял сто семьдесят одного человека, председательствовал на тридцати двух заседаниях и совещаниях — Совнаркома, Совета Труда и Оборона, Политбюро ЦК, различных комиссий. К этому надо добавить три больших выступления — на сессии ВЦИК, на Четвертом конгрессе Коминтерна и на пленуме Московского Совета.

Второй период — от шестнадцатого декабря по шестое марта. Владимир Ильич был тяжело болен, лежал в постели, но по его категорическому требованию к нему приходили секретари, и он диктовал им свои последние статьи и письма — свое политическое завещание.

Начнем с первого периода. Не будем ставить себе целью охватить его целиком: как он ни короток — всего семьдесят шесть дней, — его описания хватило бы на целую книгу.

Снова Ленин погрузился в поток непрерывно сменяющих друг друга дел. Снова в течение одного какого-нибудь дня он занимался вопросом об объединении Советских республик; и отказом от предоставления концессии английскому финансисту и промышленнику Лесли Уркарту; и выяснением целесообразности выделения из числа действующих каменноугольных шахт Донбасса самых крупных и лучших, чтобы полностью обеспечить в них шахтеров, ассигновав на это часть золотого запаса Республики; и положением на бакинских нефтяных промыслах — и при этом успевал написать в этот же день приветственное письмо редакции комсомольской газеты Бауманского района «Путь

молодежи» и проект письма «Обществу друзей Советской России» в Соединенных Штатах Америки, в котором выражал от имени нашей Республики глубокую благодарность американским друзьям, организовавшим тракторный отряд, который работал в Пермской губернии, в совхозе «Тойкино».

Но были некоторые вопросы, которым в это время он уделял особое внимание, и первый из них — положение советских финансов и прежде всего восстановление рубля.

Тут можно было бы многое сказать об истории бумажных денег во время Великой Французской революции и о бумажных деньгах в нашей революции, что-то сопоставить, что-то противопоставить. Можно было бы вспомнить министра финансов Директории Рамеля, который писал в 1797 году в докладе Совету Старейшин: «Ассигнации сделали революцию; они привели к уничтожению сословий и привилегий; они опрокинули трон и создали Республику; они вооружили и снарядили грозные колонны, пронесшие трехцветное знамя за Альпы и Пиренеи; им мы обязаны свободой», — и, приведя эту эффектную цитату, высказать что-нибудь столь же возвышенное, но научно более точное по поводу бумажных денег русской революции. Но не будем этим заниматься, ибо в момент, о котором мы сейчас говорим, бумажные деньги из грозного оружия, честно послужившего нашей революции, превратились в свою противоположность, став источником серьезнейшей опасности для ее дела.

Попробуйте прочесть такую цифру:

1.994.464.454.000.000

Не можете? Я тоже не могу. Впрочем, попытаюсь: один квадратильон девяносто девяносто четыре триллиона четыреста шестьдесят четыре миллиарда четыреста пятьдесят четыре миллиона.

Эта цифра выражает количество бумажных рублей, находившихся в денежном обращении на конец 1922 года¹. Какое реальное ценностное содержание за ней кроется, я не знаю, думаю, что не знает никто. Не знаю я также, о каких рублях говорит эта цифра: довоенных? в дензнаках двадцать первого года? двадцать второго года? Чтобы перевести одни в другие, надо

¹ По подсчетам автора.

либо убавлять, либо прибавлять по три или пять нулей справа. Суть дела от этого не изменится.

Денежная эмиссия и падение курса бумажного рубля сначала шли в арифметической прогрессии, затем в геометрической, а затем перестали подчиняться каким бы то ни было математическим законам.

При помощи целой системы мер иногда удавалось на время добиться устойчивости бумажного рубля, но потом он снова начинал падать. Было проведено несколько деноминаций — один рубль образца двадцать второго года приравнялся к десяти тысячам рублей старых образцов, а рубль двадцать третьего года — к миллиону прежних рублей. Делая подсчеты в связи с проектом очередной деноминации, Ленин исходил из количества бумаги, которое потребуется для выпуска новых дензнаков и предлагал «дать плохую бумагу, чтобы выпускаемые деньги скорее самоликвидировались».

Так бумажные деньги из денег все больше превращались в бумагу. Правильно хозяйствовать при такой валюте было невозможно. Все расчеты, все сметы летели под откос, заработная плата обесценивалась раньше, чем была получена на руки. Зато для жуликов, мошенников, аферистов создавались неограниченные возможности казнокрадства, принимавшего самые разнообразные формы — начиная с примитивных сделок, в которых какой-нибудь ловкач заключал с советскими органами договор в номинальных советских рублях, а сколько-то времени спустя вносил эти номинальные рубли и благодаря падению денег при этом, как выражались тогда, «брал в свою пользу хвостик» — хвостик миллионов и миллиардов. Но бывали мошенничества сложнее, в которых счет велся уже на триллионы, — вроде тех, что раскрылись на судебном процессе Орехово-Зуевского текстильного треста или в деле «Транс-Унион».

Среди многочисленных дел, в которых взятка, подкуп, жульничество и нэпманское хищничество переплетались в единый грязный клубок, было одно, наделавшее тогда много шума, — не так масштабами, как необычностью: дело «королей тряпья» Дразниных.

«Короли тряпья»! Неужели этот холеный, бледный двадцатитрехлетний лисенок с длиннейшим ногтем на

мизинце, сидящий на скамье подсудимых и до удивления смахивающий на современных нам подонков, разве только пиджак другого кроя, неужели он может иметь какое-то отношение к тряпью?

Но он ведь не тряпичник, а король — точнее, наследный принц. Король — его отец, старый Дразнин, основатель фирмы с первым на России оборотом в тряпичном деле, в течение сорока лет поставлявший тряпье «Экспедиции заготовления государственных бумаг».

«Король» еле грамотен, подстрижен под скобку, одет в бобры. Узнав о предстоящем аресте, скрылся. Но, охваченный безудержной тревогой за сына, боясь, что его побег отягчит вину сына, сам явился на суд.

Он сидит на скамье подсудимых, вцепившись в сына пламенеюще-восторженным взглядом, почти не сводя с него глаз, на его лице отражается каждое удачное или гибельное для его сына слово. Свои показания старик нарочито дает каким-то хрипящим шепотом, так что его не слышно на расстоянии полуаршина, и суд в конце концов вынужден отказаться от допроса.

Суть дела состоит в том, что младший Дразнин пробовал дать взятку в сколько-то миллионов или миллиардов сотруднику Центросоюза за то, чтоб тот заявил, что не может взять на себя поставку тряпья для Гознака, — того тряпья, из которого делалась бумага для выпуска бумажных денег.

Сын — по паспорту Михаил, но, как положено подонку, именующий себя Морицем, — сначала все отрицает, затем начинает валить вину на отца. Отец подтверждает хрипит, но допрос свидетелей полностью изобличает младшего Дразнина. Суд удаляется на совещание, затем оглашает приговор: высшая мера наказания — расстрел. И тут король бросается к своему детищу. Куда девался его хрипящий шепот? Он орет, рычит, шлет проклятья, предает большевиков анафеме...

В декабре двадцать первого года было выпущено 7.694.186.000.000 рублей новых денег, в декабре двадцать второго года уже 515.245.663.000.000 рублей (по счету двадцать первого года). За один год денежная масса увеличилась почти в семьдесят раз¹.

¹ По подсчетам автора.

Ленин давно уже бил тревогу, считая положение с бумажным рублем самым больным, самым слабым, самым уязвимым местом в хозяйственной системе Республики. С присущей ему резкостью формулировок он настойчиво писал тогдашнему Наркому финансов Г. Я. Сокольникову, что ежели он не сумеет восстановить рубль, а будет вместо этого заниматься перестройками, реорганизациями и теоретической линией, к чему у него есть слабость, то мы «крахнем», «околеем», «погибнем из-за краха денежной системы, разбросав свое внимание на неосуществимые сейчас задачи».

Предостерегая Сокольникова от всяческих прожектов, в которых он, Ленин, видел самообман, пустую игру и пустое самоутешение, он требовал от Сокольникова «практики, практики и практики» — торговлю поднять, налоги *увеличить* и *собрать* и прежде всего **восстановить рубль**.

Но как было это сделать?

Только одним путем: создав новую валюту, не подверженную колебаниям курса и являющуюся твердой валютой по отношению к бумажным деньгам.

Так был создан червонец, сообщение о выпуске которого было одним из первых правительственных постановлений, подписанных Лениным по возвращении к работе.

Интересно вспомнить, что падение советского бумажного рубля совпало по времени с еще более безудержным падением другой бумажной валюты — германской марки. Но как по-разному происходили эти два небывалых события в финансовой истории!

В то время, как из краха бумажных денег в Советской России родилась червонная валюта, обеспечившая возможность восстановления и развития народного хозяйства, в Германии падение бумажных денег привело к тому, что тогда же было прозвано «Ausverkauf» — распродажей страны.

Тучей ринулось туда черное воронье, слетевшееся из Лондона, Парижа, Стокгольма, Рима и прежде и больше всего из-за океана, из Нью-Йорка, Чикаго, Бостона. Бряцая долларами, фунтами стерлингов, франками и кронами, оно шныряло по магазинам, музеям, частным кварталам и вывозило что только возможно, скупая за бесценок все — от платья и обуви до произве-

дений искусства, создававшихся и накапливавшихся веками.

Такова была одна из многих расплат, на которые обрекло германский народ поражение его революции, проданной, преданной и погубленной правыми социал-демократами.

3

Сообщение о выпуске червонца вызвало изрядную панику среди нэповской буржуазии, откликом на которую было стихотворение «Наркомнеудела» Демьяна Бедного, опубликованное неделю спустя в «Правде». Приводим его, опустив некоторые длинноты.

О делах наркомфинных, об агнцах нэповинных,
о большевиках свирепых и слухах нелепых
...Не каплет, граждане нэпманы, над вами,
Нэптесь в полной уверенности,
Что НЭП рухнет не от большевистской «злонамеренности»,
Не оттого, что арестована некая самогонная баба,
А от революционных событий большого масштаба.
— А до тех пор?

— До тех пор:

Одно дело — вас стричь, другое — снимать шкуру.

Будете напирать, получите отпор;

Нэптесь, но с оглядкой на рабочую диктатуру...

— Стало быть, последние антинэповские слухи?..

— Выдуманный слон из несуществующей мухи.

— Скачки вашего рубля вам не внушают тревоги?

— Скачет, значит имеет ноги.

Уповаю на широкий итог,

Что не ломает ног.

Авось, Сокольников, чьи мысли полны

неизреченной трезвости,

Поубавит ему резвости:

Дескать, ты все же какой ни есть рубль, а не блоха.

Впрочем, все дело решат рабочий молоток

и мужицкая соха...

Здесь все интересно: и подтекст, показывающий, как широкие партийные и народные круги понимали ленинский лозунг о нэпе: «Всерьез и надолго»; и точно сформулированное отношение к нэповской буржуазии: «Одно дело вас стричь, другое — снимать шкуру»; и образы, символизирующие рабочий класс и крестьянство того времени — топор и соха; и выглядывающее из-за каждой строчки хитрое, прощупывающее рыльце нэпмана.

А что такое был нэпман?

Если верить зарисовкам художников того времени, нечто обязательно брюхатое, мордастое, свиноподобное, утопающее в складках собственного сала.

В подобном изображении нэпмана — нэпача тож, — безусловно, имелся резон: никогда и ни одна группа буржуазии не насчитывала в своих рядах такого высокого процента откормленных туш. Явление это было не столь физиологическим, сколь социальным, и вызывалось склонностью к заглатыванию больших количеств пищи непрожеванными кусками.

Для того чтоб этак разжиреть, нэпачу (если он был не из старых купцов и не сохранил старое богатство, просидев всю революцию на своих сундуках) нужно было время. Начинал он обычно с того, что «клевал по зернышку»: то выпишет счет на перевозку несуществующего товара на несуществующий склад и распишется за несуществующего извозчика. То, будучи служащим в государственной хозяйственной организации, попридержит выданные ему подотчетные суммы, а потом возьмет себе «хвостик» на разнице в денежном курсе. А там дальше — больше.

Какую-то часть нэповской буржуазии составляли различного рода дельцы, жившие целиком в сфере частного оборота: валютчики и спекулянты, кишевшие на Ильинке и на Невском, забегавшие в пивную «Ли́ра» или в кафе «Уют», чтоб, приговаривая: «Товар руки жжет», совершить мгновенный тройной оборот — продать, купить, тут же продать, — за полчаса «наварить» в этой хищной коммерции миллиардный лаж и пуститься в новую комбинацию.

Другая ее часть состояла из мошенников и ловкачей, крутившихся вокруг государственных органов и создававших при помощи взяток и подкупов хитросплетенную сеть хищений, «коммерческого» жульничества, перекачивания государственных средств в собственный карман.

Вся эта распыленная жадная рать, многочисленная и приблизительно одинаковая по отсутствию капитала (миллиард рублей для них был не капитал, за миллиард рублей в то время пуда гвоздей было не купить), остервенело дралась в дикой и жадной свалке, переживая своеобразный процесс первоначального накопления капиталов, при котором происходил естественный отбор счастливых (ограбивших и раздевших)

и несчастных (ограбленных и раздетых). Крупнейшим козырем в этой алчной игре было получение денежного аванса под заказ, какой угодно заказ. Здесь удачник мог считать себя победителем.

Типичной фигурой этого рода был некто Савчик, герой одного из судебных процессов того времени.

Свою деятельность Савчик начал с того, что подал в Наркомат внутренней торговли заявление с просьбой продать ему три тысячи ведер спирта и, не получив еще никакого ответа, отправился в государственное объединение парфюмерных заводов и предложил ему три тысячи ведер спирта. Там обрадовались, заключили с Савчиком договор, выдали ему аванс. Затем он «продал» эти же три тысячи ведер спирта Главхиму за шестьдесят пять тысяч пудов каустической соды. Ордера на эту соду он «продал» сначала Иваново-Вознесенскому, а затем Орехово-Зуевскому текстильным трестам, попутно заключил с Главсельпромом сделку на поставку двухсот пятидесяти тысяч пудов кедровых орехов и еще с какой-то организацией на продажу пяти тысяч пудов несуществующего мыла. И при этом, конечно, повсюду получал авансы.

Приспосабливаемость и умение применяться к любым условиям, выработанные нэпманом, были поистине изумительны. Если прежний Тит Титыч писал просто: «Вышли партию мануфактуры расплачусь Макарии», то, ставши нэпманом, он шпарил: «Астраханский пролетариат испытывает острую продовольственную нужду бархате шлите срочно расплата Нижнем после пролетарского красного октября». Подавая заявление о выдаче разрешения на открытие ресторана, он предварял его преамбулой: «Желая помочь умирающему в Поволжье с голоду пролетариату, прошу разрешить открыть кафе-ресторан с оркестром и продажей вина и пива. Сын трудового народа...»

Деление нэповской буржуазии на разные группы не следует, конечно, понимать как нечто застывшее, постоянное: это были сообщающиеся сосуды, между которыми происходило непрерывное взаимопроникновение, тем более естественное, что субстанция и тут и там была одна, да и цель одна: барыш!

По замыслу Ленина, в условиях нэпа пролетарское государство должно бить частный капитал прежде всего

мощью государственного капитала, находящегося в руках пролетариата, производством, ценами, регулировкой рынка, направлением кредитов и прибылей, налоговым обложением, финансовой политикой.

Вместе с тем Ленин придавал важнейшее значение законодательным нормам — и в области уголовного, и в области гражданского права — как средству охраны интересов пролетарского государства против частнособственнической стихии. Он решительно возражал против мнения, что государство не правомочно контролировать частную деятельность кооперативных организаций и проверять обороты и коммерческую деятельность частных предприятий. «Неверно!! Откуда сие?» — восклицал он по поводу подобных утверждений.

В документах, написанных им по этим вопросам, больше, пожалуй, чем в каких бы то ни было других, чувствуется, что по образованию своему Ленин — юрист.

«Мы ничего «частного» не признаем,— пишет он Наркомюсту Д. И. Курскому,— для нас *все* в области хозяйства есть *публично-правовое*, а не частное. Мы допускаем капитализм только государственный... Отсюда — расширить применение государственного вмешательства в «частноправовые» отношения; расширить право государства отменять «частные» договоры; применять не *corpus juris homani*¹ к «гражданским правоотношениям», а наше *революционное правосознание*, показывать систематически, упорно, настойчиво на ряде образцовых процессов, как это надо делать с умом и энергией».

Такие же требования ставит он перед правовой защитой интересов рабочих, работающих на частных предприятиях.

4

До сих пор мы говорили о нэпманах исключительно как о существах, мыслящих животом. Но имелась же у них какая-никакая духовная сфера? И рождались же у них свои, нэпаческие, мысли и идеи?

Разумеется, все это было. Но выразителями этих

¹ Свод законов римского права.

мыслей и идей были не сами нэпачи (куда им этокое при ихнем-то рыле?), а другие люди. И притом люди, почитавшие смертельной обидой и оскорблением, когда кто-нибудь видел в них представителей этой самой нэпманской буржуазии.

Да и мог ли не обидеться, не оскорбиться убеленный сединами старый народник, побывавший в якутской ссылке и начинавший чуть ли не каждую свою фразу словами: «Мы, русская интеллигенция...», когда какой-нибудь сопливый мальчишка, который еще ходил под стол пешком, а он, старый народник, сидя в Доме предварительного заключения и т. д., и т. п., — когда этот мальчишка объявлял его, старого народника, идеологом охотнорядских торгашей.

Но упрямые факты на стороне мальчишки. Ибо кто, как не охотнорядский или зацепский, а вернее собирательный нэпач, водил рукой достопочтенного старого народника, когда тот писал:

«Как Феникс из пепла, вышла из земли и воскресла в полгода московская торговля... Три дня езжу с Сухаревой в Смоленский и с «Зацепы» на «Трубу» и не могу насытить свои голодные глаза обилием пищи, снова взлелеянной, всхоженной и вынесенной на торжище для человеческой потребности...

Рыба, рыба. Целые севрюги, осетры. Сухие снетки и лещи. Резанные головы наложены грудюю.

Свинина, баранина, жирная говядина. На десятичных весах горою навалены телячьи туши, еще целые, в шубах.

А вот и ободранная туша, белая от сала. Пухлые гладкие почки, как женские груди. Сальная рубашка, обтянутая, как трико.

Милый теленок, скажи мне, кто вырастил тебя? Кулак или середняк, партийный или беспартийный? Но ты все тот же, такой же, как прежде. Откормленный телец, возвращенный обильной природой для ласковой встречи человеческого блудного сына, обуянного гордыней духа и оголодавшего желудком. Чей ты, теленок?

— Я не кадетский, я не советский, — напевает под ухом назойливый «цыпленок», как будто в объяснение, —

Ах, я куриный, я петушиный,

Я Петька-детка, я курицын сын...

Не знаю, кто вырастил тебя. Но знаю и чувствую, что в тебе воскресла и выросла мистика жизни, мистика

плоти, цветущей и тучной. Жизнь чередуется волнами. Три года войны, четыре — революции, хаос разрушения, кровавые духовные цветы. И вот возродилась цветущая плоть, от духа родилась плоть...

Ешь и объедайся, душа, до самой дизентерии!..»

Однако мы что-то вновь попали в область мышления животом. Но ведь была же все-таки сфера чистого духа, чистой мысли, «критически мыслящих личностей» и тому подобного.

Была, была. Все было.

И изящное французское: «*Tout passe tout change*» — «Все проходит, все меняется». В том смысле, что проходит революция, меняется ее облик, исчезает ее преобразующая сила и все возвращается в старые привычные берега.

И пришедшее из керженских лесов словечко «обмирщение», которым раскольники называли общение с обычными мирянами, с православными, уклонение от своего согласия, отказ от строгого соблюдения своих раскольничьих обычаев. Вот на такое «обмирщение коммунизма», когда «от коммунистической идеи останется одна терминология» и произойдет «безболезненный спуск к реальной действительности с утопических высот» и делалась ставка.

И ссылки на Достоевского, Константина Леонтьева и Константина Аксакова. На Ивана и на Дмитрия Карамазовых. А также на Макиавелли с соответствующей цитаткой: «При переменах надо сохранить тень прежних установлений, чтобы народ не подозревал о перемене. Большинство людей больше боятся внешности, чем сущности».

В конце двадцать второго года наша печать отметила попытки частного капитала, ограничивавшегося до того времени розницей, проникнуть в сферу оптового оборота. Одновременно с этим в выходившем в Петрограде журнале «Экономист», одним из ведущих сотрудников которого был подвизающийся ныне в Соединенных Штатах Питирим Сорокин, появилась серия статей, подвергавших критике новую экономическую политику за то, что она представляет собою «одни маниловские мечты, а не реальные меры». Авторы этих статей требовали отмены каких бы то ни было ограничений «свободы хозяйственного почина», отказа от «принципа национализации в области внешнего товарооборота» и предоставления частному капиталу «возможности непосред-

ственно связаться с мировым рынком», а также ликвидации советского рабочего законодательства, ибо «для серьезного промышленника вообще едва ли возможно работать в более крупном масштабе при наличии регулирующих труд и трудящихся правил, связывающих владельца предприятия в отношении найма и расчета рабочей силы».

Так весьма откровенно высказывалась лелеемая в определенных кругах идея капиталистической реставрации и создания того, что они называли «Третьей Россией» — России, хозяином и владыкой которой стал бы всемогущий нэпман.

Но вообще нэповская буржуазия в политических вопросах держалась очень осторожно. Когда приехавший в конце октября в Советскую Россию корреспондент английской газеты «Манчестер Гардиан» Артур Рансом задал Ленину вопрос: «Каким образом нэпман не является и не показывает признаков стремления быть политической силой?», Ленин ответил:

«Я думаю, что «нэпман», т. е. представитель растущей торговли при «новой экономической политике», желает быть политической силой, но не показывает никаких признаков этого или показывает их так, чтобы скрыть свои пожелания. Ему необходимо стремиться к сокрытию своих пожеланий, ибо иначе он рискует встретить серьезную оппозицию со стороны нашей государственной власти, а иногда и хуже, чем оппозицию, т. е. прямую враждебность».

И премерзейшее же было это животное, которое вошло в историю под прозвищем «нэпмана» или «нэпа-ча»! Жадное, прожорливое, трусливое, загибающее, оно жило в атмосфере постоянных слухов, страхов, шепота, взлетов и падений, надежд и отчаяний. То оно нагло и требовало, чтоб ему передали «в концессию» — и притом на двадцать четыре года Большой, Малый и Художественный театры. То в панике шарахалось и поспешно распродало все, вплоть до вставных челюстей с золотыми зубами. То безудержно радовалось и предавалось несбыточным надеждам, истолковывая действия Советской власти как признак ее слабости и близкого падения — как это было, например, в день,

когда был опубликован декрет о преобразовании ВЧК в ГПУ.

— «Слыхали? Чрезвычайку-то упразднили!» — «Слышал, да не верю ушам своим». — «Так глазам поверите? Эй, мальчик, дай газету! Да не «Коммунистический труд», дай другую. Вот, глядите, читайте: «ВЧК и ее местные органы упразднить!» — «Ох, Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» — «Почем продаете последнего займа?» — «Последнего займа 75. Неотрезанные купоны. А чрезвычайка-то лопнула!» — «Лопнула, как в стакане лопнула. Шведскую крону берете?» — «Как я возьму у вас шведскую крону по 45, когда банк берет ее по 60 с хвостиком?» — «Э, мой родной, теперь не нам банк, а мы банку законы писать будем». — «Волжско-Камские берете? Есть случай!» — «А чрезвычайка-то тю-тю!» — «Воистину тю-тю!»

5

При переходе к новой экономической политике Ленин определил те командные высоты, утерю которых он считал гибельной для дела революции. Одной из этих командных высот являлась монополия внешней торговли.

Между тем ряд руководящих деятелей партии не разделяли этого мнения Ленина. Разногласия существовали уже давно, к моменту возвращения Ленина к работе осенью двадцать второго года они приняли весьма острый характер.

Вопрос этот имел свою историю.

Монополия внешней торговли была установлена декретом Совета Народных Комиссаров в апреле восемнадцатого года. Но в условиях гражданской войны и связанной с ней блокады Советской России этот декрет не привлекал к себе особого внимания. С переходом к нэпу положение резко изменилось. Как рассказывает И. И. Радченко, который с июля двадцать первого года был членом коллегии Наркомата внешней торговли, многие хозяйственные работники, в том числе коммунисты, «не понимая во всем объеме значения монополии внешней торговли, стремились к самостоятельной купле-продаже за границей для представляемых ими учреждений или организаций».

Узнав об этом, Ленин предложил самым резким

образом подтвердить незыблемость монополии внешней торговли и в то же время уточнить и дополнить действующее законодательство, приспособив его к новой экономической политике и расширению торговых связей с заграницей.

Против сохранения монополии внешней торговли выступили Г. Я. Сокольников, Н. И. Бухарин, Г. Л. Пятаков. Сокольников предложил отменить монополию внешней торговли, заменив ее режимом торговых концессий. И. В. Сталин, Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев высказались за ослабление монополии. Народный комиссар внешней торговли Л. Б. Красин был «ярким монополистом».

Ленин всячески старался убедить товарищей в своей правоте. В письме Л. Б. Каменеву от третьего марта двадцать второго года он писал:

«т. Каменев! Я довольно долго размышлял о нашем разговоре (с Вами, Сталиным и Зиновьевым) насчет Внешторга и линии Красина и Сокольникова.

Мой вывод — безусловно прав Красин. Нельзя нам теперь дальше отступить от монополии внешней торговли, чем то предлагал и предлагает Лежава в своих тезисах. Иностранцы иначе скупают и вывезут все ценное».

Основным доводом противников сохранения монополии внешней торговли были бюрократизм и волокита органов Наркомвнешторга. Если хозяйственные организации получают право непосредственного выхода на внешний рынок, утверждали они, это придаст нашей торговле необходимую оперативность, эластичность, быстроту.

Нет, возражал на эти доводы Ленин, принять подобное решение означало бы лишь «дублировать» плохой Внешторг плохими внешторгиками, из коих 90% *купают* капиталисты».

Из недостатков работы Внешторга надо сделать другой вывод: «проверять практику и *школить* за волокиту». Школить жестко и беспощадно.

Если, как это случилось незадолго до того, Московский Губэконос предложил закупить за границей консервы, а Внешторг две недели тянул и дотянул до того, что сделка была сорвана, то надо поручить прессе «высмеять и тех и других и *оплевать их*. Ибо позор тут именно в том, что москвичи (в Москве!) не умели бороться с волокитой».

А посему Ленин предлагал: «Москвичей за глупость

на 6 часов клоповника. Внешторговцев за глупость плюс «центрответственность» на 36 часов клоповника».

Что же касается монополии внешней торговли, то «ни в коем случае не подрывать монополии внешней торговли... опубликовать тотчас же (потеряли мы тьму времени) от имени Президиума ВЦИКа твердое, холодное, свирепое заявление, что мы дальше не отступаем в экономике и что покушающиеся нас надуть (или обойти монополию и т. п.) встретят террор; этого слова не употреблять, но «тонко и вежливо намекнуть» на сие».

На этот раз Ленин сумел убедить большинство членов Политбюро ЦК. Однако, несмотря на решение Политбюро, Г. Я. Сокольников продолжал настаивать на своей точке зрения и предлагал разрешить трестам, кооперации и другим организациям закупку продовольствия за границей, а заместитель наркома внешней торговли М. И. Фрумкин выступил за ослабление монополии, предлагая оставить в руках государства на основе твердой монополии лишь оптовую торговлю четырьмя-пятью видами товаров.

Поэтому Ленин, получив от полпреда РСФСР в Германии Н. Н. Крестинского документы, свидетельствующие об отрицательном влиянии внутрипартийной борьбы по поводу монополии внешней торговли на деловые переговоры с иностранными предпринимателями, предложил Политбюро ЦК принять постановление, вновь подтверждающее сохранение монополии.

Одновременно с этим Ленин направил письмо И. В. Сталину и М. И. Фрумкину, в котором указывал, что надо *«формально запретить все разговоры и переговоры... и т. п. об ослаблении монополии внешней торговли»*.

Под текстом письма В. И. Ленина имеется ответ И. В. Сталина.

Не возражая против формального запрещения шагов в сторону ослабления монополии внешней торговли *«на данной стадии»*, Сталин писал, что все же *«ослабление становится неизбежным»*.

Двадцать второго мая проект постановления, предложенный Лениным, был утвержден Политбюро. Только после этого Ленин счел возможным уехать на отдых в Горки.

Однако на этом борьба не прекратилась. Противники сохранения монополии внешней торговли настаивали на своем. Шестого октября этот вопрос был вновь по-

ставлен на пленуме ЦК. Ленин, который к этому времени уже вернулся из Горок, по болезни на пленуме не присутствовал. По предложению Г. Е. Зиновьева пленум принял постановление, в основе которого лежали тезисы Сокольников о разрешении свободы ввоза и вывоза по отдельным категориям товаров или в применении к отдельным границам.

Таким образом, пленум ЦК отверг линию Ленина в вопросе, который Ленин считал имеющим «самое коренное, принципиальное значение», в вопросе, неправильная политика в котором «нас погубит», ибо отмена монополии внешней торговли приведет к тому, что «у нас вырвут из рук торговлю», в деревню, как это правильно указывает Красин, «будет искусственно введен самый злостный эксплуататор, скупщик, спекулянт, агент заграничного капитала, орудующий долларом, фунтом, шведской кроной». И все это обратится против пролетариата, который без сохранения монополии внешней торговли «абсолютно не в состоянии воссоздать своей промышленности, сделать Россию промышленной страной». Вместе с тем открытие границы «несет с собою серьезнейшие опасности в отношении валюты, ибо мы попадем практически в положение Германии».

«Это такой коренной вопрос, из-за которого можно и должно побороться на партийном съезде», — писал Ленин в письме, которое направил И. В. Сталину для пленума ЦК.

В политической жизни Ленина не раз уже случалось, что он оставался в ЦК в меньшинстве: вспомним первую стадию профсоюзной дискуссии или дискуссии по поводу Брестского мира.

Когда спор шел не о принципиальных проблемах, Ленин беспрекословно подчинялся партийной дисциплине. Но когда дело шло о коренных вопросах, от правильного или неправильного решения которых зависела судьба революции, он считал своим долгом бороться до конца, снова и снова апеллируя к ЦК, к партийному съезду, ко всей партии.

Так поступил он в период брестских переговоров, когда он и его единомышленники остались в ЦК в меньшинстве. Пока была надежда переубедить сторонников революционной фразы, пока не были исчерпаны все возможности внутри ЦК, Ленин подчинялся партий-

ной дисциплине и ни словом не проговорился о своих разногласиях с большинством ЦК. Но когда, в результате гибельной политики Троцкого и «левых», германско-кайзеровские полчища двинулись на революционный Петроград и на карту была поставлена судьба Советской власти и социалистической революции, Ленин открыто пошел против большинства ЦК. На бурном заседании ЦК он в ультимативной форме потребовал принять германские условия мира и заявил, что, если политика революционной фразы будет продолжаться, он выйдет и из правительства, и из ЦК, ибо отвергнуть сейчас мир — значит подписать Советской власти смертный приговор.

Вот как описывает это историческое заседание Н. И. Бухарин, на которого обрушился гнев Ленина: «Он бегает по комнате, гневный, с суровой решимостью в лице, на котором подобрались и сжались все мускулы. «Больше я не буду терпеть ни единой секунды. Довольно игры! **Ни единой секунды!**» Его: «ни единой секунды!» произносится с каким-то решительным, серьезным и вместе с тем глубоко гневным присвистом сквозь зубы,— это было характерным признаком того, что Ильич «свирепо» настроен. И Ильич ставит ультиматум. И Ильич ломает прежнее решение. И Ильич — могучий, грозный, железный, всевидящий — спасает революцию от страшных врагов: от революционной фразы и от революционной позы, которые чуть было не выдали республику немецким палачам...»

Так вел борьбу Ленин в дни Бреста, когда был крепок, здоров, полон сил. Так же готов был вести ее теперь, когда он был болен — и, мы знаем, болен смертельно.

В вопросе монополии внешней торговли Ленин уступить не мог. Еще и еще раз пытался он переубедить членов ЦК. Разговаривал с ними. Писал им письма. Вновь и вновь разъяснял свою точку зрения. Добился того, что принятие окончательного решения было перенесено на два месяца, до следующего пленума ЦК, назначенного на середину декабря.

К этому пленуму Ленин провел большую работу: организовал сбор материалов о состоянии внешней торговли и создал комиссию для их изучения; предложил обследовать деятельность торговых представительств РСФСР за границей. Много раз он беседовал с членами ЦК, с партийными, хозяйственными и советскими работниками, убеждая колеблющихся товарищей в необ-

ходимости сохранения монополии внешней торговли, договаривался со сторонниками его точки зрения об их выступлении на пленуме. Через все это проходила мысль, высказанная им в одном из его писем того времени:

— Я буду воевать на пленуме за монополию...

6

Тут я позволю себе прервать на время нить повествования, чтобы рассказать об одном... не знаю, как правильнее выразиться: случае? разговоре? — происшедшем вскоре после возвращения Владимира Ильича в Москву и глубоко врезавшемся в мою память. Но прежде чем приступить к собственному рассказу, я попробую уточнить даты и проверить, нет ли ошибок в моих воспоминаниях.

Буду проверять последовательно.

Это было в середине октября. Я точно помню, что в тот день в одной из центральных газет появился большой подвал на тему об отношении рабочего класса к музыке.

Беру комплект «Правды». Нет, здесь ничего нет. Беру «Известия» — и в номере от двенадцатого октября нахожу статью Ф. Капелюша «Музыка для рабочего класса», занимающую чуть ли не треть полосы.

Второй признак этого дня — то, что в этот день Владимир Ильич принимал Л. Б. Красина и имел с ним беседу.

Раскрываю «Даты жизни и деятельности В. И. Ленина» и читаю:

«Октябрь, 12. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП(б), на котором обсуждаются вопросы о заместителях наркома просвещения, о решении пленума ЦК по вопросу о внешней торговле, о демобилизации моряков и укреплении боеспособности флота, о Дальневосточной республике, о прокурорском надзоре, о строительстве Земо-Авчальской ГЭС в Грузии, финансовые вопросы и др.

Ленин беседует с И. В. Сталиным о решении, принятом пленумом ЦК

РКП(б) 6 октября 1922 года по вопросу о монополии внешней торговли. Ленин беседует с Л. Б. Красиным о монополии внешней торговли; затем пишет проект письма в ЦК РКП(б) по этому вопросу и направляет его Красину для ознакомления».

Третий признак этого дня — то, что вскоре после него в Москве состоялось второе исполнение «Реквиема» Моцарта под управлением Вячеслава Сук. Тут мне для проверки снова приходится взять комплекты газет. Нашла! Вот оно, объявление в «Известиях».

«РЕКВИЕМ» Моцарта под управлением Вячеслава Сук. Второе исполнение 15. X — в 5 ч. дня в помещении Лютеранской церкви. Маросейка, Косьмодемьянский пер. Оркестр Большого театра, хор Чеснокова. Солисты: Катувльская, Петрова, Богданович, Петров. Орган — проф. Гедике».

Память меня не обманула: все сошлось, и я могу спокойно приступить к моему рассказу.

Накануне этого дня к нам с мамой заехал на минутку Л. Б. Красин. Мама работала с ним в 1905—1906 годах в Первой большевистской боевой организации и они были очень дружны. Красин привез нам из Лондона подарки — разумеется, очень скромные: теплые перчатки, несколько баночек консервов.

Был он в тот вечер очень веселый и, как всегда, необыкновенно красивый, изящный, элегантный. Входя, он сказал:

— А я прямо от Ильича.

— Как он? — спросили мы в один голос.

— Хорошо, — сказал Красин. — Немного прихворнул было, но теперь снова хорошо.

И чуть озорно добавил:

— Мы с ним вместе затеяли сейчас большую драчку...

Положив на стол сверток с подарками, Красин сказал:

— Я спешу, но мы еще увидимся... У меня для вас небольшой сюрприз.

И протянул маме конверт. Мама его раскрыла: в

нем оказались билеты на закрытую генеральную репетицию «Реквиема» Моцарта.

Не скрою, что я предпочла бы билеты на представление «Теревсата»¹. Но мама так и ахнула: вся Москва была полна разговорами о первом исполнении «Реквиема» за несколько времени до того, билеты на второе исполнение достать было невозможно — и тут, так неожиданно, осуществилась ее мечта.

Договорились встретиться с Красиным прямо в лютеранской церкви. А на следующий день утром, раскрыв «Известия», я увидела статью Ф. Капелюша. Поскольку в ней упоминалось имя Моцарта, я ее прочла и она мне запомнилась.

Статья эта очень интересна. В ней Ф. Капелюш, один из образованнейших марксистов в нашей столь богатой образованными марксистами партии, резко полемизировал со взглядами известного тогда музыкального теоретика, писавшего под псевдонимом Уриэль.

Незадолго до того Уриэль выступил с программной статьей, в которой выражал сожаление о том, что «пролетарской музыки еще нет и не так-то скоро появятся композиторы, воплощающие в звуках симфонию фабрик и заводов, увертюры повседневного труда, интродукции станков и машин... Еще не народился певец машин, еще нет композитора электрификации и транспорта...». Ему, Уриэлю, хотелось музыки, в которой слышались бы звуки пилы, уханье молота, свист и жужжанье приводных ремней, — словом, «музыки производства».

Ф. Капелюш резко возражал Уриэлю:

«Музыка заглядывает в тайники души человеческой, — писал он. — Подъем революции, душу ее, страсть ее, особую психику пролетариата даст в музыке не рабское фотографирование в звуках фабричной обстановки, а уже скорее тот не укладывающийся в рамки определенных образов титанический пламень, который обурекает «Аппассионату». Эта гениальная музыка может великолепно вдохновить пролетариат и уж, конечно, служит ему источником высшего наслаждения...»

¹ «Театр революционной сатиры».

Также не соглашался Ф. Капелюш с оценками, что давал Уриэль композиторам прошлого: Бах, Глюк, Гайдн — «дальние отзвуки феодальной эпохи»; Чайковский — «типичный выразитель умонастроений помещичье-дворянского класса и усадебного быта»; Шуман, Шуберт, Шопен — «певцы мелкой буржуазии».

«Глубокий, глубочайший Бах — это феодализм? — восклицал Капелюш. — Уж скорее следует считать музыку Баха, Генделя, Глюка могучими, широкими мазками реформации...»

Правда, к Моцарту Уриэль отнесся милостивее. Противопоставив его «нытику» Шопену, Уриэль похвалил Моцарта за «бодрость», считая поэтому его музыкальные произведения «подходящими» для пролетариата и призвал: «Не Шопен, а Моцарт!»

«Уриэль ошибся как относительно Шопена, так и относительно Моцарта, — отвечал на это Капелюш. — Все эти злоключения Уриэля происходят оттого, что он задается целью фильтровать для пролетариата корифеев музыкальной литературы, сделать отбор великих произведений музыкальной литературы по своему менторскому усмотрению, создать «музыкальную хрестоматию для пролетариата», руководствуясь, с одной стороны, своим классовым пониманием музыканта, с другой — «бодрящим» или «размагнивающим», унылым характером данного композитора.

Музыка действует бодрящим или гнетущим образом вовсе не в зависимости от того, написана она в мажорных или минорных тонах, будет ли это свадебный или похоронный марш. В чем великое значение Девятой симфонии Бетховена? В том, что в ней из борьбы и отчаяния в конце концов рождается очищающая, просветляющая, подымающая нас ода к радости. Это происходит не внешне, наносным образом, а в муках душевных, но зато в результате получается такой могучий подъем, какого не достигнешь никакими «веселыми» мотивами. Нет лучше средства прогнать тоску, слабодушие и отчаяние, как несравненное Ларго из Седьмой сонаты Бетховена, написанное в самых грустных, меланхолических тонах...

Нет, если вы любите музыку и преданы пролетариату и верите в него, то давайте ему всю музыку, все сокровища ее, не подвергайте ее цензуре...»

Я привела столь обширные выдержки из статьи Ф. Капелюша прежде всего из-за ее общего интереса,

ибо она освещает мало исследованную в нашей литературе проблему об эстетических воззрениях представителей старой большевистской гвардии, к числу которых принадлежал Ф. Капелюш. Но для меня эта статья имеет и «частный» интерес, так как она сыграла большую роль в формировании моего мировоззрения и сделала тот день двенадцатого октября, о котором я рассказываю, одной из очень важных вех на моем жизненном пути.

Как я уже говорила, в тот день я должна была пойти на исполнение «Реквиема» Моцарта. Хотя и нельзя сказать, что я разделяла эстетические идеи Уриэля,— вероятнее всего, у меня попросту не было никаких эстетических идей,— но весь опыт прошлой моей жизни толкал меня к предубеждению против того, что мне предстояло услышать: во-первых, «Реквием» — это нечто похоронное, печальное, что уже плохо. Во-вторых, исполнение его будет происходить в помещении лютеранской церкви, что вдвойне плохо. В третьих... Впрочем, не буду продолжать: как говорится, «вопрос ясен».

Если б не статья Капелюша, то вследствие моей эстетической неграмотности светлый гений Моцарта мог не пробиться к моей душе через свинцовую стену непонимания. Но эта статья и, в частности, отношение Ф. Капелюша к Моцарту, которого он назвал «Рафаэлем в музыке», и к «Реквиему», о котором он писал как о «светлом произведении моцартовского гения»,— все это, быть может, неосознанно, настроило меня на совершенно иной лад.

Мы пришли примерно за полчаса до начала. Мама погрузилась в чтение программы, я с интересом рассматривала наполнявшую зал московскую музыкальную и артистическую элиту, для которой и было устроено это закрытое исполнение. Но были среди пришедших люди, которых я никак не ожидала увидеть здесь: нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин (я не знала, что он был крупным знатоком Моцарта и даже написал о нем монографическое исследование), одетый в штатское Михаил Николаевич Тухачевский.

Леонид Борисович Красин пришел, когда зал был уже почти полон. Он должен был сидеть рядом с мамой, но почему-то захотел сесть рядом со мной. Занятая

окружающим, я посмотрелана него вскользь, но даже этот рассеянный взгляд уловил в нем какую-то перемену.

— Послушай,— сказал он мне.— Ты помнишь «Моцарта и Сальери»?

— Конечно,— сказала я.

— Наизусть?

— Да, наизусть,— сказала я. У меня тогда была очень хорошая память и мамини товарищи это знали.

— И монолог Сальери?

— Да, и монолог Сальери...

— Прочти его мне.

— «Все говорят...»,— начала я.

— Нет, не отсюда,— сказал Леонид Борисович.— Начни дальше: «Отверг я рано...»

— «Отверг я рано праздные забавы,— продолжала я,—

Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолея
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп.

Только сейчас, внимательнее посмотрев на Красина, я поняла то, что почувствовала при первом беглом взгляде: он был совсем иной, чем вчера,— сумрачный, невеселый, озабоченный.

— Почему вы все время думаете о Сальери? — не удержалась и спросила я.

— Не знаю,— сказал он.— Возможно, из-за одного человека, которого встретил, уходя от Ильича. Помнишь: «Как мысли черные тебе придут, откупори шампанского бутылку...» Ну, а как встретишь черного человека, вспомни философа злобы и зла — Сальери.

— Вы верите, что он отравил Моцарта?

— Разве это имеет значение? Убийство Моцарта — лишь переведенное на язык драмы «Звуки умертвив...».

Между тем, оркестр уже настроил инструменты. Профессор Гедике занял свое место у органа. Появился Вячеслав Сук. По залу пробежал легкий шум. Сук

поднял дирижерскую палочку, все стихло, раздалось медленное адажио вступления: «Requiem aeternam...» — «Дай им вечный покой...»

И тут, как никогда, я оказалась во власти той «страшной силы музыки», о которой говорит Толстой.

7

Но вернемся к нашему повествованию.

Полемика между Ф. Капелюшем и Уриэлем была одним из отзвуков дискуссии о вопросах культуры, которая развернулась тогда на страницах партийной печати. Формально спор шел между сторонниками и противниками идей «Пролеткульта». По сути своей это был спор между мнимореволюционным догматизмом, узостью, сектантством и гибкой, свободной, творческой гуманистической мыслью марксизма.

Инициатива дискуссии принадлежала пролеткультовцам. Двадцать четвертого сентября в «Правде» была опубликована статья председателя ЦК «Пролеткульта» В. Плетнева. В сгущенной, а потому особо выпуклой форме она излагала программные воззрения руководителей «Пролеткульта»: цель и задача «Пролеткульта» — творчество новой пролетарской культуры, не имеющей ничего общего с культурой буржуазной. Разрешить эту задачу можно только силами самого пролетариата, ибо классовая психология пролетариата является коллективно-классовой и сознательно-творческой. Пролетарий имеет дело с совершенно ясными отношениями его к внешней природе: он знает, что удар кайла в шахте дает известное количество руды или угля, то и другое вместе дадут в домне чугуна, из домны не потечет молоко или вода; чугуна даст железо, сталь; последние претворятся в машину, машина даст возможность победить сопротивление материи, а в субботу будет получка.

«Пролеткульт» и является той лабораторией, в которой пролетарий должен творить собственные культуру и науку, принципиально противоположные культуре и науке всех других классов (которые, видимо, считают, что из домен текут молоко и вода?! — Е. Д.). Проведение четкой демаркационной линии между пролетариатом и другими классами особенно важно в такой некультурной, полубезграмотной стране, как

Россия. Сколько бы ни было у нас пришельцев из буржуазного лагеря, классовое сознание пролетариата останется чуждо крестьянину, буржуа, интеллигенту. Перед пролетариатом стоит задача социализации науки, охватывающей сущность всех наук, их метод, форму и масштаб. Отрицая с исторической и научной точки зрения все старые системы наук, пролетариат создает свою классовую культуру, новую культуру пролетариата...

Читая эту статью Плетнева, Ленин испещрил поля газеты критическими пометками и в тот же день послал вырезку из газеты со своими пометками редактору «Правды» Бухарину.

«Посылаю Вам сегодняшнюю «Правду», — писал Владимир Ильич в своем сопроводительном письме. — Ну зачем печатать глупости под видом важничающего всеми учеными и модными словами фельетона Плетнева? Отметил 2 глупости и поставил ряд знаков вопроса. Учиться надо автору не «пролетарской» науке, а просто учиться. Неужели редакция «Правды» не разъяснит автору его ошибки? Ведь это же *фальсификация* исторического материализма! Игра в исторический материализм!»

Ленин в то время готовился к переезду в Москву и не стал заниматься разъяснением ошибок Плетнева. Это сделали другие товарищи: восьмого октября на первой полосе «Правды» появился ответ Плетневу, написанный Н. К. Крупской, двадцать четвертого — большая статья «О «пролетарской культуре» и пролеткульте», автором которой был Яков Аркадьевич Яковлев. О том, какое большое значение придавал Ленин ответу Плетневу, мы можем судить по тому, что накануне публикации статьи Яковлева Ленин его принял и имел с ним по поводу его статьи продолжительную беседу.

Таким образом, обе эти статьи были апробированы Лениным и мы можем рассматривать их как выражение взглядов Ленина по важнейшим вопросам революции.

Первый из них — отношение пролетариата, взявшего власть, к другим классам. Руководители «Пролеткульта» считали, что пролетариат должен противопоставить себя всем другим классам, хотя бы это были и трудящиеся, изолировать себя как высший класс общества,

отгородиться от всех остальных, создать свою белоснежно пролетарскую культуру.

«Мы считаем такие взгляды сектантскими, непролетарскими, и потому боремся с ними»,— отвечала на это Н. К. Крупская.

«Для чего он (пролетариат.— Е. Д.) брал... власть?..— спрашивала она.— Чтоб угнетать другие классы? Конечно, нет. Он взял власть, чтобы уничтожить всякую эксплуатацию, всякое угнетение, перестроить общество по-своему, уничтожить деление общества на классы и тогда перестать существовать, как класс... Пролетариат думает не о том, как бы ему обособленно устроиться в классовом обществе, выработать свое обособленное мировоззрение, свое обособленное искусство. Пролетариат видит свою миссию не в этом, а в уничтожении классового общества, в... организации общества, в которой не будет ни пролетариата, ни буржуазии».

То или иное понимание вопроса об отношении пролетариата к другим классам выходило далеко за пределы проблем, связанных с пролеткультовскими ретортами и пробирками, в которых выращивалась так называемая «пролетарская культура»: им определялись самые животрепещущие стороны практической политики, в частности политики в области школы. Н. К. Крупская всегда самым настойчивым образом боролась против «классового» принципа приема в школу. Вспоминая Чернышевского, она спрашивала: «Что же, выходит, что мы не приняли бы его в школу, как сына попа?»

Это было мнение не одной Надежды Константиновны. Уважаемейший всеми как великолепный марксист и человек редкостной преданности партии Иван Иванович Скворцов-Степанов писал:

«Не от детей зависит выбор родителей. С этой точки зрения мне простят, если я признаюсь, что у меня щемит сердце, когда я слышу о том, как детям бывших помещиков и буржуев отказывают в приеме в школы первой ступени. Не скрою, что для меня бесконечно привлекательна практика 1918—1920 гг., которая в детском питании не проводила классового пайка... Пролетариат, в особенности в эпоху далеко не законченной борьбы, должен создать **единую школу, обязательную для всех...** Только близорукая политика стала бы **устранять** детей буржуазии из такой школы. Напротив, надо постараться провести через нее **всех детей,**

чтобы до последней степени сократить возможные молодые пополнения лагеря наших противников».

Кое-кто из современных молодых людей, быть может, зевнет, скучающе читая эти строки. Но как глубоко отзовутся они в сердцах многих из тех, кому сегодня сорок — пятьдесят лет!

Вторым «узлом» в полемике с «Пролеткультом» была проблема отношения пролетариата к буржуазной культуре.

«Пролетариат начисто отвергает всякую буржуазную культуру!» — утверждали пролеткультовцы.

«Вы говорите вздор! — писал по этому поводу Я. А. Яковлев. — В нашей отсталой стране мы должны бороться за «буржуазную культуру», за то, чтоб аккуратно исполнять свои обязанности; выходить вовремя на службу, не класть под сукно приносимые бумаги, не отписываться бюрократическими отговорками; разъяснять посетителю, что он должен сделать для решения своего дела; приучить граждан РСФСР, в том числе коммунистов, не относиться к взятке, как к неизбежному слабительному при запоре в нашем аппарате, работать так, чтоб коммунист не превращался в удобное прикрытие для вороватого служащего, — словом, работать не по разгильдяйски-советскому образцу, а хотя бы по буржуазно-европейскому или американскому образцу, уменьшить безграмотность, научить крестьянина культурному хозяйничанью...»

И «узел» третий и последний: о науке, об ученых, о людях из других классов.

Тут спор шел не об общественных науках: совершенно очевидно, что оценка общественных явлений у буржуазии и пролетариата различна. Спор шел о точных науках. По убеждению пролеткультовцев, в них также преобладающим принципом являлся классовый: даже для физической культуры они не делали исключения и полагали, что пролетариат «должен создать свою пролетарскую физическую культуру».

Все, уже сказанное выше, позволяет нам предугадать, как относились к подобным утверждениям противники идей «Пролеткульта».

«Точные науки покоятся на многовековом опыте

человечества в области овладения силами природы,— писала Н. К. Крупская.— Данные этих наук проверены опытом, ежедневно подтверждаются практикой и дают человеку громадную, по сравнению с прошлыми веками, власть над природой, и выбрасывать за борт эти достижения науки было бы смешно и дико». (Слышите, академик Лысенко: смешно и дико! —Е. Д.)

«Имеются на Западе огромные группы ученых, подлинных материалистов по тому делу, которое они делают,— продолжал те же мысли Я. А. Яковлев,— людей, обогащающих человеческое знание крупнейшими открытиями — в то же время искренно верующих в бога. (Вроде столь ненавистного вам монаха Менделя, академик Лысенко.— Е. Д.) Мы были бы слепышами, если бы из-за буржуазных кликуш... продающих свои перья буржуазии, просмотрели ту огромную работу в области естествознания, которая идет на Западе часто вопреки корыстным целям и интересам буржуазии».

Поскольку в этом вопросе, который абсолютно ясен для всякого человека, знающего и понимающего Ленина, было совершено множество антиленинских ошибок, чтоб не сказать резче, я позволю себе привести отрывок из воспоминаний Михаила Николаевича Покровского — заместителя наркома просвещения, ведавшего высшей школой,— «Чем была для Ленина высшая школа».

«Отношение Ленина к высшей школе,— писал М. Н. Покровский,— было образчиком такой мудрой простоты. Рассуждений на ту тему, что в пролетарской школе все должно быть по-особенному — даже и химия не та, и геометрия не та, что в буржуазной школе,— таких рассуждений Ильич органически не переносил. Первый совет, который я от него услышал, звучал совсем по-староверчески, до неприличия консервативно, можно сказать: «Ломайте поменьше!» Это было в те горячие дни, когда количеством лома некоторые горячие товарищи меряли достоинство советского работника. А Ильич говорил: «Чем меньше наломаешь, тем лучше». ...Ленин ценил в науке, конечно, не ее буржуазную оболочку, а ее пролетарскую сущность. В противоположность людям, которые убеждены, что пролетариат должен выдумывать «свою» науку, Ленин считал весь буржуазный инвентарь, включая и науку, достоянием победителя — пролетариата. Умей использовать этот инвентарь, и высшая школа будет твоя; а как пользо-

ваться — присмотрись к старым хозяевам; они инвентарь построили и знают все его секреты: умей в них проникнуть».

Вот так-то, Трофим Денисович!

«Пролеткульт» явился в данном случае скорее поводом к полемике, чем основным противником, против которого был направлен удар. Этот основной противник действовал на гораздо более широком фронте, чем всяческие студии и драматические кружки, в которых выращивалось «пролетарское искусство». То, что в «Пролеткульте» было подлинно талантливо, от него ушло, остальное — распалось. Но питавшие его догматизм, начетничество, узколобость, сектанство оказались весьма живучи. Поэтому, хотя приведенные мною цитаты и по количеству, и по размерам давно вышли за пределы лимитов, допускаемых самыми снисходительными литературными канонами, я позволю себе привести еще одну обширную цитату.

Это — выдержка из резолюции Двенадцатой Всероссийской партийной конференции, происходившей в августе двадцать второго года, последней партийной конференции, в подготовке решений которой принимал непосредственное участие Ленин.

В резолюции конференции по вопросу «Об анти-советских партиях и течениях» сказано:

«Более, чем когда бы то ни было, партийным организациям в настоящее время необходимо проявить дифференцированное отношение к каждой отдельной группе (или даже отдельному лицу) представителей науки, техники, медицины, педагогики и пр. и т. п. По отношению к действительно беспартийным элементам из среды представителей техники, науки, учительства, писателей, поэтов и т. д., которые хотя бы в основных чертах поняли действительный смысл совершившегося великого переворота, необходима систематическая поддержка и деловое сотрудничество».

И шестидесятилетние, и пятидесятилетние, и сорокалетние о многом подумают, многое вспомнят, когда прочтут эти строки, когда узнают, что Ленин требовал: партия должна делать все, что от нее зависит, для того чтобы помочь кристаллизации тех течений и групп, которые обнаруживают действительное желание помочь рабоче-крестьянскому государству. На-

чая от столицы и кончая уездным городом, партия должна терпеливо, систематически и настойчиво проводить эту линию...»

Разумеется, это относилось к людям, которые не вели активной борьбы против Советской власти. Тем, кто эту борьбу продолжал, пролетарская диктатура не могла не давать отпор. Но если человек честно сложил оружие, ему давали жить, работать, не преследовали, не корили прошлым.

Даже о тех, кто так недавно поднял опаснейший для Советской власти мятеж, Ленин сказал: несчастные кронштадтцы весны 1921 года...

8

Когда год за годом, месяц за месяцем я перебираю прошлое, осень двадцать второго года встает в моей памяти как один из самых светлых и счастливых периодов во всей моей жизни.

И это не потому, чтоб мне или окружающим жилось легко и спокойно. Трудностей всяческих оставалось до черта. По-прежнему дома отапливались в основном «буржуйками». По-прежнему важнейшую часть пищевого рациона составляла «жареная H₂O». По-прежнему в зимние холода мы одевались по принципу «капусты»: кофта на кофте, рубашка на рубашке, «сорок одежек и все без застежек». По-прежнему существовали «язвы нэпа». По-прежнему в Москве и других городах имелись «улицы человеческого горя», где на биржах труда тысячи и тысячи безработных месяцами ждали хоть какой-нибудь работы.

Только что был взят Владивосток и окончательно завершена гражданская война. Но почти в тот же день в Италии власть перешла к Муссолини — черному дуче, рядом с которым несколько лет спустя вырос коричневый фюрер. Деревня стала оправляться от голода, «Помгол» (Комиссия помощи голодающим) был ликвидирован и вместо него создан «Последгол» (Комиссия по борьбе с последствиями голода). Но отовсюду приходили сообщения, что голод и разорение дали резкий толчок процессу дифференциации крестьянства. В канун нэпа деревня была в основном середняцкой, теперь в ней отчетливо обозначились два полюса — кулаки и беднота.

Жизнь, как всегда, шла в сталкивающихся и убегающих друг на друга противоречиях. Но над всем этим господствовала та глубокая уверенность в будущем, которая составляет один из важнейших компонентов человеческого счастья. И огромнейшую роль в создании такого настроения играло, конечно, то, что Владимир Ильич вернулся к работе: мы ведь не знали и не понимали характера его болезни и нам казалось, что он будет с нами если и не вечно, то необозримо долго.

И такое же светлое чувство возникает у меня, когда я читаю и перечитываю газеты того времени.

В них интересны не столько статьи, сколько очерки, зарисовки, репортерские заметки, сообщения с мест, в которых свежо и остро чувствуется все своеобразие той неповторимой эпохи, — приветственная телеграмма конгрессу Коминтерна от граждан села Розы Люксембург, Интернациональной волости Калужского уезда, той же губернии; виды на урожай в деревне Декабристов, бывшей Язва; призыв: «Слушайте, слушайте симфонию труда», сопровождаемый расшифровкой звуков, из которых слагается эта симфония: звон топоров, удары молотков, песня пилы, шипение раскаленных заклепок, шорох приводных ремней, конское ржанье и скрип телег, перестук каблуков каменщика, избегающего с «козой» по строительным лесам.

Корреспондент, побывавший в деревне, начинает свой очерк словами: «Над страной стоит веселый запах — запах дегтя, овчины, навоза и широких полей». В письме из Каширы рассказывается, как во время строительства электростанции, когда захудалые крестьянские лошаденки перестали справляться с подвозом материалов, было решено пригнать из калмыцких степей табун диких коней, и как коммунист Эглит вместе с товарищами проделал тысячеверстный путь, таща на арканах этих злобных, кусающихся, лягающихся, брыкающихся дьяволов.

Сколько неожиданного и удивительного открывают страницы старых газет! Вот заметка: «Внимание лечебницам воздушных коней». Что это за кони? Оказывается, самолеты и речь идет о создании ремонтных мастерских. Другая заметка: «Проложим путь для железных коней». На этот раз конь — автомобиль и автор заботится о прокладке и починке шоссе и грунтовых дорог. Коням (к сожалению, не столько тем, что в поле и на конюшне, а тем, что в метафорах)

вообще везет: их вспоминают по всем и всяческим поводам — и комсомольцы, обобщая философию эпохи, распевают во всю силу молодых глоток:

Скачут дни галопом, галопом,
Мы наших дней кучера, кучера.
Нынче мы на скачках с Европой,
Наш конь «Сегодня», ее — «Вчера»...

И тут же о том, что открывает пути в будущее и что казалось тогда уже осуществленным чудом.

Об авиации.

«Первый воздушный рейс Петроград — Москва и обратно. В наш век экономии времени, при все повышающихся требованиях ускорения средств сообщения... Несомненно, что наши дети будут «крылатые люди»... Четырнадцатого и семнадцатого июня был совершен исключительный по своим результатам перелет Москва — Петроград и обратно... В семь часов одну минуту самолет поднялся на Ходынском аэродроме... После трех часов пятидесяти четырех минут непрерывного полета благополучно опустился в Петрограде... Семнадцатого июня с теми же лицами поднялся в Петрограде и после четырех часов двадцати трех минут сел на Ходынском аэродроме... Расход бензина на пассажира, считая по рыночным ценам, составил всего лишь одиннадцать миллионов рублей».

О радио.

«Центральной радиотелефонной станцией разослана следующая радиотелеграмма: «Всем, всем, всем! Настройтесь на волну 3000 метров и слушайте. В воскресенье 17 сентября в три часа дня по декретному времени состоится первый радиоконцерт. В программе арии из опер, скрипка, флейта, виолончель. Концерт будет демонстрироваться перед съездом физиков, который происходит сейчас в Нижнем Новгороде».

«Вчерашний радиоконцерт можно было слушать через радиоаппарат (видимо, речь идет о репродукторе), установленный на площади Свердлова. Публики собралась масса. Все были поражены и удивлены, спорили: слышно ли в Африке?»

В одной из статей того времени, размышляя о первых шагах советской промышленности, Г. М. Кржижановский вспомнил паровоз Стефенсона, который с точки зрения техники паровозостроения давно уже стал поря-

дочным уродцем, но тем не менее этим уродцем открылся тот поворот к паровому транспорту, который создал целую новую эпоху отношений между людьми и странами. «Хозяйственное строительство Советской России,— писал Кржижановский,— совершает свой подъем в гору с кучей разнообразных дефектов и в обстановке гигантских вредных сопротивлений. Но именно это строительство является той гранью старого мира и тем провозвестником мира нового, которому уже в наши дни выпало на долю быть «центром энергетики» всего мирового пролетариата».

Какими уродцами с точки зрения сегодняшнего дня выглядят те фыркающие, хрипящие, сопящие, оставляющие позади себя шлейф вонючего черного дыма чудовища, которые тогда в речах и в газетах любовно называли «первыми ласточками советского автомобилестроения»! Завод «Амо» (ныне имени Лихачева) выпускал ежемесячно шесть таких машин и к концу двадцать второго года должен был довести их до десяти. Для того чтобы пустить завод в Филях, который к моменту национализации в восемнадцатом году представлял собой неостекленную каменную коробку, заводские рабочие свезли в Москву с разных концов страны оборудование, закупленное еще до революции и застрявшее в портах и на железнодорожных станциях, перевезли на лошадях, а то просто перетащили волоком от станции до завода (почти за пять верст) около четырехсот тысяч пудов разного груза, сами сконструировали трансмиссии, установили и наладили станки, пустили завод. И когда первый автомобиль был готов, на торжества по этому случаю приехали М. И. Калинин, главком С. С. Каменев, представители многочисленных хозяйственных и рабочих организаций. Был устроен митинг, а после него рабочие завода и гости с этим автомобилем впереди пошли через весь город на Красную площадь:

9

Принося огромные жертвы, обливаясь собственной кровью, российский рабочий класс, в жилах которого текла кровь пугачевцев и разинцев, дедов и прадедов которого секли на барских конюшнях или гнали с бубновым тузом на спине по Владимирке на каторжные ра-

боты в Сибирь, в невиданно короткие сроки поднялся из мрака варварства и самодержавия до положения авангарда человечества. Подобно герою русского народного эпоса, сумевшему поймать жар-птицу и конька-горбунка и завоевать любовь красной девицы со звездой под косою, он завоевал Советскую власть, отстоял ее в героической борьбе, повернул хозяйство на мирные рельсы. И в день седьмого ноября двадцать второго года он вышел на улицы страны, чтоб отпраздновать пятилетие со дня Великой Октябрьской социалистической революции.

С вечера Москву заволокло туманом, но утро встало свежее, светлое, прихваченное легким морозом. Красная площадь была убрана по-новому: в центре ее установлена каменная трибуна, рядом с ней — огромная статуя рабочего у наковальни, с молотом в руке.

Сначала состоялся парад, потом на площадь вступили районы. Они шли с портретами своих героев: Рогожско-Симоновский с портретом замечательного рабочего Сафонова; Хамовнический нес портреты слесаря Брянской железной дороги Шломина, в дни Октября перевозившего оружие из Хамовнических казарм и расстрелянного юнкерами; Красная Пресня несла мемориальную доску с надписью: «Вечная память борцам за революцию».

Было что-то особенное, необыкновенное в этой демонстрации, но что же? Количество участников? Нет, не количество участников, хотя ни одна октябрьская демонстрация не была столь многолюдной. Радостное возбуждение? Тоже нет, хотя никогда не было так весело, так радостно, как в этот раз.

Так что же? Пожалуй то, что почувствовала тогда же наша печать, назвавшая эту демонстрацию «Седьмое ноября перед лицом нэпа».

В этот день рабочий класс своим участием в демонстрации выразил свое отношение к новой экономической политике — этому мудрому маневру, проведенному партией и Советской властью. Он сказал о нем словами, которые начертал на плакатах: «Не сдадим крупную промышленность акулам капитала», «Плечом к плечу с крестьянином — к победе коммунизма», «Нэп-то нэп, да не будь слеп!», «Да здравствует смычка рабочих и крестьян!»

Каждое предприятие, каждый завод — и это тоже

было новым, необычным, — несли эмблемы своего производства: торфяные машины, модель дирижабля, мельницу с вертящимися крыльями, паровоз, пускавший дым, броненосцы, вагоны, печатные машины, белые булки, огромные карандаши. А над всем этим возвышались два огромных парохода с надписями: «Привет штурману мировой революции — товарищу Ленину!»

Демонстрация показала, что рабочие доверяют коммунистической партии защиту своих интересов перед лицом нэпа и убеждены, что она приведет их к победе.

Всем была хороша демонстрация, но было в ней одно темное облачко: Владимир Ильич в этот день был болен и на Красную площадь прийти не смог.

Так грустно думать о том, как он лежал в своей комнате в Кремле, форточка, наверно, была открыта, через нее с Красной площади доносился веселый гул, а у него не было сил, чтоб встать и пойти туда, где ему так хотелось быть!

Уже на другой день, восьмого ноября, Ленин снова весь в работе. Рабочие Стодольской суконной фабрики в Клинцах прислали ему приветственный адрес и отрез на костюм; он выражает им «самые лучшие благодарности и приветы и пожелания», но «по секрету» добавляет, что подарков ему посылать не следует и об этой секретной просьбе просит пошире рассказать всем рабочим. Готовится к докладу на Четвертом конгрессе Коминтерна «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции».

Подготовка эта была сопряжена с особыми трудностями: Владимир Ильич собирался выступать по-немецки. Поэтому он затребовал немецкое издание стенограмм Третьего конгресса Коминтерна и своей брошюры о продовольственном налоге, встретился с германскими коммунистами, побывал у Клары Цеткин в общежитии работников Коминтерна, где она тогда жила.

То смеясь, то плача от счастья, Клара забросала Владимира Ильича вопросами по поводу его здоровья. Он коротко ответил, что чувствует себя вполне хорошо, болеть больше не хочет, да и некогда болеть,

и перешел к разговору о германских делах. Потом со своим прежним веселым смехом, в котором звучало так много доброты, рассказал Кларе про письмо, которое ему прислали ребята из какого-то детского дома: они прилежно учатся, каждое утро умываются и моют руки перед едой.

— Вот видите, милая Клара, мы делаем успехи во всех областях, серьезные успехи. Мы учимся культуре, мы умываемся, и даже каждый день... У нас даже дети в деревнях участвуют в воссоздании Советской России. И при этих условиях должны ли мы бояться, что победа будет не на нашей стороне?

Несколько дней спустя Клара слушала доклад Ленина о русской революции, доклад, который запечатлелся в ее памяти как доклад человека, проникнутого железной волей к жизни и творческому созиданию.

Ленин сказал, что после долгой болезни он не в состоянии сделать большого доклада и из обширной темы «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции» берет только небольшую ее часть — вопрос о новой экономической политике, который является важнейшим теперь вопросом («важнейшим, по крайней мере, для меня, — сказал он, — ибо я над ним сейчас работаю»). Принесла ли новая экономическая политика хорошие результаты, или плохие, или же неопределенные?

«Мы одни, без чужой помощи вылезаем», — заметил Ленин и с обычной своей прямоотой сказал, что *«трудности очень велики, еще несколько лет».*

Глупостей масса. Да. Новость пути.

Никакой помощи, напротив.
Аппарат чужой».

Но тут же показал то положительное, что достигнуто благодаря новой экономической политике, и прежде всего упрочение союза между рабочим классом и крестьянством.

«...Крестьянство за один год не только справилось с голодом, но и сдало продналог в таком объеме, что мы уже теперь получили сотни миллионов пудов, и притом

почти без применения каких-либо мер принуждения... — говорил он. — Крестьянство довольно своим настоящим положением...».

Общий же вывод, к которому приходил Ленин после полутора лет новой экономической политики, состоял в том, что первый успех налицо.

А отсюда следовало:

«...значит, успех возможен...

Система не произвольна, не путаная,
практически испытана...

Поэтому

перспективы превосходны.

И будут еще лучше, если

и мы следующее пятилетие возьмем **главным образом** на учение...»

Утром тринадцатого ноября, когда должен был выступать Ленин, зал заседаний конгресса был переполнен. Между высокими колоннами Андреевского зала собрались представители пятидесяти восьми коммунистических партий, международных профсоюзных, женских и молодежных организаций.

— Да, мы будем помнить день, когда Ленин говорил с нами! — восклицает присутствовавший на конгрессе немецкий писатель Артур Голичер.

Ленин вошел через боковой вход и пробрался к трибуне.

— Поспешно поднявшись на трибуну, — вспоминает Голичер, — он вынул свои записи, вытащил платок, отер лоб, с нетерпением посмотрел на зал, ожидая, когда кончится овация.

Германские делегаты, недвижимые, бледные, стояли стеной. Потом запели «Интернационал».

— Я никогда не слышал подобного исполнения нашей старой боевой песни, — пишет Голичер. — Слова, много раз слышанные, много раз петье, неожиданно наполнились новым смыслом...

Мгновение спустя «Интернационал» пел уже весь зал, на всех языках мира.

Наконец Ленин смог начать говорить.

Во всей полноте ощущали мы непреодолимую мощь его слов, вспоминает Франсиско Пинтос, делегат конгресса от Уругвая, несмотря на усталость и общее физическое недомогание, подчеркиваемое всем его видом,

его голос и жесты были полны необычайной силы и бодрости.

Ленин говорил легко, свободно. Лишь изредка ему не хватало нужного слова, тогда он быстро спрашивал его у товарища, стоявшего у подножия трибуны. Порой ему подсказывали из первых рядов зала, но он почти не пользовался посторонней помощью и сам искал и находил острые выражения, ясно и точно формулировавшие его мысли.

«У него нет привычки некоторых знаменитых ораторов говорить словно в воздухе, не обращая ни к кому,— писал Голичер.— Он говорил для каждого отдельного человека, будто он хочет получить дружеский отклик от каждого в отдельности... Отсвет радости, довольства хорошими сторонами жизни внезапно пробегает по его лицу. Это веселое выражение лица знакомо каждому, кому приходилось слушать Ленина».

Неделю спустя Владимир Ильич выступил с речью на пленуме Моссовета. Последней своей речью.

В корреспондентском отчете, напечатанном в «Правде», говорится, что появление на сцене Большого театра В. И. Ленина, который приехал на заседание, когда повестка дня была исчерпана, встретили горячими аплодисментами, перешедшими в долго не смолкавшую овацию. Со всех сторон снова и снова неслись восклицания: «Да здравствует вождь мировой революции!», «Да здравствует товарищ Ленин!»

В зале присутствовала Екатерина Михайловна Ямпольская, работавшая в то время в Московском комитете партии. Ей досталось место в оркестре, как раз напротив трибуны, с которой выступал Ленин, так что она видела его совсем близко и могла следить за каждым его движением, за каждым изменением в выражении лица.

Много раз уже она его слушала — и сейчас ее поразило, что Владимир Ильич, так не любивший оваций, в этот раз был счастлив. Не перелистывал, как обычно это делал, свои бумаги, не поглядывал на часы, не выражал всем своим существом нетерпения. Нет, он с радостью смотрел на зал блестящими глазами глубоко счастливого человека. А потом заговорил — страстно, сильно, убежденно.

Это была та самая речь, которую Ленин закончил пророческими словами:

«Из России нэповской будет Россия социалистическая!»

О, если б воспоминания товарищей, слышавших тогда речи Ленина, были бы только рассказом о проявленном им величии ума, духа, воли!

Увы, это не так! Человек, к которому, как писала Клара, «смерть уже беспощадно простирала свои костлявые руки».

Франсиско Пинтос, слова которого мы уже приводили, рассказывает: «...У него был вид человека, перенесшего серьезную и длительную болезнь; давала себя знать усталость, и крупные капли пота показывались на лбу и на висках».

В памяти Екатерины Михайловны Ямпольской тоже сохранилась мучительная картина: мелкий бисер пота, который непрерывно проступал на лбу и на лице Владимира Ильича во время его выступления в Московском Совете и скатывался крупными каплями, напоминавшими слезы.

И в таком состоянии он произнес речь, о которой слышавшие ее в один голос говорят, что она была «исключительно жизнерадостной, воодушевляющей, оптимистичной»!

Впрочем, тут не нужны ничьи свидетельства, достаточно самому перечитать последние речи Ленина.

Мы видели глазами современников, каким был Ленин во время своих последних выступлений тринадцатого и двадцатого ноября, видели, как он устал, как был болен. Но, несмотря на это, он продолжал работать: председательствовал на заседаниях СТО и Совнаркома, провел совещание Бюро делегации нашей партии на IV конгрессе Коминтерна, имел множество встреч и бесед с товарищами по самым разным вопросам, принял уполномоченного АРА полковника У. Гаскелла, уезжавшего в США, передал через него благодарность американскому народу за помощь голодающим.

В эти дни его в последний раз видел В. П. Милютин. Было это то ли на заседании Совнаркома двадцать первого ноября, то ли на заседании СТО двадцать четвертого ноября. Владимир Ильич на нем председательствовал, но почувствовал себя нехорошо и передал председательствование кому-то из товарищей, а сам отошел к окну, около которого стоял Милютин.

Продолжая следить за ходом прений, Владимир Ильич несколько раз повторил: «Weiter... Weiter...» — «Дальше... Дальше...» Милютину казалось, что эти его слова относятся к вопросам, которые стоят на обсуждении. Но вот заседание закончилось, участники его стали расходиться. Владимир Ильич по-прежнему стоял у окна, снова несколько раз повторил: «Weiter... Weiter...»

Только теперь Милютин понял, что Владимир Ильич думает не о том, кому передать десять тракторов, не о повышении железнодорожного тарифа. Он думает о жизни, которая идет. «Weiter... Weiter...» — дальше, дальше...

К концу ноября Владимир Ильич настолько переутомился, что врачи предписали ему неделю абсолютного отдыха.

Это предписание он не выполнил. Не выполнил потому, что как раз в это время подготавливались к окончательному решению два вопроса, которым он придавал исключительное значение для всех дальнейших судеб страны. И уехать в такое время он не мог.

Первым из них был уже известный нам вопрос о монополии внешней торговли, который должен был быть рассмотрен пленумом ЦК, назначенным на середину декабря.

Вторым — так называемый «грузинский вопрос», непосредственно связанный с вопросом об «автономизации».

О том, насколько сильно волновал этот вопрос Ленина, можно судить по следующим его словам:

«Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик.

Летом, когда этот вопрос возникал, я был болен, а затем, осенью, я возложил чрезмерные надежды на свое выздоровление и на то, что октябрьский и декабрьский пленумы дадут мне возможность вмешаться в этот вопрос. Но, между тем, ни на октябрьском пленуме (по этому вопросу), ни на декабрьском мне не удалось быть, и таким образом вопрос миновал меня почти совершенно».

Как и всякий вопрос, он имел свою историю.

Весной двадцать первого года, когда образовались советские республики Кавказа — Азербайджанская, Грузинская, Армянская, Дагестанская, Горская, — Ленин обратился к коммунистам этих республик с письмом, в котором выражал надежду, что их тесный союз «создаст образец национального мира, невиданного при буржуазии и невозможного в буржуазном строе».

Подчеркивая всю необходимость установления на Кавказе национального мира, Ленин в то же время писал: «Но как ни важен национальный мир между рабочими и крестьянами национальностей Кавказа, а еще несравненно важнее удержать и развить Советскую власть, как переход к социализму». И так как Закавказские республики — страны еще более крестьянские, чем Россия, то коммунисты этих республик обязаны проявлять мягкость, осторожность, уступчивость по отношению к мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно к крестьянству.

Снова и снова пишет Ленин в этом письме об особой осмотрительности и осторожности, которые требуются от коммунистов Кавказа для успешного перехода к социализму, о том, что они не должны копировать тактику русских коммунистов, а самостоятельно продумывать причины ее своеобразия, применять у себя не букву, а дух, смысл, извлекать для себя уроки. Только так можно похоронить прошлое, возродить край, добиться национального мира, укрепить переход к социализму.

И такой же и, пожалуй, еще большей обдуманности каждого шага требовал Ленин от центрального советского и партийного аппарата, когда дело шло о национальных республиках.

10

Ленин стремился найти такое решение национального вопроса, при котором создавалось прочное единство, сплочение, содружество наций.

«Мы хотим *добровольного* союза наций, — подчеркивал он, — такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой, — такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии».

Такой союз, говорил он, нельзя осуществить сразу, «до него надо доработаться», действуя с величайшим терпением и осторожностью, чтобы дать изжить недоверие, оставленное веками национального гнета. Налет, наскок, нажим в подобном вопросе не могут принести ничего, кроме тяжкого вреда.

Между тем Сталин, который и как генеральный секретарь ЦК партии, и по традиции, сохранившейся с тех времен, когда он был наркомом по делам национальностей, больше, чем кто-либо другой, был причастен к национальной политике партии, вел в этом вопросе линию, которую Ленин охарактеризовал как «торопливость» и «администраторское увлечение».

Первые трещины, разделившие Ленина и Сталина в этом вопросе, пролегли уже давно. Еще в конце двадцать первого года, когда возникла идея федерации Закавказских республик и Сталин всячески форсировал ее претворение в жизнь, Ленин, считая эту федерацию «принципиально абсолютно правильной» и «безусловно подлежащей осуществлению», в то же время полагал ее «в смысле немедленного практического осуществления преждевременной», требующей «известного периода времени для обсуждения, пропаганды и советского проведения снизу». Практике административных решений Ленин противопоставлял энергичную пропаганду идеи федерации и вынесение вопроса на широкое обсуждение рабочих и крестьянских масс.

Сталин сказал, что он согласен с доводами Ленина. Более того, излагая историю этого вопроса в своем докладе на Двенадцатом съезде партии — первом в годы Советской власти съезде партии, в работах которого не участвовал Ленин, Сталин представил дело так, как будто бы именно он предлагал не торопиться с этим, подождать.

Однако в августе двадцать второго года, когда Ленин находился в Горках, комиссия, созданная Политбюро для разработки вопроса о взаимоотношениях РСФСР и независимых национальных республик, приняла предложенный Сталиным проект, в основе которого лежала идея «автономизации» независимых национальных республик, то есть превращения их из независимых в автономные, входящие в состав Российской Федерации.

Этот проект вызвал протесты со стороны ЦК Компартий Украины и Грузии. Но комиссия Политбюро ЦК,

засадавшая под председательством В. М. Молотова, приняла проект «автономизации».

Хотя Сталин на протяжении августа и сентября не раз бывал у Ленина, он не счел нужным поставить Ленина в известность об этом важнейшем вопросе. Лишь после того как Ленин прислал ему записку с просьбой сообщить, как в ЦК решается вопрос о взаимоотношениях между советскими республиками, и после решения комиссии, принявшей проект Сталина об «автономизации», Ленину были посланы материалы по этому делу.

Ленин увидел в идее «автономизации» грубое попрание интересов и прав независимых национальных республик и проявление великодержавного шовинизма. Получив материалы комиссии, он провел ряд бесед со сторонниками и противниками идеи «автономизации» — с Сокольниковым, Сталиным, Мдивани, Орджоникидзе, М. Окуджавой, Думбадзе, Цинцадзе, А. Мясниковым.

Итогом этих бесед и размышлений было письмо, которое Ленин направил Л. Б. Каменеву для членов Политбюро:

«По-моему, вопрос архиважный,— писал он в этом письме.— Сталин немного имеет устремление торопиться...

Одну уступку Сталин уже согласился сделать. В § 1 сказать вместо «вступления» в РСФСР —

«Формальное объединение с РСФСР в союз советских республик Европы и Азии».

Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, «Союз Советских Республик Европы и Азии».

Как видно из этого письма, Ленин надеялся, что со Сталиным можно будет договориться. Однако Сталин на следующий же день после встречи с Лениным разослал членам Политбюро ЦК письмо, в котором квалифицировал позицию Ленина как «национальный либерализм» и возражал против образования союзного Центрального Исполнительного Комитета. Понимая, что ЦК партии поддержит Ленина, он все же переработал проект комиссии, внес в него поправки в духе предложений Ленина, но тут же оговорил, что этот новый проект представляет собой лишь «несколько измененную, более точную формулировку» старого.

К этим дням относится следующий обмен записками:

Каменев — Сталину: Ильич собрался на войну в защиту независимости.

Сталин — Каменеву: Нужна, по-моему, твердость против Ильича.

Ленин чувствовал продолжающееся сопротивление Сталина и предполагал, что на пленуме ЦК вопрос будет рассмотрен, как он любил говорить, «до самого доньшка». Но он не смог присутствовать на пленуме, у него страшно разболелся зуб. О том, каково было его настроение в эти дни, говорит его записка на имя Л. Б. Каменева:

«Т. Каменев! Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами».

Пленум ЦК полностью поддержал позицию Ленина — и в конце декабря на Первом Всесоюзном съезде Советов был образован Союз Советских Социалистических Республик.

Идея «автономизации» была похоронена. Но, как и всякое проявление великодержавного шовинизма, она вызвала обострение местного национализма. Особенно резкие формы это обострение приняло в Грузии и привело к возникновению так называемого «грузинского вопроса».

Размышляя о том, как и почему «грузинский вопрос» приобрел чрезвычайную остроту, Ленин писал: «Видимо, вся эта затея «автономизации» в корне была неверна и несвоевременна... Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина, а также его озлобление против пресловутого «социал-национализма». Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль».

Положение осложнялось тем, что в споре были не правы обе стороны — и Сталин, и грузинские коммунисты, что обе стороны проявляли озлобление и взаимное ожесточение.

После советизации Грузии Ленин в письме коммунистам советских республик Кавказа предупредил их о необходимости особо осторожной политики в условиях — и внутренних, и международных, — в которых им приходится действовать.

Некоторые грузинские коммунисты поняли эту осторожность весьма расширительно. Так, например, таможенная граница в Грузии проходила не там, где государственная, то есть не на линии, отделяющей Советскую Грузию от капиталистического мира, а на границах между Грузией и другими советскими республиками. В грузинских же портах был объявлен портофранко, то есть право свободного ввоза иностранных товаров с пониженной таможенной пошлиной.

В итоге в Советской Грузии свободно действовали иностранные коммерческие фирмы типа «Сосифрос» («Société Franco Russe»), название которого остро sloвы расшифровывали, как «Соси Франция Россию».

Политика тогдашнего грузинского партийного руководства, возглавляемого Мдивани, способствовала развитию сепаратистских и антисоветских настроений. Чтоб создать ей противовес, Ленин внес предложение о создании Закавказской федерации.

«Важно, чтобы мы не давали пищи «независимцам»,— писал Ленин,— не уничтожали их *независимости*, а создавали еще *новый этаж*, федерацию *равноправных республик*».

Однако после пленума ЦК, на котором было принято решение о создании СССР, сторонники Мдивани потребовали, чтобы Грузия входила в СССР не через Закавказскую федерацию, а непосредственно. Ленин в телеграмме в Заккрайком и ЦК КП Грузии решительно выступил против этой позиции. «Я был убежден,— писал он,— что все разногласия исчерпаны резолюциями пленума *Цека* при моем косвенном участии и при *прямом участии Мдивани*».

Как и всегда в таких случаях, политические разногласия сопровождались резким обострением личных отношений — прежде всего между сторонниками Мдивани и тогдашним секретарем Заккрайкома Г. К. Орджоникидзе. Ленин самым резким образом осудил «брань против *Орджоникидзе*» и назвал весь тон, которым разговаривала группа Мдивани, «неприличным». В то же время Орджоникидзе — человек горячий, пылкий,— сталкиваясь с националистическими искажениями линии партии, не проявил должной гибкости, тактичности, осторожности в проведении национальной политики партии в Грузии. А Сталин, который, как генеральный секретарь ЦК, обязан был поправить Орджоникидзе, наоборот, еще больше его подогревал.

В итоге дошло до того, что Орджоникидзе, оскорбленный одним из сторонников Мдивани, ударил его, в ответ на это большинство ЦК КП Грузии, поддерживавшее Мдивани, подало в отставку.

Отставка эта была принята Закрайкомом. Дело перешло в ЦК партии. ЦК решил создать комиссию под председательством Ф. Э. Дзержинского для разбора заявления членов ЦК КП Грузии.

На следующий день дежурный секретарь Н. С. Аллилуева записала в дневнике:

«Владимир Ильич нездоров... Мария Ильинична [Ульянова] сказала, чтобы его ничем не беспокоить — если сам запросит об ответах — то запросить кого следует. Приема никакого, поручений пока никаких. Есть два пакета от Сталина и Зиновьева — об них ни гу-гу, пока не будет особого распоряжения и разрешения».

11

В последующие дни, как это видно из записей дежурных секретарей, Владимир Ильич продолжал много работать, но большую часть времени дома, а не в кабинете, куда он заходил по два-три раза в день, но оставался недолго, по часу, по полтора.

Вечером тридцатого ноября Владимир Ильич позвонил В. В. Адоратскому и позвал его к себе. Он хотел посмотреть переписку Маркса и Энгельса, которую Адоратский готовил к печати.

Адоратский пришел к нему около восьми вечера. В зале заседаний Совнаркома горела одна лампа, и зал был пуст, там не было никого, кроме дежурной сотрудницы секретариата. В кабинете Владимира Ильича было светло. Он сидел на своем обычном месте за столом, на вид был бодрым и оживленным, но с грустью сказал, что он теперь полуинвалид и не может уже работать, как прежде.

При этом он сделал движение сжатой в кулак правой рукой, ладонью вверх, словно держа в руках вожжи и правя, потягивая их к себе. Энергия этого движения находилась в некотором противоречии со словами Владимира Ильича.

Потом разговор перешел на литературные дела. Адоратский показал чистые листы переписки, Владимир

Ильич пробежал глазами заключительную часть вводной статьи и весело смеялся по поводу письма Энгельса, который советовал Марксу пить вино, чтобы сохранить свой пыл...

В эти дни Владимир Ильич несколько раз спрашивал секретарей, не слышно ли о возвращении Дзержинского, выехавшего в Тифлис, с нетерпением ждал его возвращения. Чувствовал он себя неважно. Врачи требовали, чтоб он уехал на несколько дней в Горки, но он все откладывал отъезд.

Примерно в это время у него побывала Мария Федоровна Андреева.

Владимир Ильич всегда восхищался ею, называл «Феномен», переписывался с ней. Особенно тесной была их дружба в годы, когда Мария Федоровна, которая была тогда женой А. М. Горького, жила вместе с Горьким на Капри.

«Я пришла к нему говорить о кинематографе,— писала М. Ф. Горькому, рассказывая о последней своей встрече с Владимиром Ильичем,— он очень интересовался этим и считал важным вопросом наладить производство у нас.

По обыкновению я волновалась, горячилась, он долго что-то слушал, а потом вдруг говорит: «Какая вы еще, Мария Федоровна, молодая! Даже румянец во всю щеку от волнения... Краснеть не разучились. А вот я — уставать стал. Сильно уставать». И так мне жалко его стало, так страшно.

Мы крепко обнялись с ним, и я почему-то заплакала, а он тоже, отирая глаза, стал укорять меня и убеждать, что это очень плохо.

Так, значит, больше и не пришлось увидеться...»

Видно, не случайно именно в эти дни Ленин попросил своего библиотекаря Шушанику Никитичну Манучарьянц оставить на полке книгу Энгельса «Политическое завещание».

Вечером седьмого декабря Владимир Ильич уехал в Горки. Каждый день звонил оттуда — передавал запросы, поручения секретарям. Утром двенадцатого вернулся в Москву. В тот же день принял приехавшего из Тифлиса Дзержинского.

Комиссия Дзержинского признала политическую линию Заккрайкома правильной и сочла необходимым

отозвать из Грузии Мдивани, Махарадзе, Кавтарадзе и Цинцадзе.

Ленин работой комиссии остался недоволен. «Из того, что сообщил тов. Дзержинский, стоявший во главе комиссии, посланной Центральным Комитетом для «расследования» грузинского инцидента, я мог вынести только самые большие опасения»,— писал он потом. Будучи не согласен с выводами комиссии, он считал необходимым «доследовать или расследовать вновь все материалы комиссии Дзержинского на предмет исправления той громадной массы неправильностей и пристрастных суждений, которые там несомненно имеются. Политически-ответственными за всю эту поистине великорусско-националистическую кампанию,— писал он,— следует сделать, конечно, Сталина и Дзержинского».

Дзержинский пробыл у Владимира Ильича с шести вечера до шести часов сорока пяти минут. От него Владимир Ильич узнал о грубости, допущенной Орджоникидзе (потом он называл этот поступок Орджоникидзе то «инцидент», то «биомеханика»). Это произвело на него самое удручающее впечатление. Особенно горько было ему потому, что он очень любил Серго Орджоникидзе, которого знал и по загранице, и по работе в России.

После Дзержинского Владимир Ильич принял нашего торгпреда в Германии Б. С. Стомонякова и разговаривал с ним о монополии внешней торговли.

В восемь часов пятнадцать минут он ушел из своего кабинета. Ушел в последний раз.

Утром тринадцатого декабря Владимир Ильич почувствовал себя плохо. В этот день у него опять был приступ болезни.

Месяца полтора спустя он сказал Л. А. Фотиевой:

— Накануне моей болезни Дзержинский говорил мне о работе комиссии и об «инциденте», и это на меня очень тяжело повлияло.

12

Утром тринадцатого декабря к Владимиру Ильичу были вызваны врачи, которые категорически потребовали, чтоб он немедленно же бросил всякую работу. Он никак с ними не соглашался, спорил.

«С большим трудом,— записано в истории болезни

Ленина,— удалось уговорить Владимира Ильича не выступать ни в каких заседаниях и на время совершенно откатиться от работы. Владимир Ильич в конце концов на это согласился и сказал, что сегодня же начнет ликвидировать свои дела».

Но дав такое обещание, он в этот день, в который у него было два приступа болезни, продиктовал:

письмо в ЦК РКП(б) с вторичным протестом против решения Политбюро от 7 декабря об активном меньшевике Н. А. Рожкове, которому Политбюро разрешило проживать в Москве, с чем Ленин был категорически несогласен и настаивал на том, чтоб Рожков оставался жить в Пскове;

письма М. И. Фрумкину, Б. С. Стомонякову и Л. Д. Троцкому о предстоящем обсуждении на пленуме ЦК РКП(б) вопроса о монополии внешней торговли;

письмо Л. Б. Каменеву, А. И. Рыкову и А. Д. Цюрупы, которые должны были замещать его во время его болезни в работе Совнаркома и СТО, о распределении их обязанностей;

письмо И. В. Сталину для пленума ЦК РКП(б) о монополии внешней торговли.

Уже сам этот перечень показывает, что вопросом, который наиболее остро волновал Ленина в этот день, был известный нам вопрос о монополии внешней торговли.

Как мы помним, после октябрьского пленума ЦК Ленин предложил отсрочить окончательное решение этого вопроса до следующего пленума. Н. И. Бухарин продолжал настаивать на отмене монополии. Г. Е. Зиновьев заявил, что он «решительно против пересмотра решения, принятого пленумом», и голосует «против всякого пересмотра». И. В. Сталин писал членам ЦК: «Письмо тов. Ленина не разубедило меня в правильности решения пленума Цека от 6/Х о внешней торговле... Тем не менее, ввиду настоятельного предложения т. Ленина об отсрочке решения пленума Цека исполнением, я голосую за отсрочку с тем, чтобы вопрос был вновь поставлен на обсуждение следующего пленума с участием т. Ленина».

В итоге опросом членов ЦК решено было отложить вопрос до следующего пленума.

«Я буду воевать на пленуме за монополию»,— пи-

сал Ленин в одном из своих писем того времени. Вследствие болезни, трагически совпавшей с кануном пленума ЦК, он лишен был возможности принять участие в работе пленума. Но как бы ни требовали врачи, чтоб он прекратил работу, отказаться от борьбы он не мог.

Преодолевая мучительную головную боль, он продиктовал тринадцатого декабря большое письмо Сталину для пленума ЦК. Пункт за пунктом опроверг доводы, выдвигавшиеся Н. И. Бухариным против монополии, и показал как практическую, так и теоретическую несостоятельность позиции Бухарина, который считал, что вместо монополии внешней торговли нужно установить режим таможенных тарифов. «Бухарин не видит,— писал Ленин,— это самая поразительная его ошибка, причем чисто теоретическая,— что никакая таможенная политика не может быть действительной в эпоху империализма и чудовищной разницы между странами нищими и странами невероятно богатыми».

Свое письмо Ленин направил И. В. Сталину для пленума ЦК, а также Л. Д. Троцкому и В. А. Аванесову. В сопроводительной записке Варлааму Александровичу Аванесову, который был сторонником сохранения монополии внешней торговли, Ленин писал: «...обдумайте получше, что добавить, что убавить, *«как поставить борьбу»*». В письме Троцкому, предлагая ему выступить в защиту «точки зрения о безусловной необходимости сохранения и укрепления монополии внешней торговли», Ленин подчеркнул, что «в этом вопросе уступать нельзя».

В тот день, тринадцатого декабря у Ленина был двухчасовой разговор со Сталиным. Как видно из писем Ленина к Аванесову и Троцкому, Сталин держался прежней своей точки зрения. Но два дня спустя Сталин написал членам ЦК письмо, в котором сообщил об изменении своих взглядов: «Ввиду накопившихся за последние два месяца новых материалов...— писал он,— говорящих в пользу сохранения монополии внешней торговли, считаю своим долгом заявить, что снимаю свои возражения против монополии внешней торговли, письменно сообщенные мною членам Цека два месяца назад».

Но Ленин, видимо, не был твердо уверен в том, что его мнение восторжествовало, ибо уже после заявления Сталина он послал ему письмо для членов ЦК, в котором снова подчеркивал, что он «решительно против

оттяжки вопроса о монополии внешней торговли. Если из каких бы то ни было предположений (в том числе и из предположений, что желательное участие на этом вопросе мое) возникнет мысль о том, чтобы отложить до следующего пленума, то я бы высказался самым решительным образом против, ибо уверен, что Троцкий защитит мои взгляды несколько не хуже, чем я, это — во-первых; во-вторых, Ваше заявление и Зиновьева и, по слухам, также Каменева, подтверждает, что часть членов ЦК изменили уже свое прежнее мнение; третье, и самое главное: дальнейшие колебания по этому важнейшему вопросу абсолютно недопустимы и будут срывать всякую работу».

Так кончился день пятнадцатого декабря, третий день болезни Владимира Ильича.

Он делал все, что было в его силах, чтоб окружающие не замечали его состояния. Л. А. Фотиева в эти дни дважды записала в «Дневнике дежурных секретарей», что настроение Владимира Ильича «по внешности хорошее, шутит и смеется».

Но это было только «по внешности». Его мучили ужасные головные боли. Не помогали ни лед, ни холодные компрессы. После бессонных ночей ему бывало особенно плохо. Чтоб скрасить себе тяжелые утренние часы, он попросил приводить ирландского сеттера Айду — веселого, лохматого рыжего щенка, с которым он играл и которого очень любил.

Врачи настаивали на том, чтоб он уехал в Горки. Он уезжать не хотел. Объяснял это тем, что дорога на аэросанях утомительна, а на автомобиле ехать нельзя. Потом согласился уехать.

Пятнадцатого числа кроме письма о монополии внешней торговли он написал письмо И. В. Сталину для членов ЦК РКП(б):

«Я кончил теперь ликвидацию своих дел и могу уезжать спокойно. Кончил также соглашение с Троцким о защите моих взглядов на монополию внешней торговли. Осталось только одно обстоятельство, которое меня волнует в чрезвычайно сильной мере, — это невозможность выступить на съезде Советов. Во вторник у меня будут врачи, и мы обсудим, имеется ли хоть небольшой шанс на такое выступление. Отказ от него я считал бы для себя большим неудобством, чтобы не сказать силь-

нее. Конспект речи у меня был уже написан несколько дней назад... Такая речь несколько не помешает речи моего заместителя (кого бы Вы ни уполномочили для этой цели), но, думаю, будет полезна и политически и в смысле личном, ибо устранил повод для большого волнения. Прошу иметь это в виду и, если открытие съезда еще затянется, известить меня заблаговременно через моего секретаря».

Владимир Ильич кончил диктовать это письмо в девять часов вечера и отпустил секретаря.

Ночью у него произошел новый приступ болезни. Но и после этого Владимир Ильич использовал утро до прихода врачей, чтобы продиктовать Надежде Константиновне письмо своим заместителям в Совнарком и в СТО, в котором рекомендовал вести краткую стенографическую запись всех решений, чтобы обеспечить согласованность работы и возможность позже продумывать решения, принятые на ходу.

Потом пришли врачи. А вечером этого дня Надежда Константиновна позвонила от имени Владимира Ильича Л. А. Фотиевой и попросила сообщить И. В. Сталину, что выступить на съезде Советов Владимир Ильич не сможет. Кроме того она попросила Л. А. Фотиеву позвонить по поручению Владимира Ильича Емельяну Ярославскому и просить его, чтобы при обсуждении на пленуме вопроса о монополии внешней торговли он записывал речи противников монополии — Бухарина и Пятакова, а по возможности и другие.

Л. А. Фотиева спросила, как чувствует себя Владимир Ильич. Надежда Константиновна ответила, что по виду средне, но вообще сказать трудно.

Восемнадцатого декабря состоялся пленум ЦК. Он признал неизбежность принципа монополии внешней торговли и решил довести свое постановление до сведения Ленина — если это разрешат врачи.

Но и после пленума ЦК что-то в этом вопросе, видимо, тревожило Ленина, ибо двадцать первого декабря он продиктовал Надежде Константиновне письмо Троцкому. Выражая свое удовлетворение тем, что «удалось взять позицию без единого выстрела простым маневренным движением», он предлагал «не останавливаться и продолжать наступление», поставив вопрос на партийном съезде.

Двенадцатый съезд партии, как то предлагал Ленин, подтвердил неизбежность монополии внешней торговли.

Миновала неделя болезни Владимира Ильича. Поздний вечер. В кремлевской квартире тишина. Владимир Ильич лежит в своей комнате, лампа прикрыта газетой.

Надежда Константиновна у себя. Перед ней груда писем. Дверь отворена. Прислушиваясь к каждому звуку в комнате Владимира Ильича, она просматривает письма. От кого ж это письмо, написанное словно бы знакомым, но давно забытым почерком? От Меркулова, от Николая Меркулова, члена петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», на чьей квартире без малого тридцать лет тому назад собирался рабочий марксистский кружок, которым руководил Ленин!

Как же нехорошо получилось, что это письмо пролежало, ожидая ответа, чуть ли не месяц...

«Дорогой товарищ,— пишет Надежда Константиновна,— я теперь совершенно потеряла способность писать письма. На своем веку я их написала не одну тысячу, а теперь нужны совершенно исключительные обстоятельства, чтобы я ответила на письмо. Живешь, как на вулкане...»

В эту минуту в комнате Владимира Ильича слышится легкий шорох. Надежда Константиновна приподнимает голову. Нет, ничего...

«Но Ваше письмо,— продолжает она,— пришло в момент, когда работа не клеится, а поэтому берусь за перо.

Да, с того времени, как мы с Вами встречались, целая жизнь прошла, да притом еще жизнь в такую эпоху, когда месяц можно за год считать. Чего только с тех пор не случилось! Нашу жизнь вы, вероятно, знаете: тюрьма, ссылка, эмиграция, два года жизни в Питере, потом опять эмиграция и, наконец, пять лет революции».

И словно продолжая раздумья над прожитой жизнью, вечером двадцать второго декабря — в тот самый вечер, которому суждено было стать последним рубежом этой прошлой жизни,—она пишет О. К. Витмер, своей старой знакомой еще по временам молодости:

«Почему вы меня жалеете? Мне совсем не плохо жить. Напротив, я очень счастлива, что мне пришлось пережить революцию, очень люблю свою теперешнюю работу, мне очень хорошо жилось в личном отношении.

А если бывают тяжелые минуты, то у кого их нет. Жизнь кипела все годы и била через край. Нет, мне жаловаться не приходится. И если бы начинать жить сначала, я немного хотела бы изменить в ней, так, мелочи».

Как это произошло? Донесся ли из комнаты Владимира Ильича стон? Настала ли там тревожная, страшная тишина?

В ночь с двадцать второго на двадцать третье декабря состояние Владимира Ильича резко ухудшилось. Когда он проснулся, оказалось, что он не может двигать ни правой рукой, ни правой ногой.

То, о чем полгода назад он говорил Григорию Ивановичу Петровскому: «Болезнь у меня такая, что я или стану инвалидом, или меня не станет», — надвинулось вплотную. И тут же возвратилась мысль, которую он тогда высказал Петровскому:

— Но только смотрите, чтобы вождями в ЦК были выбраны такие, которые не допустят раскола партии, обеспечат ее единство. Наше дело верное. К социализму пойдут и другие страны, но если будет раскол в нашей партии, то может быть беда.

Когда к Владимиру Ильичу пришли врачи, первое, о чем он заговорил, была просьба, чтоб ему разрешили продиктовать стенографистке одну вещь, на что нужно пять минут. Его очень волнует один вопрос, сказал он, и он боится, что не заснет. Все это было высказано с таким волнением, что врачи дали согласие.

Владимир Ильич, вызвав М. А. Володичеву, сказал: «Я хочу Вам продиктовать письмо к съезду. Запишите!» Диктовал быстро, но болезненное состояние его чувствовалось.

На следующий день Владимир Ильич выразил желание продолжать диктовку. Врачи запротестовали. Тогда он поставил вопрос ультимативно: либо ему будет разрешено ежедневно, хотя бы в течение короткого времени, диктовать его «дневник», как назвал он свои записи, либо он совсем откажется от лечения.

Врачи вынуждены были уступить: они разрешили Владимиру Ильичу диктовать стенографистке по пять — десять минут в день. Потом, когда он стал чув-

ствовать себя несколько лучше, время диктовки было увеличено до тридцати — сорока минут в день.

14

Так в тот самый день, когда смерть коснулась его ледяным дыханием, Ленин приступил к одному из величайших подвигов своей жизни: он начал диктовать свое политическое завещание.

Рассказывать об этом бесконечно трудно. Посидим минуту, помолчим, подумаем...

Попробуем представить себе, как это было. Четыре стены, в которых он был заперт. Медленную смену зимних дней и ночей. Узкую кровать. Запах лекарств. Затененную тишину. И мертвенную неподвижность правой руки — той руки, которая всю жизнь делала вместе с ним его работу, умела все: и быстро, размашисто проноситься по листам бумаги, набрасывая планы и записывая речи, и необычайно четко нанизывать букву за буквой, цифру за цифрой, когда надо было составлять таблицы, шифровать письма, идущие подпольной почтой, движения этой руки так точно и верно продолжали мысль, высказанную им вслух, то подчеркивая ее отрывистым, рубящим взмахом, то завершая стремительным, зовущим вперед броском. А сейчас эта рука лежала холодная, неподвижная — и лишь слабое биение пульса и легкое покалывание напоминали, что она жива.

В сером свинцовом потоке времени было лишь несколько минут, в которые он мог диктовать. Ради этих минут он теперь жил. Все его силы были напряжены во имя того, чтоб не потерять ни единого драгоценного мгновения, найти самые точные слова и сказать именно то, что необходимо.

Все это требовало от него особого усилия еще и потому, что он никогда не диктовал свои статьи, а писал их сам. После одной из диктовок, пробегаая взглядом расшифрованный текст, он сказал Володичевой, что стенографы всегда его не удовлетворяли, он привык видеть рукопись перед глазами, останавливаться, обдумывать место, где он «увяз», привык ходить по комнате, даже просто убегать куда-нибудь погулять. Ему и теперь часто хочется схватить карандаш и писать самому или вносить исправления.

При этом он вспомнил, как еще в восемнадцатом году пытался диктовать свою статью стенографу Троцкого и при этом, чувствуя, что «вязнет», в смущении «гнал» все дальше и дальше с «неимоверной» быстротой, и как это привело к тому, что ему пришлось всю рукопись предать сожжению, после чего он сел писать сам и написал «Ренегата Каутского», которым остался доволен.

В глубине души он и сейчас, наверное, надеялся, что, быть может, поправится, а пока что старался диктовать так, чтобы сразу же как можно совершеннее выразить свою мысль.

Записи «Дневника дежурных секретарей» велись в делопроизводственной книге для регистрации исходящих бумаг. В ней были сделаны четыре графы: число и время, чье дежурство, поручения, отметки об исполнении.

И сама книга, и расчерчивающие ее графы, и записи, сделанные разными почерками, и сдержанный, порой даже суховатый стиль этих записей — все это выглядит сугубо обыденно, даже канцелярски. Но когда пытаешься своим внутренним зрением увидеть эту книгу, вчитаться в то, что стоит за каждой ее буквой, то словно слышишь бессмертные слова, которые звучат из-за выцветших чернильных строк.

Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня их я набросал...

Та мысль, которая так томила Ленина, что, — как он сказал врачам, — он не мог заснуть, пока ее не запишет, была забота о мерах, которые увеличили бы прочность и устойчивость нашей партии и облегчили бы для нее борьбу среди враждебных государств. В первую голову Ленин считал необходимым увеличить число членов ЦК до нескольких десятков и даже до сотни человек. «...Я думаю, — говорил он, диктуя первую часть «Письма к съезду», — что такая вещь нужна и для поднятия авторитета ЦК, и для серьезной работы по улучшению нашего аппарата, и для предотвращения того, чтобы конфликты небольших частей ЦК могли получить слишком непомерное значение для всех судеб партии».

Первая диктовка была короткой: она продолжалась всего четыре минуты. Владимир Ильич формулировал свои мысли, чтобы вернуться к ним снова, что он и сделал на следующий день.

На следующий же день после первой диктовки Владимир Ильич предупредил М. А. Володичеву: продиктованное вчера (23 декабря) и сегодня (24 декабря) является абсолютно секретным. Подчеркнул это не один раз. Потребовал все, что он диктует, хранить в особом месте под особой ответственностью и считать категорически секретным.

Вообще он был крайне озабочен надежностью хранения и соблюдением полной секретности всего, что он диктовал. М. А. Володичева впоследствии рассказывала, что все статьи и документы, которые были им продиктованы с двадцатых чисел декабря 1922 года до начала марта 1923 года, по желанию Владимира Ильича переписывались в пяти экземплярах: один для него, три для Надежды Константиновны, один в его секретариат (строго секретно). Все это он просил хранить в запечатанных сургучной печатью конвертах, отметив на них, что вскрыть их может только В. И. Ленин, а после его смерти — Надежда Константиновна. Но М. А. Володичева не могла себя заставить сделать такую надпись и слова «а после его смерти» на конвертах не надписывала.

15

Тревога о предотвращении раскола и сохранении единства партии, которой полны были все думы Владимира Ильича Ленина во время его болезни, началась давно, еще накануне Десятого съезда партии. Уже тогда Ленин противопоставил раскольнической фракционности оппозиций высокую идею партийного единства.

Внутрипартийная борьба, так разгоревшаяся во время профсоюзной дискуссии, едва начиналась. Предвидя все опасности и беды, которые могут принести партии трещины в ее единстве, Владимир Ильич возлагал огромные надежды на Контрольную комиссию партии, видя в ней учреждение, которое можно «действительно сделать... настоящим органом партийной и пролетарской совести». Поэтому он предложил Политбюро, чтоб не позже, чем через два дня, было выпущено заявле-

ние о Контрольной комиссии партии — «очень обстоятельное и торжественное».

Два дня спустя, точно в срок, предложенный Лениным, в газетах появилось обращение ЦКК ко всем членам партии, подписанное одним из старейших рабочих-большевиков, М. К. Мурановым:

«Мы призываем вас, товарищи, к дружной работе над самым крупным пролетарским сокровищем — над партией, которую любит, за которую страдает душой, за которую сражается и иногда умирает сознательный коммунист, революционный пролетарий».

Кто-то тогда подсчитал, что на каждого коммуниста, состоявшего в то время в партии, приходится другой коммунист, погибший за ее дело в царских тюрьмах и на каторге, расстрелянный белыми, убитый на фронтах гражданской войны. На каждого живого — один мертвый. Половину своих членов отдала партия за два десятилетия грозной борьбы.

Сколько красоты, героизма, бескорыстия, бесконечной преданности своему делу скрывается за каждой страницей истории нашей великой партии, подлинно самого крупного сокровища, созданной поколениями целевых людей, для которых нет и не может быть противоречия между словом и делом!

Эту партию вырастил, выпестовал Ленин. Как прекрасно сказал В. А. Карпинский, он не только любил ее, он был в нее влюблен. Бесконечно высоко оценивал роль «того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией», и считал, что его громадным, безраздельным авторитетом определяется пролетарская политика партии. Дорожил молодыми партийными поколениями, с удовлетворением отмечал, что «мы за это время накопили много геройских людей, которые закрепили безусловно перелом во всемирной истории».

При этом для Ленина существовали не «прослойка вообще», не «поколение как таковое», — ему дорог был каждый коммунист, каждый член партии, как и каждый гражданин социалистического общества и каждый трудящийся. Будучи абсолютно непреклонным в принципиальных вопросах, он с бесконечным терпением разъяснял товарищам их заблуждения и убеждал их в своей правоте.

В своих воспоминаниях о Владимире Ильиче Мария Ильинична Ульянова говорила, что он «умел бывать и снисходительным к ошибкам товарищей, если их ошибки

и промахи вызывались не злой их волей или нерадением, а особым несчастным стечением обстоятельств. И тогда потерпевший товарищ находил всегда поддержку Ильича и защиту от требовавших более суровых кар по отношению к виновному... И при виде этого новые силы находишь в себе и от ошибок избавляешься лучше, чем при применении строгостей и взысканий,— лучше потому, что такой метод не вызывает озлобления, не приводит к подавленности человека, который и сам сознает свою ошибку».

Одним из выразительнейших примеров этого рода может послужить отношение Владимира Ильича к Михаилу Александровичу Ларину.

На протяжении полутора десятилетий М. А. Ларин был меньшевиком самого ярого толка, в годы реакции активно проповедовал ликвидаторство, стоял на самом правом меньшевистском фланге. В нашу партию он пришел после июльских дней,— это делает ему большую честь, ибо, чтоб объявить себя в то время большевиком, надо было быть настоящим революционером, обладающим огромным мужеством.

Отличительной его особенностью как работника была совершенно неудержимая фантазия, бывшая из него ключом, делавшая его инициатором часто самых невероятных проектов (это по его фантастической идее в конце двадцатых годов была введена в наших учреждениях «непрерывная неделя», превратившая их в совершенный бедлам). Прохаживаясь по его адресу, товарищи вспоминали совет Козьмы Пруткова: «Если у тебя есть фонтан, заткни его, ибо и фонтану отдохнуть надобно». При этом он был умен, остроумен, талантлив. Некоторые мысли его были блистательны. Но и в теории, и в практической работе он был способен так запутать дело, как никто другой.

Владимир Ильич ругал его нещадно. То называл его «отцом» чудовищной путаницы бюджета. То вышучивал на Одиннадцатом съезде партии его неудержимую фантазию: «...я бы сказал так, что, если бы весь запас фантазии Ларина разделить поровну на все число членов РКП, тогда бы получилось очень хорошо».

Так он говорил о Ларине под смех и аплодисменты съезда (заметим в скобках, что ловкие цитатмахиры умудрились выкроить из этих блещущих иронией слов Ленина вполне нравоучительную цитату: «Фантазия

есть качество величайшей ценности») — и в то же время как берег он Ларина, как заботился о нем! Когда Ларин, который был очень большим человеком, отдохнуть и полечиться поехал в Лондон, Ленин писал тогдашнему торгпреду в Англии Л. Б. Красину:

«1: Держите его в Лондоне *как можно дольше*.

2: Если поверите хоть одной его цифре, прогоним со службы.

3. Берегите его здоровье, лечите лучше, назначьте *ответственного* врача.

4. Займите его *длительной литературной* работой по *немецким и английским* материалам (если не знает, выучите английскому языку).

Пункты 1, 3 и 4 провести *особо строго и особо тактично*.

Пункт 2 — *втройне строго*»,

А в другом письме — на имя секретаря ВЦИК Авеля Софроновича Енукидзе — говорил в связи с очередной «напутницей» Ларина: «Хороший парень, — как поэт, как журналист, как лектор. Но мы, дураки, ставим его к законодательной работе, и этим портим, *губим* и его и работу».

И никогда — ни в самом большом гневе, ни в яростнейших спорах, не напомнил, не попрекнул Ларина его меньшевистским прошлым!

Быть может, этот экскурс в область отношения Ленина к М. А. Ларину слишком пространен, но он позволяет нам явственно ощутить, как ценил Ленин каждого коммуниста и как дорого было ему единство и сплочение партии.

Призыв к единству партийных рядов, к обеспечению полного доверия между членами партии, к работе действительно дружной, действительно воплощающей единство авангарда пролетариата властно прозвучал в решениях Десятого съезда партии и в обращении «Ко всем членам партии», принятом вновь избранным на съезде Центральным Комитетом.

«Специальным постановлением съезда, — говорилось в этом обращении, — распушены все обособленные группы, которые, независимо от желания их участников, могли бы при дальнейшем их существовании превратиться в отдельные фракции. Съезд был непреклонен

в своем стремлении положить конец всякой фракционности...

Центральный Комитет призывает всюду на местах немедленно прекратить фракционную борьбу. При выборах и назначениях, при передвижке товарищей с места на место организации должны руководиться только преданностью партии данного товарища, его способностями, его умением подходить к массам.

— «К массам!» — вот главный лозунг X съезда.

А для этого, прежде всего, — старая испытанная большевистская сплоченность и дружная работа всех до единого членов партии на основе решений X съезда Российской Коммунистической партии».

Год спустя, подводя итоги работы партии и итоги ее Одиннадцатого съезда, Ленин говорил:

«...за этот год ЦК с полным правом может сказать, что партия пришла на съезд менее фракционной и более единой, чем в прошлом году. Я не хочу хвастаться, что все фракционное в нашей партии исчезло. Но что этой фракционности стало меньше — это самый бесспорный факт, уже доказанный».

Таково было положение накануне первого приступа болезни Ленина и его длительного отъезда в Горки. Но когда он вернулся в Москву, он столкнулся с новыми фактами — мы не знаем, с какими и вряд ли это вообще можно узнать, — которые заставили его в первом же письме к партийному съезду поставить вопрос о мерах для обеспечения устойчивости нашей партии и ее Центрального Комитета.

16

Второй день диктовки Ленин начал словами:

«Под устойчивостью Центрального Комитета, о которой я говорил выше, я разумею меры против раскола, поскольку такие меры могут быть приняты».

Напомним, что белогвардейцы в их игре против Советской России ставят ставку на раскол нашей партии и видят возможность этого раскола в разногласиях внутри партии, Ленин говорит, что он рассматривает в данном письме устойчивость как гарантию от раскола, с точки зрения ряда «соображений чисто личного свойства».

«Личным свойствам» людей Ленин придавал боль-

шое значение и задумывался над этими свойствами руководящих деятелей партии уже не раз. Г. М. Кржижановский рассказывает, что в последние месяцы своей работы Владимир Ильич «как бы с учетом своего надвигающегося отсутствия» не раз беседовал с ним не о делах, а о лицах и в этих беседах поражал Кржижановского «удивительно отчетливой характеристикой многих из окружающих его лиц».

О людях, их характерах, их взаимоотношениях глубоко задумывался Ленин тогда, когда диктовал свое политическое завещание. Больше всего тревожили его некоторые личные качества Сталина и Троцкого, способные «ненароком привести к расколу».

«Я думаю,— писал он,— что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут...»

«...Троцкий,— продолжал он,— как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватаящийся самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела».

Мы знаем, что Ленин не любил напоминать и почти никогда не напоминал людям об их прошлых политических ошибках. В этом своем «Письме к съезду» он специально подчеркнул, что меньшевизм Троцкого, как и октябрьская ошибка Зиновьева и Каменева, мало могут быть ставимы им в вину лично. Однако, давая характеристику личных качеств Троцкого с точки зрения опасности раскола, он отступил от своего принципа и вспомнил о той борьбе, которую Троцкий вел против ЦК во время профсоюзной дискуссии.

Почему он так поступил?

Видимо, потому, что в этой дискуссии помимо чисто политических моментов раскрылись личные качества Троцкого, которые Ленин считал в высшей степени опасными для партийного руководителя и которые он тогда же, во время дискуссии, отметил в конспекте своей речи «О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого»:

«Не мир, а обострение борьбы», «Позиция Троцкого объективно = поддержке *худшего*, предрассудков, дур-

ных привычек в военной коммунистической среде, а не лучшего», «теоретические неверности», «бюрократическое дерганье»...

О Сталине в своем «Письме к съезду» Ленин сказал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью».

Как долго Сталин был к тому времени генсеком? И сколько времени понадобилось ему, чтобы «сосредоточить в своих руках необъятную власть»?

Всего только восемь месяцев!

Он был избран генеральным секретарем ЦК (такой пост был тогда учрежден впервые) в апреле двадцать второго года. Этому событию никто не придавал особого значения. О нем не упомянули газеты, не говорили на партийных собраниях. Больше того, по мысли Ленина, Сталин, став генсеком, должен был по-прежнему оставаться народным комиссаром Рабоче-крестьянской инспекции.

Когда Сталин вступил в должность генсека, Ленин был уже болен и готовился к отъезду. Лето он провёл в Горках. Правда, Сталин не раз к нему приезжал. Но по-настоящему наблюдать его как генсека Ленин смог только в те два осенне-зимних месяца, когда вернулся в Москву.

Как часто, наверно, бессонными ночами Ленин думал о Якове Михайловиче Свердлове! Вот человек, способный не поддаться обаянию власти, чуждый мелких личных чувств, человек, который, как никто, способен был сплотить партию, пробудить все лучшее, что есть в людях, поднять их на решение величайших исторических задач. Быть может, это был единственный из партийных руководителей той эпохи, кому Ленин спокойно вверил бы руководство самым крупным сокровищем рабочего класса — Коммунистической партией.

«Мне день и ночь покоя не дает...»

Четвертого января Владимир Ильич продиктовал известное добавление к «Письму к съезду»:

«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, комму-

нистами, становятся нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение».

В «Дневнике дежурных секретарей» об этой диктовке не упомянуто ни единым словом.

Три недели спустя в статье «Как нам реорганизовать Рабкрин» Ленин вновь вернулся к вопросу о месте, которое должен занимать генсек в нашей партии.

Предлагая провести реформу ЦКК, пополнив ее значительной группой испытанных рабочих, Ленин писал:

«...Члены ЦКК, обязанные присутствовать в известном числе на каждом заседании Политбюро, должны составить сплоченную группу, которая, «не взирая на лица», должна будет следить за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК, не мог помешать им сделать запрос, проверить документы и вообще добиться безусловной осведомленности и строжайшей правильности дел».

Эта статья Ленина печаталась во всех изданиях Собраний его сочинений. Как нетрудно догадаться, в тех изданиях, которые вышли в годы культа личности Сталина, слова «ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК» неизменно выбрасывались...

Но вот факт, от которого даже после всего, что мы знаем, по коже проходит мороз: они, эти слова, были выброшены из статьи Ленина уже в первой ее публикации — в газете «Правда» двадцать пятого января двадцать третьего года. И это тогда, когда Ленин был жив и напрягал все силы, чтоб продиктовать свое политическое завещание партии!

Предложения Ленина, содержащиеся в записи от двадцать третьего декабря и развитые в его статьях «Как нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше», легли в основу выработанной Центральным Комитетом партии к Двенадцатому съезду РКП(б) резолюции по организационному вопросу. В соответствии с предложениями В. И. Ленина съезд расширил состав ЦК и создал объединенный орган ЦКК — РКК, установив таким образом тесную связь между руководящими органами партийного и государственного контроля.

Что же касается записей от двадцать четвертого — двадцать пятого декабря тысяча девятьсот двадцать второго года и четвертого января 1923 года с характеристикой членов ЦК, то, согласно воле Ленина, они были переданы Н. К. Крупской Центральному Комитету партии уже после кончины Владимира Ильича, за несколько дней до открытия Тринадцатого съезда партии. В протоколе о передаче этих документов Надежда Константиновна писала: «Владимир Ильич выражал твердое желание, чтобы эта его запись после его смерти была доведена до сведения очередного партийного съезда».

Пленум ЦК, состоявшийся двадцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, заслушав сообщение комиссии по приему бумаг В. И. Ленина, постановил произвести оглашение письма Ленина к съезду по делегациям и установить, что эти документы воспроизведению не подлежат.

Оглашение письма Ленина было произведено членами комиссии по приему бумаг В. И. Ленина. При этом Сталин, выступая перед делегациями, говорил, что признает характеристику, данную ему Лениным, правильной и обещает партии, что он исправит свои недостатки и не допустит впредь ни грубости, ни нелояльности по отношению к кому бы то ни было.

Делегаты съезда поверили Сталину. Как писал потом Григорий Иванович Петровский, «тогда никто не мог предполагать, что Сталин не выполнит своих заверений и будет грубейшим образом нарушать ленинские нормы партийной и государственной жизни».

Тяжкой ценой заплатили народ и партия за то, что делегаты Тринадцатого съезда, доверившись обещани-

ям Сталина, не вняли тому, о чем писал Ленин в своем «Письме к съезду».

Были, однако, товарищи, которые считали, что завещание Ленина должно быть, безусловно, выполнено. Было имя, которое называлось как имя человека, способного сменить Сталина на посту генсека, имя Михаила Васильевича Фрунзе.

Каждый, кто присутствовал на Восьмом съезде Советов, наверняка запомнил минуту, когда перед докладом Ленина на сцене появился невысокий, плотно сбитый военный в потертой солдатской шинели, легкий, простой, улыбающийся пленительной доброй улыбкой и как сначала военные делегаты съезда, а за ними весь зал поднялся, бурно приветствуя командующего Южным фронтом, героя Перекопа и Сиваша Михаила Фрунзе.

В чем был источник его обаяния? Почему, когда он погиб, над гробом его прозвучали слова: «Ты был нашей гордостью, нашей надеждой, нашей защитой и нашей радостью»? Почему его так любили, так уважали, так ему верили? Прежде всего потому, что дар выдающегося военачальника сочетался в нем с цельностью характера и талантом товарищества, создававшим вокруг него отрадную атмосферу благородного содружества.

«Пепел Клааса стучит в мое сердце...»

Страшной ценой заплатили народ и партия за то, что делегаты Тринадцатого съезда, доверившись обещаниям Сталина, не вняли совету, который дал Ленин в своем «Письме к съезду». Но мы помним и будем помнить всегда, что коммунизм — это Ленин, это Свердлов, это Фрунзе, это люди самой чистой совести и самых высоких идеалов, какие только могут быть на Земле. Воскрешая в своей памяти чудовищную трагедию тридцать седьмого года, мы видим не только великого инквизитора и презренных палачей, но прежде всего тех, кто был их жертвами — коммунистов и советских людей, чью веру в партию, чью преданность коммунизму не могли сломить ни пытки, ни плаха.

Да будет мера их мужества и верности делу партии, наравне с героическим подвигом, совершенным нашим народом в борьбе против фашизма, мерой того, какими должны быть люди, взращенные партией великого Ленина.

В сосредоточенном раздумье последних статей и писем — весь Ленин: его ум, его сердце, необыкновенная ясность мысли, конкретность и связь великой теории с живой действительностью. Тот Ленин, который, написав у Гегеля: «Известные формы мысли» — важное начало, «безжизненные кости скелета», тут же делает примечание: «Нужно не безжизненные кости, а живая жизнь»!

Сугубо конкретные предложения и брошенные им словно вскользь замечания являются контурами огромного философского замысла. Казалось бы, совершенно частный вопрос о реорганизации одного из восемнадцати народных комиссариатов вырастает в программу партийного и государственного строительства на годы и десятилетия. Проблема отношения к кооперации, с которой было связано прочно установившееся представление о мещанском социализме, становится ареной борьбы творчества против догмы, борьбы, в которой творчество неотразимо доказывает, что кооперация и есть тот единственный путь, на котором каждый мелкий крестьянин сможет участвовать в построении социального общества.

Несмотря на трудности, сопряженные с диктовкой вместо привычного письма, последние статьи Ленина сохраняют присущее ему своеобразие разговорной речи, насыщенной афоризмами, долго звучащими потом в языке нашего поколения: «Лучше меньше, да лучше», «не смотря на лица», «необходимое и достаточное», «прикрыть свои походы, подходы», «пересесть... с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалай... на лошадь крупной машинной индустрии».

Ни словом, ни звуком не выдает Ленин бесконечную горечь прощания с жизнью, которую он так любил. Как и всегда, его духовный взор устремлен в будущее, в завтрашний день истории, который, пророчески предвещает он, будет «днем, когда окончательно проснутся пробужденные угнетенные империализмом народы и когда начнется решительный долгий и тяжелый бой за их освобождение».

В этом своем духовном завещании Ленин словно распространяет над партией, страной, трудовым человечеством свое могучее и теплое крыло и ставит перед ними еще более великие, еще более грандиозные задачи, чем те, которые уже достигнуты и разрешены.

Зачастую мы не можем проникнуть в побуждения внутренней работы Ленина. Почему в холодном ноябре двадцатого года он попросил библиотекаршу достать ему «только на 1 неделю» воспоминания Авдотьи Головачевой-Панаевой? Чем было вызвано летом двадцать первого года его желание перечитать стихи Гейне и гетевского «Фауста» — и притом непременно по-немецки?

Но бывает и так, что мотивы, которыми рождены те или иные желания, ясны. Это относится, в частности, к выраженной им двадцать четвертого декабря двадцать второго года просьбе взять для него в библиотеке книгу Суханова «Записки о революции», тома третий и четвертый.

К этому времени у Владимира Ильича сложился план статей, которые он намерен был продиктовать. Как истый диалектик, он стремится рассмотреть поставленные в них вопросы, как они существуют в живой жизни — в раскрытии противоположных, взаимоисключающих тенденций, противопоставляя свою концепцию, которая дает ключ к «самодвижению», к «скачкам», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и возникновению нового, иной концепции — враждебной ей по духу, мертвой, бледной, сухой концепции меньшевизма.

Выразителем этой второй концепции являлся Суханов. О нем можно было бы сказать словами, которыми великий Данте говорит об ангелах, не принявших участия в восстании Люцифера против бога: «Эти души не возмущались против бога, но и не были ему верны: они оставались в стороне. И вот их гонит небо, чтобы они не оскверняли его своим пребыванием там, но их не признают и глубины ада, ибо осужденные не приобрели бы никакой славы от их присутствия среди них».

Как ненавистны были Ленину с его безбоязненной веселостью бойца эти мелкие души, способные лишь на то, чтобы выводить прихотливые узоры запутанной мысли «нетовыми цветами по пустому полю»! С каким презрением говорит он о трусливости, педантизме, непонимании революционного духа марксизма, его революционной диалектики, обнаруживаемыми всеми героями

Второго Интернационала, в том числе Сухановым. Как издевается он над мнением этих «ученых» господ, утверждавших, что российский пролетариат не должен был брать в свои руки власть, ибо в России

еще не было экономических предпосылок для социализма.

«Если для создания социализма,— отвечал на это Ленин,— требуется определенный уровень культуры... то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а *потом* уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы».

18

Шаг за шагом, вопрос за вопросом разбирает он, выясняя, что же нужно сделать для того, чтоб «двинуться догонять другие народы». Если свести все эти его мысли к некоему единому знаменателю, то этим знаменателем будет: поднять культуру, культуру населения, культуру работы, культуру государственного аппарата и государственного управления.

«Мы должны постараться построить государство, в котором рабочие сохранили бы свое руководство над крестьянами, доверие крестьян по отношению к себе...» — писал Ленин.

«...Наша задача состоит в культурной работе для крестьянства. А эта культурная работа в крестьянстве, как экономическая цель, преследует именно кооперирование. При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве».

«Мы должны свести наш госаппарат до максимальной экономии. Мы должны изгнать из него все следы излишеств, которых в нем осталось так много от царской России, от ее бюрократическо-капиталистического аппарата».

И тогда, заканчивал он свою мысль, «мы будем в состоянии удержаться не на уровне мелкокрестьянской страны, не на уровне этой всеобщей ограниченности, а на уровне, поднимающемся неуклонно вперед и вперед к крупной машинной индустрии.

Вот о каких высоких задачах мечтаю я...».

Вот о каких высоких задачах мечтал смертельно больной Ленин.

Мечтал вопреки бесконечным страданиям, причиняемым ему болезнью.

Мечтал, хотя понимал, что с каждым днем приближается к рубежу, за которым кончается жизнь.

— Вот, говорят, и Мартов тоже умирает,— сказал он в один из этих дней Надежде Константиновне. «То же»! Значит, Ленин знал, что он умирает.

Мечтал, несмотря на то, что были в его тогдашней жизни обстоятельства, бесконечно усугубившие страдания, связанные с болезнью и сознанием близкого конца.

Двенадцатого февраля Л. А. Фотиева записала в «Дневнике дежурных секретарей»:

«Владимиру Ильичу хуже. Сильная головная боль. Вызвал меня на несколько минут. По словам Марии Ильиничны, его расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Ферстер накануне сказал, что ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация. На вопрос, что он понимает под последним, Ферстер ответил: «Ну, вот, например, Вас интересует вопрос о переписи советских служащих». По-видимому, эта осведомленность врачей расстроила Владимира Ильича. По-видимому, кроме того у Владимира Ильича создалось впечатление, что не врачи дают указания Центральному Комитету, а Центральный Комитет дал указания инструкции врачам».

19

В декабре, когда Владимир Ильич заболел, пленум ЦК специальным постановлением возложил на И. В. Сталина персональную ответственность за соблюдение режима, установленного для Ленина врачами. Неделю спустя, когда Владимир Ильич потребовал, чтоб ему разрешили хотя бы в течение короткого времени диктовать его «дневник», на совещании И. В. Сталина, Л. Б. Каменева и Н. И. Бухарина с врачами решено было предоставить Владимиру Ильичу право диктовать ежедневно пять — десять минут, но так, чтоб это не носило характера переписки и чтобы на записки Владимир Ильич не ждал ответа. Свидания запрещаются. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы

этим не давать материала для размышлений и волнений.

Возможно, что для обычного больного такой режим суровой изоляции был целесообразен. Но оправдан ли был он для такого человека, каким был Ленин?

Все, что мы знаем о том, как относился Владимир Ильич к установленному для него режиму, свидетельствует, что он считал этот режим неправильным и даже вредным. Свидетельством тому — его ультимативное требование о разрешении диктовки, иначе он откажется от лечения, упорно делавшиеся им (порой безуспешно) попытки обойти режим и что-нибудь разузнать, отчетливая зависимость его состояния от удач и неудач в получении информации и от надежд на ослабление «режима».

Из записи Л. А. Фотиевой в «Дневнике дежурных секретарей»:

«3 февраля. Владимир Ильич вызывал в 7 ч. на несколько минут. Спросил, посмотрели ли материалы... Спросил, был ли этот вопрос на Политбюро. Я ответила, что не имею права об этом говорить. Спросил: «Вам запрещено говорить именно и специально об этом?» — «Нет, вообще я не имею права говорить о текущих делах». «Значит, это текущее дело?» Я поняла, что сделала оплошность...».

В этом разговоре речь идет о материалах по «грузинскому вопросу», которые Владимир Ильич за неделю до того поручил Л. А. Фотиевой запросить у Дзержинского или Сталина и детально изучил совместно с М. И. Гляссер и Н. П. Горбуновым. Когда Л. А. Фотиева спросила о них, Сталин ответил, что без Политбюро дать их не может.

Сталин спросил Фотию, не говорит ли она Владимиру Ильичу чего лишнего, откуда он в курсе дел? Например, его статья об РКИ указывает, что ему известны некоторые обстоятельства.

(Это та самая статья «Как нам реорганизовать Рабкрин», из которой при публикации ее в «Правде» еще до разговора Сталина с Фотиевой были выкинуты слова «ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК».)

Фотиева ответила, что нет, она Ленину ничего не говорит и не имеет оснований думать, что он в курсе дел.

Затем Л. А. Фотиеву вызвал Владимир Ильич. Спросил об ответе Сталина. Сказал, что будет бороться за то, чтоб материалы были выданы.

Когда вопрос стоял на Политбюро, между Сталиным и Каменевым произошел обмен записками.

Каменев Сталину: «Думаю, раз Владимир Ильич настаивает, хуже будет сопротивляться».

Сталин Каменеву: «Не знаю. Пусть делает по своему усмотрению».

И тут же попросил освободить его от обязанности наблюдения за ходом лечения Ленина. Политбюро ответило отказом.

Вечером того же дня Владимир Ильич вызвал к себе Фотиеву. Она сообщила ему, что Политбюро разрешило выдать материалы. По его указанию она составила список вопросов, на которые следует получить ответы при работе над этими материалами:

1. За что старый ЦК Грузии обвинили в уклонизме?
2. Что им вменялось в вину, как нарушение партийной дисциплины?
3. За что обвиняют Заккрайком в подавлении ЦК КП Грузии?
4. Физические способы подавления («биомеханика»).
5. Линия ЦК РКП в отсутствие Владимира Ильича и при Владимире Ильиче.
6. Отношение комиссии. Рассматривала ли она только обвинения против ЦК КП Грузии или также и против Заккрайкома? Рассматривала ли она случаи биомеханики?
7. Настоящее положение (выборная кампания, меньшевики, подавление, национальная рознь).

Затем Владимир Ильич добавил:

— Если бы я был на свободе...

(Передавая этот разговор, Л. А. Фотиева поясняет: «Сначала, видимо, оговорился, а потом повторил, смеясь...»)

Итак, Владимир Ильич повторил, смеясь:

— Если бы был на свободе, то я легко бы все это сделал сам...

Что-то невесело звучит этот смех. Что-то похоже скорей на то, что Владимир Ильич не оговорился, а проговорился о том, что было у него на душе.

В первой половине февраля Владимир Ильич стал чувствовать себя несколько лучше. Мария Игнатьевна

Гляссер, которая пятого февраля видела его в первый раз после болезни, записала в «Дневнике секретарей»: «Выглядит, по-моему, хорошо и бодро, только несколько бледнее, чем раньше. Говорит медленно, жестикулируя левой рукой и перебирая пальцами правой». М. А. Володичева, записав на следующий день рассказ Владимира Ильича о том, как он попробовал когда-то диктовать свою брошюру «Ренегат Каутский», добавила: «Обо всем этом Владимир Ильич говорил очень весело, смеясь своим заразительным смехом. Такого настроения я еще у него не наблюдала». Седьмого февраля постоянно наблюдавший за Владимиром Ильичем доктор А. М. Кожевников сказал, что в здоровье Владимира Ильича громадное улучшение. Он уже двигает рукой и сам начинает верить, что будет владеть ею.

Но уже на следующий день произошло ухудшение. Диктуя М. А. Володичевой статью «Лучше меньше, да лучше», Владимир Ильич в одном месте остановился и, когда М. А. Володичева сказала, что он скоро сам сможет писать, ответил: «Ну, это когда еще будет». Голос был усталый, с болезненным оттенком. Десятого февраля Л. А. Фотиева записала: «Вид усталый, говорит с большим затруднением...» Вечером четырнадцатого февраля он вызвал Фотию, снова был усталый, затруднялся речью. Говорил о своих поручениях. Прежде всего о том, которое его особенно волновало, — о грузинском вопросе.

Запись Л. А. Фотиевой от десятого февраля.

«Указания Владимира Ильича: намекнуть Сольцу¹, что он (В. И. Ленин. — Е. Д.) на стороне обиженного. Дать понять кому-либо из обиженных, что он на их стороне.

3 момента: 1. Нельзя драться. 2. Нужны уступки. 3. Нельзя сравнивать большое государство с маленьким.

Знал ли Сталин? Почему не реагировал?

Название «уклонисты» за уклон к шовинизму и меньшевизму доказывает этот самый уклон у великодержавников.

Собрать Владимиру Ильичу печатные материалы».

¹ А. А. Сольц — секретарь партколлекции ЦКК.— *Ред.*

В этот день Владимир Ильич сказал Л. А. Фотиевой, что болезнь его нервная и такова, что иногда он бывает совершенно здоров, то есть голова совершенно ясна, иногда же ему бывает хуже. Поэтому секретарям с его поручениями надо торопиться, так как он хочет непременно провести кое-что к съезду и надеется, что сможет. Если же секретари затянут и тем загубят дело, то он будет очень и очень недоволен.

Еще одна запись Л. А. Фотиевой в «Дневнике деловых секретарей»:

«12 февраля. Владимиру Ильичу хуже. Сильная головная боль. Вызвал меня на несколько минут. По словам Марии Ильиничны, его расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Ферстер накануне сказал, что ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация. На вопрос, что он понимает под последним, Ферстер ответил: «Ну, вот, например, Вас интересует вопрос о переписи советских служащих». По-видимому, эта осведомленность врачей расстроила Владимира Ильича. По-видимому, кроме того, у Владимира Ильича создалось впечатление, что не врачи дают указания Центральному Комитету, а Центральный Комитет дал указания врачам...»

Во второй половине февраля Владимир Ильич чувствовал себя плохо. Однако, как рассказывал доктор Кожевников, старался использовать те редкие минуты улучшения, которые дарил ему судьба, чтобы хоть немного поработать.

Двадцатого февраля он попросил отчет о Десятом съезде Советов. Надежда Константиновна обещала его принести, но Мария Ильинична посоветовала этого не делать, так как, сказала она, «чтение отчета отрицательно скажется на состоянии здоровья Владимира Ильича».

Почему Мария Ильинична так думала? Что в отчете Десятого съезда Советов могло привести к ухудшению состояния здоровья Владимира Ильича?

Единственное объяснение: та небывалая в истории нашего государства выходка, которую позволил себе тогда Сталин.

На Десятом съезде Советов Сталин делал доклад об образовании СССР. Это был первый его доклад на Съезде Советов и вообще первый доклад на Всероссий-

ском и Всесоюзном съезде — как советском, так и партийном.

Отчет о докладе Сталина появился в газетах так, как это делалось тогда со всеми отчетами обо всех докладах и выступлениях в прениях: в том самом месте, где ему было положено быть по порядку, без выделения из всех остальных отчетов.

Этим местом оказались третьи или четвертые полосы газет.

Вдруг два дня спустя отчет об этом самом докладе Сталина был снова опубликован в газетах, притом на первых полосах. И при нем примечания от редакций — не вполне совпадающие у «Правды» и «Известий» — что вследствие спешки... небрежности стенографов... и так далее, и так далее... вкрались ошибки... а посему...

Допустим, что все это так, хотя сличение первой и второй публикаций речи Сталина не обнаруживает никаких особенно значительных расхождений текста.

Но мы знаем, как часто Ленин негодовал по поводу искажений, с которыми печатались отчеты о его речах.

Как в письме к Е. Варге, готовившему сборник его произведений, он просил «никогда не цитировать» его речей, так как «текст их всегда плохо, всегда неточно передан».

Как в следующем письме тому же Варге он предупреждал его о речи, газетный отчет о которой не успел еще прочесть: «Вполне вероятно, что в печати все страшно искажено».

Как, посылая Варге стенограмму своей речи при закрытии Одиннадцатого съезда партии, он писал: «Это *единственная* речь, которую я предварительно *написал* (и, несмотря на это, наши ослы не могли перепечатать без ошибок!!). Так что теперь это *единственная правильно* переданная (после исправления) речь».

При всем этом Владимир Ильич не только никогда не требовал вторичного печатания своих речей, но ни разу не напечатал ни одной к ним поправки.

И он, так проникательно читавший в душах людей, в этом беспрецедентном поступке Сталина сразу рассмотрел бы те черты, развитием которых стал культ личности Сталина.

В субботу третьего марта Л. А. Фотиева передала Владимиру Ильичу составленную ею и работниками секретариата Совнаркома докладную записку и заключение о материалах комиссии Политбюро по «грузинскому вопросу».

Пятого марта, около полудня, Владимир Ильич вызвал к себе М. А. Володичеву и продиктовал ей два письма: первое — Троцкому, которого он просил взять на себя защиту «грузинского дела» на ЦК партии. Троцкий, сославшись на болезнь, ответил, что не может взять на себя такого обязательства.

Второе письмо было адресовано Сталину (копии Каменеву и Зиновьеву).

Узнав каким-то образом, что двадцать первого декабря Надежда Константиновна написала под диктовку Владимира Ильича письмо Троцкому по поводу монополии внешней торговли, Сталин грубо накинулся на Надежду Константиновну, обвинив ее в том, что она якобы сделала это вопреки запрещению врачей (на деле врачи дали ей разрешение). При этом Сталин угрожал Надежде Константиновне, что передаст дело о ней в Контрольную комиссию партии.

«Я в партии не один день, — писала в связи с выходкой Сталина Н. К. Крупская. — За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше всякого врача, т. к. знаю, что его волнует, что нет, и во всяком случае лучше Сталина».

Надежда Константиновна просила оградить ее «от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной брани и угроз».

«В единогласном решении Контрольной комиссии, которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, — писала она, — но у меня нет ни сил, ни времени, которые я могла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая, и нервы напряжены у меня до крайности».

Все это произошло еще в декабре, но Владимиру Ильичу стало известно пятого марта. Он тотчас вызвал Володичеву и продиктовал ей письмо Сталину:

«Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен

через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения».

В «Дневнике дежурных секретарей» М. А. Володичева отметила, что Владимир Ильич чувствовал себя нехорошо. Письмо Сталину он попросил пока отложить, сказав, что сегодня у него что-то плохо выходит.

Затем к нему зашел доктор Кожевников. Он обратил внимание на то, что Владимир Ильич крайне взволнован. Но Владимир Ильич не хотел этого признать и сказал, что продиктованные им письма были чисто деловые.

Вскоре у него появился озноб, что всегда было признаком надвигающегося ухудшения.

Утром шестого марта Владимир Ильич вызвал М. А. Володичеву. Прочитал свое письмо Сталину и попросил передать его лично из рук в руки и получить ответ. Затем продиктовал телеграмму:

«Мдивани, Махарадзе и другим.

Дорогие товарищи... Готовлю для вас записку и речь. Ваш Ленин».

Как записала в «Дневнике» М. А. Володичева, чувствовал он себя в этот день плохо.

Вскоре после ухода Володичевой в его состоянии наступило резкое ухудшение. Температура резко поднялась. Паралич частично распространился на левую сторону. Отнялась речь. Этот приступ и еще один такой же, происшедший несколько времени спустя, были настолько тяжелыми, что, как рассказывал потом пользовавшийся Владимира Ильича доктор Елистратов, были серьезные опасения за исход в самом близком будущем.

Выполняя волю Владимира Ильича, М. А. Володичева передала его письмо Сталину. Мария Ильинична позднее писала, что Сталин извинился перед Надеждой Константиновной. Мы не знаем, стало ли это известно Владимиру Ильичу, но, как это видно из «Дат жизни и деятельности В. И. Ленина», за последний год жизни Владимира Ильича у него в Горках побывал ряд товарищей, но со Сталиным он больше никогда не встречался.

Он лежал, прикованный к постели смертельным недугом, а статьи его, те статьи, что составляли его духовное и политическое завешание, печатались на страницах наших газет — одни сразу же после того, как он их продиктовал, другие с большой задержкой: статья «О кооперации» 26 и 27 мая, статья «О нашей революции» 30 мая, четыре с лишним месяца спустя после того, как они были продиктованы.

Нам неизвестны причины этой задержки, но, каковы бы они ни были, благодаря этой задержке последней статьей Владимира Ильича, опубликованной при его жизни, была статья «О нашей революции», в которой он делится мыслями, вызванными чтением «Записок о революции», принадлежащих перу Н. Н. Суханова.

Высмеивая «наших» отечественных и не наших Сухановых, Ленин напоминает изречение Наполеона: «On s'engage et puis... on voit» — «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет», и говорит:

— Вот мы и ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидели такие детали развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно, детали), как Брестский мир или нэп и т. п. И в настоящее время уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу...

Начетчики, которые мнят себя марксистами, утверждают, что надо, как тому учит Каутский, сперва «дорасти» до определенного уровня производительных сил и лишь после этого можно думать о социалистическом преобразовании общества.

«Слов нет, — усмехается Ленин, — учебник, написанный по Каутскому, был вещью для своего времени очень полезной. Но пора уже все-таки отказаться от мысли, будто этот учебник предусмотрел все формы развития дальнейшей мировой истории. Тех, кто думает так, своевременно было бы объявить просто дураками».

Как это замечательно вышло, что последним, что услышали от живого Ленина наша партия, народ, международный рабочий класс, были слова, что те, которые

считают, что революция должна развиваться по законам мертвой догмы, и не верят в избранный нами путь,— просто дураки!

Почти год нечеловеческой трагедии, о которой можно только догадываться. Но с полным правом мы можем сказать: Ленин умер в бою, выполнив до конца свой последний революционный долг...

21

Весь последний год жизни Владимира Ильича партия, народ, страна жили в смене тревог и надежд. Снова перед докладчиками белели груды записок: «Как здоровье Ильича?» Снова почта приносила мешки писем, резолюций, обращений с Рязанщины и Орловщины, с Украины и Средней Азии, с Путиловского завода и завода Гужон, от крестьян села Слободского Юровской волости Смоленской губернии и от крестьян села Правые Ламки Лево-Ламкинской волости Тамбовской губернии, авторы которых сообщали, что «письмо писали все беспартийные, все малограмотные, мы хотя и беспартийные, но сердце и дух наш коммунистические, мы поняли, что в данный момент действительно власть трудящихся». И во всех письмах, в каждом на свой лад, говорилось о любви и доверии к Ленину и выражались пожелания, чтобы он, «наш путеводитель», «первый мировой пролетарий», «передовой вождь русского рабочего крестьянства», как можно скорее выздоровел и «снова встал у руля мировой революции».

Мы привыкли смотреть на эту народную любовь к Ленину как на нечто само собой разумеющееся, безусловное, естественное. Но попробуем, говоря словами Гоголя, взглянуть на нее «свежими очами».

Вспомним встречу Ленина у Финляндского вокзала — бушующие волны огромной толпы, броневик, звуки «Интернационала» и «Марсельезы». Почему так не встречали никого, даже Плеханова, — никого, кроме Ленина?

Вспомним, как вздрогнула и застонала страна, когда раздалась выстрелы на заводе Михельсона, вспомним эту страшную ночь, в которую было неизвестно, дожи-

вет ли Владимир Ильич до утра, и предрассветный час, когда отряды, отправлявшиеся на Восточный фронт, беззвучно, на носках, проходили мимо Кремля, прощаясь взглядом с окнами, за которыми лежал раненый Ленин. Вспомним горшочки с маслом и завернутые в холстину круглые деревенские хлебцы, присылавшиеся «болеющему от предательской пули с покушением на жизнь товарищу Ленину».

Как же это произошло, что в доведенной до полной разрухи стране, в которой почти не ходили поезда, почти не издавалось газет, не работала почта, не существовало радио, как в этой стране имя Ленина, слово Ленина, идеи Ленина в неслыханно короткое время проникли в самые глухие, самые отдаленные углы?

Вспомним начало двадцать второго года, первые признаки перелома в международной обстановке, послание, полученное Советским правительством от организаторов конференции в Генуе, приглашавших его прислать свою делегацию во главе с Лениным, и вызванную этим предложением бурю протестов: «Мы не можем молчать по поводу приглашения нашего верного проводника великих пролетарских завоеваний Владимира Ильича на Генуэзскую конференцию министрами и королями международного капитала... Если у вас так велико стремление видеть его и выслушать от него отцовские наставления, пожалуйста к нам в Москву — дорога открыта, а к вам мы его не пустим, потому что мы вам не верим...» «Если нужно, мы на своих плечах перенесем конференцию в Москву и обещаемся дать представителям капиталистических держав надежную охрану их жизни и безопасности...»

И вспомним дни, когда, по горестному народному выражению, «Россия осиротилась Лениным» и в самых глубинах рабочего класса родилась идея ленинского набора, ленинского призыва тысяч и тысяч беспартийных рабочих в ряды нашей партии, чтоб возместить понесенную ею безмерную утрату.

Как, чем завоевал Ленин это великое, неостывающее чувство?

И тут мы снова возвращаемся к раздумьям о Ленине, о тех чертах его духовного и душевного склада, которые в сочетании с остальными его качествами политического

борца сделали его вдохновителем и вождем величайшей в истории народной революции.

В середине тридцатых годов видный теоретик Второго Интернационала Хендрик де Ман в книге «Die socialistische Idee», называя Ленина «последним из самых великих», писал:

«Для колоссального влияния личности Ленина на русские народные массы совсем, конечно, не безразлично было то, что он в своей частной жизни мог жить в шалаше и в своей внешности обнаруживал абсолютное безразличие ко всем признакам буржуазного хорошего тона. Его портреты вряд ли занимали бы место старых русских икон в русских рабочих жилищах и крестьянских хижинах, если бы он носил вместо своего простого рабочего костюма и рабочей кепки приличный чиновничий костюм немецкого партийного вождя или роскошное одеяние министра или дипломата во фраке и звездах. Конечно, и этот костюм, и рабочая кепка несколько не прибавили бы к его популярности, если бы они были только позой, то есть если бы они, как и его язык и его мимика, не воспринимались бы как естественное самовыражение человека, который сознает себя носителем и исполнителем высокой идеи и для которого буржуазно-изысканная одежда значит так же мало, как и украшения буржуазной риторики».

Сказано умно, хотя в действительности все было намного содержательнее, тоньше, богаче. Ленин был близок народу своим простым костюмом и рабочей кепкой прежде всего потому, что, убедившись в ошибке, совершенной центральными партийными или советскими органами, он мог сказать: «Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко» в такой-то вопрос. Что, придя на рабочее собрание, на котором резко ругали работу Советской власти, присаживался в уголке и внимательно выслушивал все, что говорится, а потом отвечал не по форме, а по сути дела. Словом, что он не для других только, а прежде всего для самого себя считал непреложными принципы, выполнение которых необходимо для установления правильных отношений между партией, Советской властью, с одной стороны, и народными массами — с другой: жить в гуще рабочей жизни, знать эту жизнь вдоль и поперек, уметь безошибочно определить в любой момент по любому вопросу настроения массы, ее стремления и мысли, уметь за-

воевать безграничное доверие массы товарищеским отношением к ней, заботливым удовлетворением ее нужд.

Уметь все это и в то же время не льстить массе, не потакать ее отсталости. Без тени фальшивой идеализации, ясно видя степень сознательности и силу влияния тех или иных предрассудков, неуклонно поднимать ее на уровень более и более высокий.

Никогда Ленин не считал, что партия должна опрощаться, опускаться к народу, — в этом он видел прежде всего неуважение к народу. Даже в тех случаях, когда речь шла о людях, которых надо учить с азов, он требовал «учить не «полунауке», а *всей науке*». В беседе с Кларой Цеткин об искусстве говорил, что искусство «gehört dem volke... Sie muss von diesen verstanden... werden»¹ — «принадлежит народу и должно быть понято массами».

«Не льстить массе, не отрываться от массы». Именно в этом соединении был источник силы Ленина как вождя революции и секрет того абсолютного доверия, с которым относились к нему массы.

«Он на редкость был откровенен в совершенных ошибках, писал о нем В. И. Каюров, человек, о котором Владимир Ильич отзывался как о «великолепном питерском рабочем». Почему, в самом деле, Ильич, до 1917-го года малоизвестный большинству рабочих и крестьян в России, в самый короткий срок завоевал себе их симпатии? Ведь Ильич не отличался ни мягкостью, ни ласковостью, ни прочими подобными качествами в обращении с рабочими, и не раз мы уходили от него оскандаленные и осмеянные?.. Потому что его прямота и исчерпывающие ответы на труднейшие вопросы удесятряли веру в вождя даже после «бани» Ильича.

Вот отличительная черта Ильича от других...»

¹ В широко распространенном переводе воспоминаний, написанных Кларой об этой беседе, это место переведено: «Оно должно быть понято массам», что не только не соответствует совершенно точно сформулированному тексту Клары, но не соответствует всему отношению Ленина и к народу, и к искусству. — Е. Д.

Когда пишешь о Ленине, самое неверное и самое вредное — власть в никому не нужную, наспех примененную дидактику, превращающую живого, движущегося, думающего, так нужного нам «сегодня, здесь, сейчас» Ленина в застывшую в своей неподвижности икону, подобно тому как это не раз случалось с великими революционерами прошлого, о которых Ленин писал в «Государстве и революции», что «после их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы», и, вернувшись к этому образу в «Заметках публициста», разъяснял: «...на икону надо помолиться, перед иконой можно перекреститься... но икона нисколько не меняет практической жизни, практической политики».

А он всегда хотел именно менять практическую жизнь и вторгаться в практическую политику. И недаром уже в первой своей книге «Что такое «друзья народа»...» он сочувственно приводил стихотворный эпиграф, взятый Каутским для его книги об экономическом учении Маркса: «Мы хотим, чтобы нас меньше почитали, но зато прилежнее читали!»

Он не выносил оваций, чествований, славословий. Ни по отношению к другим, ни по отношению к себе. По отношению к себе больше, чем по отношению к другим. И когда старый его друг Федор Аронович Ротштейн в статье «Моя исповедь», рассказывая о своем пути к большевизму, заговорил о Ленине и выразил уверенность, что Ленин войдет в историю в качестве величайшего революционера всех времен, потому что ни у кого не сочетались в такой степени и гармонии революционная энергия с революционной мыслью и прозорливостью, — когда Ротштейн написал это, он, словно почувствовав недовольное движение Ленина, парировал его восклицанием: «Пусть Ленин не сетует на меня: он — общественный деятель, и он должен уметь переносить как нападки, так и похвалы».

Ротштейн писал свою «Исповедь» в Лондоне. Было это в июле восемнадцатого года. Он прислал ее в Москву. Ленин познакомился с ней и просил ее не печатать. Товарищи нарушили этот запрет, когда Ленин лежал между жизнью и смертью после ранения право-эсеровскими пулями, и в начале сентября опубликовали «Исповедь» Ф. А. Ротштейна в газетах.

«При его жизни я и не решился бы все это написать — из-за искренней ненависти Ильича ко всяким подобным излияниям чувств и чествованиям», — такими словами начал Петр Иванович Стучка свой рассказ о том, как он «один раз пытался устроить Ленину маленькую овацию, но был наказан по заслугам».

Было это в Совнаркоме в день годовщины «Апрельских тезисов» семнадцатого года. Известно, какое впечатление произвели на всех эти знаменитые тезисы, в которых Ленин провозгласил идею перехода к социалистической революции. И не только на соратников Ленина. Уж на что Суханов с рыбьей кровью, но и он, описав в своих «Записках о революции» встречу Ленина у Финляндского вокзала, бушующие волны огромной толпы, Ленина на броневике, звуки «Интернационала» и «Марсельезы», под которые Ленина повезли во дворец Кшесинской, речь Ленина во дворце, в которой он изложил свои тезисы, получившие название «Апрельских», даже Суханов восклицает:

«Я никогда не забуду эту молниеподобную речь. Я никогда не забуду этой речи, потряшей и поразившей не только меня, еретика, случайно находящегося там, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Двинулась стихия, и дух всеразрушающий, не знающий ни сомнений, ни преград, ни человеческих затруднений, витал в зале Кшесинской...»

П. И. Стучку поразило историческое совпадение: Ленин выступил со своими «Апрельскими тезисами» ровно через четыреста лет после того, как Мартин Лютер в 1517 году приколотил к дверям дворцовой церкви в Виттенберге свои 95 тезисов против догматов католической церкви, и эти тезисы Лютера, о которых Энгельс сказал, что они «оказали то же действие, как удар молнии на бочку пороха», послужили сильнейшим толчком к развертыванию буржуазной революции.

И вот в апреле восемнадцатого года П. И. Стучка решил произнести на заседании Совнаркома речь, в которой сопоставил и противопоставил тезисы Лютера и тезисы Ленина, показал колебания, противоречия, затемненность схоластическими формулировками тезисов Лютера и единство и целеустремленность тезисов Ленина.

Пока Стучка говорил о Лютере, Ленин, несколько недоумевая, слушал его с интересом. Но когда он заговорил об «Апрельских тезисах» и Ленин понял, куда он клонит, он оборвал Стучку и, пользуясь своей властью председателя, предложил Совнаркому перейти к очередным делам.

Роль Ленина в партии никогда не определялась парадами, шумихой, фанфарами, обязательными эпитетами типа «гениальный», «непревзойденный» и им подобными. Суть была в действительной мудрости, действительном богатстве интеллекта, которое чувствовали все, кто с ним соприкасался.

— Все это хорошо,— быть может, скажет читатель.— Но вы, если не считать Суханова, все время приводите отзывы о Ленине, принадлежащие его соратникам и единомышленникам. Совершенно естественно, что эти люди находились под обаянием его исключительного интеллекта и соответственно с этим формулировали свое представление о нем. Но были ли они объективны?

Обратимся к свидетельствам людей, абсолютно далеких Ленину, к тому же относящимся ко времени, когда Ленин был не главой Советского правительства, не человеком со всемирно известным именем, а революционным эмигрантом, которого знали лишь в сравнительно узком кругу.

Свидетельства, которые мы приведем, принадлежат к числу тех, которые наиболее ценны с точки зрения своей исторической достоверности: это не статьи, не воспоминания, не литературные произведения, а записи в дневниках, сделанные тогда же, под непосредственным впечатлением от услышанного, и не предназначенные для публикации.

Первое из них принадлежит Евгению Багратионовичу Вахтангову.

В последних числах декабря тысяча девятьсот десятого года молодой Вахтангов, незадолго до того окончивший театральное училище, поехал в Париж вместе с Леопольдом Антоновичем Сулержицким, который был приглашен театром Режан, чтобы поставить «Синюю птицу».

Вахтангов никогда еще не бывал за границей и очень хотел там побывать. Особенно влек его к себе Па-

риж. Времени было мало, увидеть хотелось бесконечно много. В кармане у него лежала записная книжка, в которую он телеграфным языком, чаще всего укладываясь в одно слово, заносил увиденное, только регистрируя, ни звуком не упоминая о своих впечатлениях. С этой точки зрения все записи его походили одна на другую:

«30 декабря 1910 г. Приезд в Берлин. Городовые. Фридрихштрассе. Зоологический сад. Не ели до вечера. Гостиница «Россия». — 31 декабря 1910 г. Музей Королевский. Национальная галерея (беглый обзор: иконы, итальянские мастера. Скульптура древних. Не успели картины). Памятники. Замок. Тиргартен (Аллея победителей). Статуи. Рейхстаг. Переезд через границу Бельгии. Никакого осмотра. Снег. Солнце. Тоннели. Фабричные трубы. Фламандское и Валлонское. Приезд в Париж. Метро. Латинский квартал. — 4 (17) января 1911 г. Пантеон. Стенная живопись (Жизнь св. Жанны д'Арк). Люксембургский музей. Две скорби — скульптура Родена из цветного мрамора, вне света».

И вдруг среди этих предельно лаконичных, «однословных» записей под датой 5(18) января, то есть на пятый день после приезда Вахтангова в Париж, мы читаем:

«Вечером лекция Ленина»

Больше ни слова. Что за лекция — неизвестно.

Но берем соответствующий том Собрания сочинений Ленина, раскрываем календарь дат его жизни и деятельности. Находим пятое января. Читаем:

«Январь 5(18). Ленин в Париже читает реферат о Л. Н. Толстом».

Так вот на какой лекции Ленина побывал Вахтангов.

Могут сказать: «Невелико дело. Попал русский в Париж, кто-нибудь из знакомых затащил его на эту лекцию. Ведь вы ничего не знаете о впечатлениях, вынесенных Вахтанговым о лекции Ленина и о самом Ленине. А голому факту, что он слушал эту лекцию, — цена грош».

Это, может, было бы так, если б восемь дней спустя в записной книжке Вахтангова не появилась такая запись: «13 января... Реферат Ленина не состоялся».

Значит, тринадцатого января Вахтангов снова ходил слушать Ленина. Заметим, что нигде, ни в одной кар-

тинной галерее, ни в одном театре, ни в одном исторически примечательном месте Парижа Вахтангов не бывал дважды, а слушать Ленина пошел во второй раз. Заметим также, что был Вахтангов до того занят, до того закручен Парижем, что лишь на другой день после несостоявшегося реферата Ленина посетил Лувр, увидел Венеру Милосскую, побывал на Эйфелевой башне.

Вспомним и другое. Вспомним, что дело происходило вскоре после трагического ухода Льва Толстого из Ясной Поляны и его смерти. Что Сулержицкий был очень близок с Толстым и не мог не разговаривать о Толстом с Вахтанговым. Вспомним также, каким тонким, взыскательным художником был Вахтангов.

Как сильно должно было быть впечатление, произведенное на Вахтангова Лениным, если после лекции его о Толстом он пошел слушать его во второй раз.

Автором второго упомянутого нами свидетельства является человек из совершенно чужого нам мира — французский посол в царской России Морис Палеолог.

Осенью тысяча девятьсот четырнадцатого года Палеолог жил в Петербурге. Внимательно следил за всем происходящим в России. Вел дневник, который впоследствии опубликовал в Париже: «Царская Россия в годы войны». Имел тайных осведомителей в самых различных слоях русского общества, в том числе и некоего В., вхожего в революционные круги.

17 октября 1914 года Палеолог занес в свой дневник разговор, который был у него в тот день с этим самым В. по поводу Ленина, чья антивоенная деятельность стала известна господину Палеологу.

— Скажите, — спросил Палеолог своего собеседника, — не является ли Ленин немецким провокатором?

— Нет, — ответил тот. — Ленин человек неподкупный. Это — фанатик, но необыкновенно честный, внушающий к себе всеобщее уважение.

— В таком случае он еще более опасен, — заключил Палеолог.

Не можем не признать справедливость вывода, сделанного господином послом.

Очевидец того времени, человек, который был тогда очень далек от нас, записал по свежей памяти свой разговор с провинциальным партийным работником — делегатом Одиннадцатого съезда партии, очень хорошо сказавшим, чем был Ленин для партии.

— Я приезжаю на съезд, чтобы послушать Ильича,— говорил этот товарищ.— После года напряженной работы в провинции с проведением продовольственных и топливных кампаний, с преодолением каждодневных мучительных трудностей приезжаешь сюда, в Москву, усталый безмерно, даже разбитый физически и душевно, нередко сбитый с толку противоречивой сутолокой хозяйственного строительства, со смутным осадком сомнений и недоумений на душе. И речь Ленина успокаивает, бодрит, исцеляет. Ленин дает мне все, что нужно для работы: учет прошлого опыта, сил и возможностей, понимание очередных задач, политическую осмысленность и внутреннюю душевную ясность. Я ухожу со съезда освеженный, бодрый, успокоенный, с нормальным запасом сил, энергии и уверенности для работы на целый год.

Словно вся жизнь прошла с тех пор, словно вчера это было — зал Большого театра, празднично убранный ко Второму Всесоюзному съезду Советов, черные траурные полотнища, прикрепленные к алым знаменам, одетая в траур Москва, бесконечная человеческая лента у Дома союзов, протяжные прощальные гудки, минуты расставания с Владимиром Ильичем. И голос Надежды Константиновны, обращенный к партии, народу, России:

— Я говорю к представителям республик трудящихся, к близким, дорогим товарищам, которым предстоит строить жизнь на новых началах, то поэтому, товарищи, думается, я не должна связывать себя никакими условностями... За эти дни, когда я стояла у гроба Владимира Ильича, я передумывала всю его жизнь, и вот что я хочу сказать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда этого он не говорил сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную минуту... Товарищи, умер наш Владимир Ильич, умер наш любимый, наш родной...

«Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д.— всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много еще нищеты, неустройства в нашей стране... И самое главное — давайте во всем проводить в жизнь его заветы», — писала несколько дней спустя Надежда Константиновна в «Правде».

И самое главное — давайте во всем проводить в жизнь его заветы. «Weiter... Weiter...» — дальше, дальше!

ОБ АВТОРЕ И ЭТОЙ КНИГЕ

Летом 1918 года в сражавшемся с белочехами отряде, сформированном из молодых коммунистов и комсомольцев-москвичей, ходила по рукам брошюра — тезисы Маркса о Фейербахе. Ее зачитывали до дыр, заучивали наизусть... В обстановке фронтовых будней, где великое и низкое, трагическое и обыденное тесно сплетались между собой, «высокий слог» Маркса звучал как-то по-особому значительно.

Боец Елизавета Драбкина вступила в большевистскую партию в апреле 1917-го шестнадцати лет от роду. И когда однажды она рассказала командиру отряда Ивану Кудряшову свою биографию, тот задумчиво, как глубоко осознанное и пережитое, процитировал Маркса по памяти: человеческая сущность не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений...

Об этом эпизоде Драбкина вспомнила в книге «Черные сухари».

И в самом деле, родись она в другой семье, а не в семье профессионального революционера-большевика Сергея Гусева, кочевавшего по тюрьмам, ссылкам и эмиграции, а главное — появившись она на свет в другое время, то и жизнь наверняка сложилась бы по-иному. Впрочем, и она была бы уже не она, а кто-то другой, какой-то совсем иной «индивидуум».

А так... Она активно участвовала в Октябрьской революции 1917 года в Петрограде и в Ноябрьской

революции 1918 года в Германии. Сражалась пулеметчицей на фронтах гражданской войны. Штурмовала Кронштадт в 1921-м. «Мне выпало счастье,— писала Драбкина,— быть свидетельницей событий необыкновенных. Я знала людей, чьи имена и деяния навеки вошли в историю человечества».

Когда она была совсем маленькой, с ней играла Роза Люксембург и «сам» Карл Каутский гладил ее по головке. А потом...

Не раз бывала она в гостях и беседовала с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной. Работала секретарем у Якова Свердлова. Встречалась с Феликсом Дзержинским, Анатолием Луначарским, Александром Цюрупой, Александрой Коллонтай... Даже «Реквием» Моцарта она слушала в 1922 году вместе с Георгием Чичериным и Михаилом Тухачевским. Да знакомства хотя бы с одним из этих людей вполне хватило бы другому, чтобы писать об этом всю жизнь.

Это были поистине удивительные люди. «История давно уже показывала,— говорил Ленин,— что великие революции в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и развертывают такие таланты, которые раньше казались невозможными». Так было и в России. И не случайно острый на глаз американец полковник Раймонд Робинс, находившийся в Петрограде в самой гуще революционных событий, записал в своих мемуарах, что Советское правительство — Совет Народных Комиссаров — «по своей культуре и образованности был выше любого кабинета министров в мире».

Мы много писали о революционной работе и политической деятельности этого поколения революционеров. И гораздо меньше — о их нравственном облике. А ведь одно от другого неотделимо. XXVII съезд КПСС напомнил всем нам о том, что коммунисты должны быть не только политическим, но и моральным авангардом народа, то есть напомнил ту ленинскую мысль, что партия — это не только ум, но и честь, совесть эпохи. И с одним умом, в котором вряд ли

откажешь и нашим противникам, с одним умом — без чести и совести — партия никогда бы не смогла, как выразился Ленин, «убедить Россию».

Еще в юности Владимиру Ильичу глубоко запали в душу слова Чернышевского о том, что в России «всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером». И, действительно, порядочные люди шли в революцию не ради славы или карьеры, а потому, что чужая боль воспринималась ими как боль собственная. Они и вступали на тернистый путь борьбы именно для того, чтобы избавить людей от этой боли.

Освобождение угнетенных и обездоленных, слабых и униженных составляло нравственную суть российской революционной традиции. «Это — великое дело, — писал Ленин, — и на такое дело не жалко и всю жизнь отдать».

Марксизм, для которого человек является не средством, а единственно достойной целью борьбы, лишь упрочил эту традицию, создав те высочайшие морально-этические нормы, которые проявляли себя и в выборе методов борьбы, и в нравственном облике самих пролетарских революционеров. На этой традиции воспитывались и новые поколения борцов.

Проходили годы, и партия, считавшая ранее свои ряды на тысячи и десятки тысяч, стала насчитывать уже сотни и сотни тысяч. В дни Февральской революции 1917 года из подполья вышло 24 тысячи большевиков. К Октябрю их было около 350 тысяч. К 1920 году — около 612 тысяч, к 1921-му — свыше 732 тысяч, а к 1925-му — более 800 тысяч. Теперь, пожалуй, и Елизавету Драбкину с ее дооктябрьским стажем вполне можно было относить к «старым большевикам».

Но было в этом стремительном росте и то, что напоминало Владимира Ильича.

В 1922 году Ленин писал: «Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в

настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией».

Да, тонок был этот слой. И его «безраздельный авторитет» опирался не на занимаемые посты, а на признававшуюся всеми идейную, политическую, нравственную прочность и чистоту. Они и занимали-то свои посты именно в силу этого авторитета. Вот в чем заключалась сила влияния «старой партийной гвардии». Она определяла общую атмосферу, существовавшую в партии, точнее, те моральные устои, которые создавали эту атмосферу.

Это не была мораль религиозной секты или монашеского ордена, отделяющая «посвященных» от прочей «греховной черни». Это была глубоко народная, по сути своей, нравственная традиция, воспринимавшаяся массами не только как справедливая, но и как единственно возможная для коммуниста норма поведения.

В этой книге Драбкина приводит малоизвестное письмо Н. К. Крупской старому русскому педагогу и писателю И. И. Горбунову-Посадову, написанное в конце 1917 года: «...теперь, когда живешь с массой, часто переживаешь такое чувство, точно присутствуешь при тайне одухотворения, очеловечения жизни масс. И мне ужасно жаль, что нет художника настоящего, который мог бы в художественном произведении отразить этот процесс».

Эта народная масса, поднимавшаяся и «одухотворявшаяся» революцией, предъявляла высочайшие требования и к самим революционерам. Им, взвалившим на себя гигантский груз исторической ответственности, не прощали ни слабости, ни корысти. И партия стремилась не обмануть этих надежд и ожиданий.

Было, конечно, немало мерзавцев и мздоимцев, подлецов и бюрократов — иначе откуда появились бы у Ленина «комчванство» или «комсволочь», — но не они определяли облик партии. Новые поколения коммуни-

стов, вступая в ее ряды, стремились к тому, чтобы нравственная максима «старой гвардии» стала нормой и их поведения.

Лишь один эпизод из этой книги...

Зимой 1921/22 года, когда после засухи в Поволжье начался страшный голод, Елизавета Драбкина получила из Самарской губернии послание. Писал Флегонтыч — красноармеец, бывший у нее ездовым при штурме Кронштадта. В своем прощальном письме он рассказывал, что семья его уже «ушла в смертную дорогу», что близок и его час, но, «как коммунист, он не позволяет себе слечь, а работает и будет работать до последнего...».

Собрав все, что было, она бросилась туда — в самое пекло...

И вот в деревне Таволожка, что недалеко от города Пугачева, она увидела человека, который брел посреди улицы...

Его желто-серое лицо, будто налитое водой, было сглажено сплошным отеком в тугую, плоскую маску. Он шел негнушными ногами и качался словно колос на ветру. Но оставалось в его шатающемся теле что-то от воинской выправки — быть может, прямизна спины, быть может, руки, слабо взмахивавшие в такт шагу...

Он роздал по деревне все, что ему привезли, но не уехал: «Разве ж я могу своих односельчан бросить? Ведь я ж один на наше село живой коммунист остался».

Не уехал и... умер.

Он поступил так, потому что был истинным коммунистом. И хотя партстаж его был невелик — всем своим нравственным обликом Флегонтыч становился в один ряд с бойцами старой ленинской гвардии.

Как же надо было беречь эту гвардию... Продолжая мысль о том, что именно этот «тончайший слой» определяет пролетарскую политику партии, Ленин писал: «Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком

случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него».

Как же надо было беречь этих, да и не только этих, людей...

Но и они не берегли себя, и сама жизнь не щадила их. Не пощадила она и Елизавету Драбкину.

В 1932 году она выпустила первую свою книгу-роман «Отечество». Голова ее была полна самыми различными планами, надеждами... Но следующая книга Драбкиной — «Черные сухари» стала печататься лишь через 25 лет, уже после XX съезда партии. А в промежутке — арест, ссылка... И если уж было в нашей истории, как теперь говорят, «и то и другое», то она сполна хлебнула и «того» и «другого».

Помню, как в середине 50-х годов они возвращались из ссылки... Пожалуй, более всего поражала их несломленность, нерастраченность того идейного, нравственного, эмоционального заряда, который дала этому поколению революция. Лучший тому пример — Елизавета Драбкина, автор этой книги.

Вернувшись, она не стала писать романов. Теперь она рассказывала читателям о Ленине, о своей молодости, о тех замечательных людях, с которыми ей довелось встречаться в те далекие и легендарные революционные годы. Ее «Черные сухари» стали печататься в 1957 году и сразу же нашли свою благодарную аудиторию.

В 1968 году «Новый мир» начал публикацию первой части «Зимнего перевала». Была написана и вторая часть. Но наступило уже другое время...

Нашлись горе-специалисты, которым медведь наступил не только на ухо. Музыка революции — живая, яркая, наполненная интереснейшими людьми история — никак не укладывалась в их сухие, безжизненные и безлюдные схемы. И к общему стыду нашему, усилия этих «специалистов» увенчались успехом. Публикация «Зимнего перевала» была прекращена. Потребовалось еще почти 20 лет, чтобы книга увидела свет. Отрадно,

что предлагаемое читателю второе издание значительно пополнилось за счет новых материалов, обнаруженных Политиздатом в личном архиве Е. Я. Драбкиной. Это главы «На кронштадтском льду» и «Путешествие в нэп», неизвестные страницы о жизни В. И. Ленина и его окружения. Новые материалы заметно обогатили книгу, полнее раскрыли благородный замысел автора.

Трудно определить жанр этой книги. Это не «чистые» мемуары, ибо Елизавета Драбкина пишет не только как очевидец, но и как художник. Пишет не только о том, что происходило с ней и чему она была свидетелем. Но и о том, чего сама не видела, что происходило без нее.

Конечно, в центре этой книги — Ленин. Драбкина рассказывает о нем и его делах с той удивительной человеческой нежностью, с которой относились к нему соратники и товарищи по борьбе, широчайшие массы трудового народа. Она вновь и вновь перечитывает и вдумывается в его последние работы, приводит воспоминания современников, прессу и документы тех лет. Но все это Драбкина как бы пропускает через свою память и свое восприятие того удивительного времени, которое навсегда осталось для нее временем и ее юности и молодости нашей республики.

Может быть, именно такое «личное» восприятие и создает тот особый аромат эпохи, то общее ощущение правды, которое возникает при чтении «Зимнего перевала». И дорогого стоят слова Елизаветы Драбкиной, когда, пройдя через все испытания, она пишет в этой книге о том времени: «Жизнь, как всегда, шла в сталкивающихся и набегающих друг на друга противоречиях. Но над всем этим господствовала та глубокая уверенность в будущем, которая составляет один из важнейших компонентов человеческого счастья».

Эта книга — своего рода эстафета от того поколения «старой партийной гвардии»... Эстафета нам, продолжающим дело Великого Октября сегодня.

Впрочем, сегодня в адрес именно этого поколения

раздаются порой упреки в «нетерпимости», «фанатизме», «излишней жестокости»...

Недостаток многих наших сегодняшних споров зачастую состоит в том, что мы высокомерно или с состраданием взираем на прошлое и расставляем отметки за поведение имея багаж опыта, знаний и представлений дня нынешнего. А может быть, стоит перед тем как судить, а тем более — осуждать, попытаться взглянуть на это прошлое глазами его современников, понять те конкретные и реальные условия, которые составляли самое существо того времени...

Когда Лев Толстой выступил со своей знаменитой статьей «Не убий никого», Г. В. Плеханов ответил ему: «Эта мысль, — представляющая собой, по выражению гр. Л. Н. Толстого, подтверждение, а по-моему, самое простое повторение весьма древнего «закона», — сама по себе совершенно правильна. Но эта сама по себе совершенно правильная и очень, очень древняя мысль до сих пор еще везде далека от своего осуществления, — и особенно далека она от него в России... Стало быть, вопрос не в том, правильна ли сама по себе эта очень, очень древняя мысль, а в том, где лежат препятствия, мешающие ее осуществлению, и какими средствами могут быть устранены эти препятствия?» Иными словами, когда речь идет о жестокости и насилии, надо каждый раз не только «судить», но и анализировать конкретные обстоятельства, породившие их.

Многие революции проходили через полосу кровавого насилия и гражданской войны, когда в сознании людей мир раскалывался надвое и через человеческое сообщество проходила линия баррикад, делившая всех на красных и белых, «своих» и «чужих».

Елизавета Драбкина без колебаний сделала свой выбор. Но важно понять, что при такой жестокой дифференциации личный выбор вообще крайне ограничен. Вам могут не нравиться чем-то ни те, ни другие. Однако линия баррикад ликвидирует какое-то иное — «третье пространство» и вы вынуждены встать либо по ту, либо

по эту сторону. И история гражданских войн не только в России, но и во многих других странах изобилует духовными, человеческими, политическими драмами и трагедиями, возникавшими в силу такого рода ситуаций.

Именно такой трагедией обернулась гражданская война для многих субъективно честных людей, оказавшихся «по ту сторону», как обернулся трагедией и столь ярко описанный Драпкиной Кронштадтский мятеж, объективно отбрасывавший его участников, независимо от их личных намерений и побуждений, в лагерь контрреволюции.

Важно наконец понять и то, что причины такого рода жестокой конфронтации крылись не в «фанатизме» тех или иных учений или политических деятелей, а в реальной многовековой борьбе богатых и бедных, эксплуататоров и эксплуатируемых. «Каждая ранняя и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь его могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны, но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра, притесненный... платит сторицей, и тогда горе побежденным...» Это написал совсем молодой Лермонтов задолго до 1917 года.

Да, революция — это тот предел, когда кончается терпение и покорность угнетенного человека, не желающего более мириться с рабством и нечеловеческим существованием. Ну а когда угнетатели не хотят мирно расстаться с властью и своими привилегиями, вот тогда и начинается гражданская война. «Самая борьба с эксплуататорами,— говорил Ленин,— взята нами из опыта. Если нас иногда осуждали за нее, то мы можем сказать: «Господа капиталисты, вы в этом виноваты. Если бы вы не оказали такого дикого, такого бессмысленного, наглого и отчаянного сопротивления, если бы вы не пошли на союз с буржуазией всего мира,— переворот принял бы более мирные формы».

А война есть война. Она бесчеловечна, ибо на ней людей убивают. У нее своя логика и свои законы. Ее нельзя ни поэтизировать, ни романтизировать, ибо всякое насилие над человеком есть зло.

Когда в конце 1918 года Ф. Э. Дзержинский составлял инструкцию об арестах врагов революции, он написал: «Лишение свободы повинных людей есть зло, к которому в настоящее время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовали добро и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло...» Это было написано не в «философских тетрадах» и не в письмах к жене, а в служебной инструкции.

Как-то в разговоре с Горьким Ленин сказал ему: «Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправданна. Все будет понято, все».

«Все будет понято...»

Драбкина рассказывает, как однажды, когда Ленин был еще вполне здоров, веселая стайка молодежи встретила его на одной из кремлевских площадей. И в конце недолгого разговора, глядя с какой-то внутренней теплотой на возбужденные и радостные лица комсомольцев, Владимир Ильич напомнил им слова Гёте: «Достигни сам того, что ты унаследовал от своих отцов. Только тогда оно будет твоим».

Доктор исторических наук
В. Логинов

СОДЕРЖАНИЕ

Сентябрь — октябрь	13
Зимний перевал .	43
На кронштадтском льду .	77
В марте двадцать первого .	133
Путешествие в нэп .	147
Черная година .	173
Всерьез и надолго .	191
Раздумья в Горках .	245
«Weiter... Weiter...» .	293
Об авторе и этой книге .	386

Драбкина Е. Я.
Д72 Зимний перевал.— 2-е изд., доп.— М.: Политиздат, 1990.— 396 с., ил.
ISBN 5—250—00715—5

Эта книга — о тех годах, которые, по словам автора, «называют годами перехода к новой экономической политике и которые являются последними годами жизни Владимира Ильича Ленина». Написанная в 60-е годы, до читателя она дошла только в конце 80-х и получила его признание за глубину и честность освещения политических, экономических, нравственных проблем.

Второе издание книги значительно дополнено за счет новых материалов, обнаруженных в личном архиве писательницы.

Адресована широкому кругу читателей.

Елизавета Яковлевна Драбкина
ЗИМНИЙ ПЕРЕВАЛ

Редактор Л. С. Макарова
Младшие редакторы С. В. Вершинская, Н. Ю. Качина
Художник Б. А. Макин
Художественный редактор О. Н. Зайцева
Технические редакторы Т. Н. Полунина, Т. А. Новикова

ИБ № 8435

Сдано в набор 15.08.89. Подписано в печать 26.01.90. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура «Литературная». Печать
офсетная. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 22,05. Уч.-изд. л. 20,15. Тираж
100 000 экз. Заказ № 151. Цена 1 р. 10 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473,
Краснопролетарская, 16.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**
осуществит выпуск в 1989—1991 гг.:

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине
В 10 томах.

Одна из задач издания — познакомить читателей с неизвестными или забытыми воспоминаниями о В. И. Ленине, восполнить недостающие звенья в ленинской биографии, уточнить многие ее факты, преодолеть ранее созданные стереотипы, расширить наше представление о целой плеяде революционеров, которые вместе с Лениным шли на штурм самодержавия, устанавливали и отстаивали власть Советов, закладывали фундамент социализма.

Читатели впервые познакомятся с воспоминаниями Н. И. Бухарина, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, В. Н. Каюрова, Н. Н. Крестинского, К. А. Мехоношина, Н. Осинского (В. В. Оболенского), К. Б. Радека, Ф. Ф. Раскольникова, А. И. Рыкова, И. Т. Смилги, И. А. Теодоровича, И. С. Уншлихта, А. Г. Шляпникова, Б. З. Шумяцкого. В издание включены воспоминания российских социал-демократических деятелей, которые расходились с Лениным и идейно и организационно, например Ю. Мартова, Н. Суханова и других.

Новое издание «Воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине» предпринято по многочисленным просьбам читателей. Оно воссоздает живой образ Ленина — ученого, революционера, партийного и государственного деятеля, публициста, оратора.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

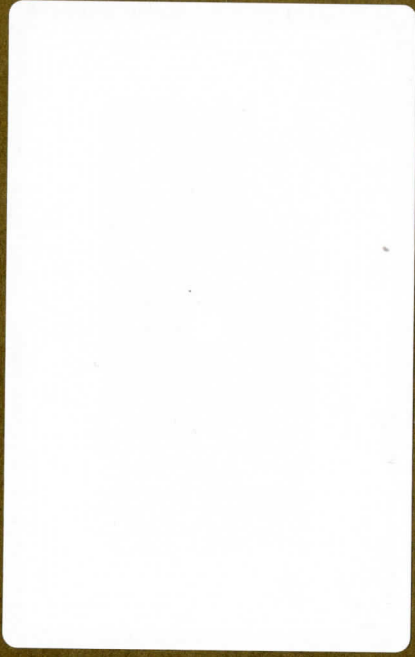
ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
в 1990 году:

Старцев В. И. ЧЕТЫРЕ ДОРОГИ ВРОЗЬ

Ленин, Мартов, Потресов, Струве. Эти люди стояли у колыбели Российской социал-демократической рабочей партии. Поначалу казалось, что все они шли одним или близкими путями. Первые трое были издателями «Искры», Струве написал Манифест I съезда РСДРП в 1898 году, помогал сторонникам Ленина печататься в легальных изданиях. Но жизнь развела этих людей по разным дорогам.

Главный герой предлагаемой книги — Ленин. Автор ее, доктор исторических наук, впервые в нашей литературе правдиво и интересно рассказывает также о Мартове, Струве и Потресове, отмечает их заслуги перед российским пролетариатом, указывает на ошибки, отход от идей революции.

21532





1-3581237

90-3

5013 a



Ей было всего шестнадцать,
когда вскоре после
Февральской революции
она вступила в партию большевиков.
Ее убеждения формировались
под воздействием ленинских идеалов,
непосредственного общения
с соратниками В. И. Ленина.
И вся нелегкая судьба
Елизаветы Яковлевны Драбкиной
(1901—1974 гг.) —
пример служения делу партии,
верности ленинским заветам.
Советским людям хорошо известно
ее имя по книгам «Черные сухари»,
«Навстречу бурям»,
«А. И. Ульянова-Елизарова»,
рассказам и эссе,
в которых писательница стремилась
реалистически воссоздать любимые ею
образы революционеров.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**